books2ebooks.eu

Кохановская

Повести Кохановской. Vol.2

Москва : [б.и.]
1863

eBooks from your library by eBooks on Demand

digitised by University of Tartu Library

UNIVERSITY OF TARTU LIBRARY

EOD – Millions of books just a mouse click away! In more than 10 European countries!



Thank you for choosing EOD!

European libraries are hosting millions of books from the 15th to the 20th century. All these books have now become available as eBooks – just a mouse click away. Search the online catalogue of a library from the eBooks on Demand (EOD) network and order the book as an eBook from all over the world – 24 hours a day, 7 days a week. The book will be digitised and made accessible to you as an eBook.

Enjoy your EOD eBook!

- Get the look and feel of the original book!
- Use your standard software to read the eBook on-screen, zoom in to the image or just simply navigate through the book
- *Search & Find*: Use the full-text search of individual terms
- *Copy & Paste Text and Images*: Copy images and parts of the text to other applications (e.g. word processor)

Terms and Conditions

With the usage of the EOD service, you accept the Terms and Conditions provided by the library owning the book. EOD provides access to digitized documents strictly for personal, non-commercial purposes. For any other purpose, please contact the library.

- Terms and Conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
- Terms and Conditions in Estonian: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html

More eBooks

Already a dozen libraries in more than 10 European countries offer this service.
More information is available at http://books2ebooks.eu

ПОВѢСТИ

КОХАНОВСКОЙ.

ТОМЪ II.

МОСКВА.
1863.

Одобрено цензурой, Москва 10-го января 1863 года.

Въ типографіи Бахметева.

ОГЛАВЛЕНІЕ II ТОМА

Гайка . . . . . 1.
Кирила Петровъ и Настасья Дмитрова . . . . . 181.
Давняя Встрѣча . . . . . 291.

ГАЙКА.

ГАЙКА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

—Что такое? —
Житейское дѣло.

— И прекрасно! на что лучше!
— Что здѣсь дурнаго?
— И, конечно, ничего дурнаго.
— Наконецъ, право, что же такое?
— Что дочь съ матерью споритъ, это по твоему ничего?
— О, разумѣется, маменька, вы скажете, что это все ученыя, да воспитанныя; а прежнія дочери не смѣли слова сказать—и я молчу, не скажу болѣе ни слова,—сказала дочь огорченнымъ голосомъ, облокотилась обѣими руками на окошко и замолчала.

Окошко было въ садъ; въ саду цвѣли вишни; подъ вишнями густо засѣла высокая трава, межъ травою пробивалась узенькая дорожка: она, вѣроятнѣе всего, вела къ колодезю и пропадала въ густыхъ вербахъ. Дочь не смотрѣла ни на вишни, ни въ садъ, ни на дорожку.

— Чтожъ? вотъ это оно и хорошо! похвалить можно! начала, немного погодя, мать. Съ матерью сидишь часъ битый и слова не выговоришь.

— Ахъ! тихонько проговорила дочь. — Маменька! что же мнѣ дѣлать? начну я говорить — вы сейчасъ едва не сказали мнѣ: молчи! я замолчала — и опять выходитъ, что я не хочу говорить съ вами.

— Гм! мать всегда виновата.

Дочь не отвѣчала. Самоваръ на столѣ тихонько шипѣлъ, вызванивая на разные тоны.

Странно было бы силиться живописать всякую мелочь; но не хорошъ ли былъ этотъ маленькій крадущійся лучъ, проскользнувшій сквозь золотую съ изумрудомъ сережку невесело склонившейся у окна дѣвушки и потянувшійся трепетной подвижною гранью на середину бѣленькой комнатки, раздѣляя ее на двѣ случайныя половины. Изъ угловъ выступили ему навстрѣчу баночки, стекляночки, разныя хозяйственныя связочки, большая бутыль съ уксусомъ: на лежанкѣ сидѣла красавица рябенькая кошка; тонкій лучъ солнца, какъ завороженный, остановился и сверкалъ у нея въ зеленыхъ глазахъ.

— Брысь ты, поди! усѣлась, вишь, гляди на нее, — ворчала мать, вовсе не въ досадѣ на кошку, а на кого-то другаго.... Вотъ и теперь я, чай, запрещаю ей говорить. Задумалась какъ! было бы еще о чемъ думать. Пьетъ, ѣстъ готовое и платье носитъ — слава Богу, пока мать жива: она доставляетъ.

— Ахъ, маменька! Право, иногда слова не пріищешь, хотя бы и хотѣла что сказать! съ грустнымъ нетерпѣніемъ возразила дочь.

— Да такъ, я знаю, съ матерью какія слова! что ей говорить! Много будетъ знать. Извѣстное дѣло, мы сами на ноги поднялись, все знаемъ — люди ученые — гм! что хочешь, скажи намъ, порѣшимъ тотчасъ.

Въ этихъ послѣднихъ словахъ, въ тонѣ, какимъ они бы-

ли произнесены, и еще болѣе въ прикашливаньи многозначительномъ было что-то особенное, какъ бы намекавшее стороною на что-то и, видно, недаромъ. Дочка у окна пошевельнулась нетерпѣливо, краешки ея тоненькихъ хорошенькихъ ушей медленно засвѣтились насквозь розовою краской. Она пристально стала смотрѣть на узенькую дорожку: и куда она идетъ, и гдѣ пропадаетъ, не сводя съ нея глазъ.

— На что это тамъ засмотрѣлась такъ, словно, чего вѣкъ не видала!

— На дорожку я смотрю, маменька.

— Подлинно, невидаль какая! Тебѣ же Дашка каждый день по десяти разъ по воду бѣгаетъ.

— Бѣгаетъ, машинально повторила дочь.

— А что? скажешь: не бѣгаетъ?

— Я говорю, что бѣгаетъ.

— То-то, васъ не разберешь. Вы все по своему, по ученому; а мы, старые люди, по простотѣ.... Хочешь чаю?

— Благодарю.

Минуты съ двѣ молчала мать и съ какой-то странно-суровой нерѣшительностію взглядывала на дочь.

— Да что же это, какъ? Благодарю—хочешь, или благодарю—не изволишь хотѣть?

— Я не хочу, покорно благодарю.

— Оно, конечно, такъ; материнскій хлѣбъ горекъ. У чужихъ людей, видно, слаще.... Всѣмъ бы ты обижала меня, дитя мое, да не тѣмъ, что постыла тебѣ моя хлѣбъ-соль!

Дочь оборотилась и отъ изумленія, и въ совершенномъ испугѣ поднялась со стула: въ голосѣ матери слышались почти отчаянныя слезы.

— Развѣ я у тебя мачиха или мать, помилуй Богъ, какая, — горько присовокупила она,—что я пожалѣла бы для тебя чашку чаю. Я, можетъ, душу свою готова тебѣ отдать. Вамъ-то кажется, что неученыя матери и дѣтей своихъ не умѣютъ любить.

Совсѣмъ растерявшаяся, выступивъ на средину комнаты,

стояла, опустя руки по своему шелковому переднику, молоденькая дочь и изъ глазъ у нея капали слезы.

Словомъ: здѣсь произошла одна изъ тѣхъ сценъ, такъ частыхъ и неотвратимыхъ—между людьми, несходными другъ съ другомъ, часто ни въ чемъ, что можетъ соединить два разумныя существа, и между тѣмъ какъ эти люди связаны крѣпкой жизненной долей въ одну родную семью, иногда въ одинъ неразрывный союзъ плоти и духа, не имѣя ничего одинаковаго ни въ мысляхъ, ни даже въ наружномъ проявленіи чувствъ, ни въ побужденіяхъ, — когда и самый смыслъ жизни открывается каждому совершенно иначе. Сколько надобно любви, сколько тихой благости пролить, какъ елей, на эти мелкія язвины всевозможныхъ столкновеній, недоразумѣній, непонятныхъ одно другому оскорбленій! Образованіе сближаетъ людей; но для порядочной доли нашего общества, оно, какъ первопроповѣданное Евангельское слово, вноситъ знаменательный мечъ, разъединяя мать и дочь, невѣстку и свекровь. Это огонь, ввержeнный въ средину насъ—и да пылаетъ онъ, разгораясь все полнѣе и шире, и какъ отъ небесной теплоты солнца, никто да не укроется отъ теплоты его! Но у высокаго пламени есть свои мелкія отлетающія искры, которыя могутъ горѣть вдали, зажигать или одиноко гаснуть, не пересиливъ сырости, въ которую попали онѣ...

Но куда попали и мы по вольной волѣ нашего разсказа?—Въ Сороковку.—Гдѣ это? надобно описать, если не назвать прямо.... Но что дѣлать съ описаніемъ нашихъ мѣстностей! Вокругъ до-того все широко, привольно и раздольно, что нечѣмъ его обозначить; ничего нѣтъ такого выступающаго, что бы картинно легло на печатную страницу. Одинъ просторъ да широта западающей дали, да къ тому еще зелень, и зелень какъ яркое море.—Вотъ теперь эта Сороковка... Если, такъ сказать, поселепа, вдоль по лугу—слѣдовательно, можно положить, что довольно живописно по гористымъ скатамъ и рѣчка какая нибудь, навѣрное, есть; ну, берется

во вниманіе оживленье большаго селенія, на что какъ будто намекаетъ самое имя Сороковки; вѣроятно, церковь гдѣ нибудь на видномъ мѣстѣ сіяетъ своей главой, разгорается маковка святаго креста,—словомъ, отчего бы кажется не описать и, кто съумѣетъ, хорошо?—Да, спрашивается одно: будетъ ли вѣрно?—Логъ ли это по тому картинному понятію, какое мы привыкли имѣть о логахъ? Гдѣ у него заросшая перелѣсками глубь, кудрявый чапыжникъ, крутые скаты, обнаженные бока—эти рытвины, чернѣющія, повымытыя весенней водою, живописно обозначившійся откосъ глины или мѣла, какое-нибудь разнообразіе, что придало бы краски ландшафту и за тѣмъ картинность описанію? Ничего не бывало. Это шла и шла казацкая степь, застилаясь травою, да увидѣла Татарина. «Дай-ка,» сказала, «я подползу къ нему» — и поползла, да такъ тихо, осторожно, попемножку, чтобъ узкоглазый не замѣтилъ ее, что ползла она часъ цѣлый, и начала еще медленнѣе, крадясь, приподниматься—оглянуть хотѣла: «а что вражій Татаринъ?» А Татарина и слѣдъ простылъ. Степь шелохнулась зеленой травою и пошла своимъ чередомъ.

Вотъ такой это логъ съ чуть-подающимися, медленными, пологими склонами и рѣчка течетъ по немъ; но у этой рѣчки даже береговъ нѣтъ; т. е. оно видимо, что когда-то, въ незапамятныя времена, рѣчка текла широко, великолѣпной разливной рѣкой. Пологіе, разлужистые скаты лога—были ея тихими зелеными берегами. Теперь берега, какъ небывалые, широко отступили въ степь; рѣчка течетъ прямо по низкой красноватой травкѣ и имени у нея никакого нѣтъ: такъ она себѣ рѣчка, а по ней сидитъ Сороковка.

— Но у Сороковки же, по-крайней-мѣрѣ, есть имя... Есть ихъ сорокъ, если вамъ угодно.

Почти на десять верстъ разбросалась, разсыпалась какъ стадо, заглянула во всѣ отвершки лога, загнулась по всѣмъ его вольнымъ кривизнамъ и поворотамъ Сороковка: вотъ вамъ Кутки, а вотъ Дубки; вотъ она кружечкомъ сидитъ

Перепелица; сосѣдка ея—Нетуды-хатка; въ ложку Прилѣпы.... Все это хуторки и пониже, и повыше; здѣсь живетъ панъ, а тамъ сама пани, и все, какъ ягоды, паны и пани, и хотя бы дорога соединяла ихъ—зачѣмъ вамъ? нѣтъ. Хуторки сами собою, а дорога сама по себѣ: идетъ низомъ, никуда не заворачивая и мѣры верстъ ей нѣтъ: только подбываютъ изъ хуторковъ дорожки. И что за чудный, тихенькій, самостоятельный міръ—эти хуторочки! У каждаго стоитъ на вѣтрѣ своя мельница, свой длинный журавль надъ колодеземъ, и бочкомъ, и передомъ столпились и повытянулись бѣленькія хатки; вишневый садикъ есть у каждаго, у всѣхъ свои высокія вербы; въ саду панскія горенки, и даже за солью ѣздить не надо: чумаки идутъ мимо и завозятъ соль по Куткамъ и Дубкамъ, по всей Сороковкѣ. И что за диво, что здѣсь живутъ и умираютъ люди, не умѣя показать дороги за десять верстъ! Крымъ они знаютъ по соли; свой уѣздный городъ — по одному имени, да еще они знаютъ славную *Пивтаву;* а что весь остальной міръ? Онъ могъ бы очень легко не существовать для Сороковки... Залитая зеленой степью, густымъ своимъ вишнячкомъ, Сороковка очень рѣзко и даже картинно выставила на яркомъ сверкающемъ горизонтѣ свои длинные, всторчь стоящіе взводы надъ колодезями. Почернѣлые отъ времени, какъ обгорѣлые, и кажущіеся массивными въ легкомъ, сине-трепетномъ, прозрачномъ воздухѣ, они протянулись какъ медвѣжьи лапы, и медленно, съ тяжелой усталью бревна, опускаются и поднимаются; ведро, покачиваясь, дрожитъ и брызжетъ сверкающими каплями воды; а свѣжій голосокъ поетъ родную задушевную пѣсенку:

Ой, у саду, въ огороди
Я копала вишни —
Ой, дай мени, Боже!
Жениха пидъ мысли:
Що бъ люлечки не курывъ,
Табаку не нюхавъ —
Чужихъ жинокъ не любивъ,
Та все мени слухавъ!

Болѣе рѣшительно нечего сказать о Сороковкѣ; кромѣ еще того, что ей удалось привить столько прозвищъ своимъ панамъ и паньямъ, посократить ихъ настоящія имена, кое-что присоединить къ другимъ, — что попасть въ Сороковку и отыскать тамъ кого-нибудь потому только, что знаешь его имя, отчество и фамилію, вовсе не легкое дѣло.

Такъ и лицъ, заговорившихъ въ началѣ этого разсказа, было бы довольно трудно отыскать.... Впрочемъ не слѣдовало только спрашивать Катерину Логвиновну Ромашенко; а спросить пани Павлиху-воеводшу. Павлихою Катерина Логвиновна называлась по мужу; а прозваніе воеводши носила еще отъ отца своего свекра. Онъ былъ послѣднимъ окружнымъ воеводою; съ нимъ вмѣстѣ отмѣнилось это званіе; но по самую смерть онъ его сохранилъ, какъ прозвище, и, умирая, передалъ сыну. Отъ сына оно, по наслѣдству, досталось внуку; внукъ умеръ, оно перешло къ женѣ его въ полномъ титлѣ воеводши и даже къ самой правнучкѣ — молодой воеводовнѣ, дочери Катерины Логвиновны. Но хуторокъ пани Павлихи былъ Вербовка, и это правда: такихъ высокихъ, прямыхъ и кривыхъ вербъ, и такъ ихъ много не было нигдѣ въ Сороковкѣ. Къ сторонѣ у плетня, надъ колодеземъ, стояла еще одна старая дупластая верба — «бабуся» ее называли. Къ ней кое-какъ, помощію обруча, прицѣплено было длинное бревно и, съ едва запамятнаго времени стараго воеводы, эта верба поила всю Вербовку, служа ей вмѣсто взвода надъ колодеземъ, и другое, что она съ отмѣннымъ успѣхомъ исполняла, это — выводила въ своемъ дуплѣ несчетное множество воробьевъ. Но о положеніи Вербовки надобно сказать пообстоятельнѣе.

Логъ, по которому узорочно лѣпилась Сороковка, загибался при самомъ началѣ, образовывая не очень вѣрный, холмистый треугольникъ; острую оконечность его составлялъ, вдаваясь въ поле, довольно длинный, пологій отвершекъ; по немъ-то пріютились Кутки, такимъ образомъ вѣрно носившіе свое имя, отдѣлившись въ уголокъ—въ куто-

чекъ отъ своей Сороковки. Наискось отсюда, по поперечной кривизнѣ поворота, сыпались Петренки и Сидоренки, Трили, сидѣлъ въ отдѣлѣ панъ Мокрый и здѣсь же, между хатками, мельничками, вербами и будто сторожевыми взводами надъ колодезями, выказывался ангелъ съ послѣдней трубою, вмѣсто креста, на тоненькой деревянной колокольнѣ, и сама церковь стояла такъ низменно, что зеленый куполъ ея, въ прозрачныя сумерки, чуть-чуть не сливался съ зеленою степью. А Вербовка открывала уже вступленіе въ настоящую, безраздѣльную, вдоль по лугу засѣявшуюся Сороковку. Отдѣлившись отъ бѣдныхъ, заброшенныхъ Кутковъ почти на цѣлую версту, оставивши между собою и ими такъ называемую Лисью-балку (маленькій перелѣсокъ, въ которомъ никто не запомнилъ ни лисицъ, ни лѣса, а только зеленый, воспѣваемый въ пѣсняхъ, барвинокъ устилалъ сырую ложбинку, да по краямъ густо засѣлъ тернъ и кустились полевыя вишни),—Вербовка вдругъ высоко поднимаетъ свои густыя вербы; чумаки съ дороги пригоняютъ поить воловъ къ «бабусѣ»; церковь Божія—въ самыхъ глазахъ на ту сторону. Зимою, когда ѣздятъ по рѣчкѣ прямо чрезъ лугъ, это такъ близко, что можно, не полѣнившись, дойти пѣшкомъ; но лѣтомъ дорога идетъ по повороту лога, косогоромъ, загибаясь къ самымъ Куткамъ; оттуда понизу лугомъ и на Лисью-балку, что составитъ верстъ до трехъ; но какая нужда! Изъ Вербовки все видно по дорогѣ, кто бы ни шелъ, ни ѣхалъ. Съ горшками ли возъ, — такъ и говорятъ, что съ горшками, а не съ чѣмъ другимъ.

Дознано и очень вѣрно, что мѣстность: лѣса, поля, встающіе вокругъ насъ гребни горъ—вся эта, повидимому, такъ безучастно къ намъ и подвластно нашей рукѣ, окружающая насъ природа имѣетъ неотразимое вліяніе на душу и характеръ людей. И, обращая это общее положеніе въ примѣненіе къ частному случаю, не любопытно ли было видѣть, какъ ровная—не шумящая лѣсомъ — тихо-зеленая, безпредметно въ ширь раскинувшаяся мѣстность Сороковки такой-же

неуклонной ровнотою жизни, не многообразной тишью и раздольной, какъ сама степь, широкой безконечностью ложилась на своихъ обитателей? Но рѣдко бываетъ самое общее правило безъ исключеній — и Катерина Логвиновна Ромашенко, такъ называемая пани Павлиха - воеводша, довольно замѣтно выступала изъ-подъ помѣстнаго вліянія, такъ ладно приходившагося къ Сороковкѣ. Самая ея наружность вела къ особенностямъ.—Женщина въ пятьдесятъ лѣтъ и на головѣ ни одинъ черный волосъ не засеребрился—высокая, прямая, полная, такая собою хорошая, что дорого было на нее посмотрѣть! Ротъ свѣжій, глаза каріе, веселые; сама она чернобровая — бойкая, судя по виду, можно бы было сказать, если бы бойкость не предполагала нѣкоторой увертливости движеній и не совсѣмъ большой скромности въ словахъ, что никакъ не могло согласоваться съ прирожденной Малороссійской важностью всѣхъ пріемовъ Катерины Логвиновны, съ ея сановитымъ достоинствомъ и всесовершеннымъ приличіемъ ея разговоровъ. По своему состоянію пани-воеводша не могла быть первостатейнымъ лицомъ Сороковки; но за всѣмъ тѣмъ она, какъ лебедь величавая межъ стадомъ сѣрыхъ гусей, выступала впереди всѣхъ Сороковскихъ господъ. Она, по преимуществу, была *пани*: и высокій ея воеводскій родъ, и сама она съ виду; держала же она себя такъ сановито-важно: гости нигдѣ лучше ея не угощались; пили предъ обѣдомъ водку изъ старинныхъ серебряныхъ чарокъ; но ни передъ обѣдомъ — ни когда бы то ни было, Катерина Логвиновна и въ руки не брала серебряной чары.

Но, кажется, главное отличіе пани-воеводши, по-крайней мѣрѣ, большая часть правъ ея на первостатейность—едва ли не заключалось въ томъ, чего не было во всей Сороковкѣ. Въ пріемной ея для гостей комнаткѣ, надъ окномъ противъ солнышка, въ клѣткѣ съ кусочкомъ краснаго сукна и кусочкомъ сахара, сидѣла птичка—да не чижъ, или щегликъ, какъ вначалѣ хотѣлъ всѣхъ завѣрить панъ Мокрый;—а сама канарейка—настоящая, желтенькая пѣвунья-канарейка! и здѣсь-же

въ углу стояли боевые стѣнные часы.... Изо всей Сороковки привозили дѣтей послушать, какъ бьютъ часы у воеводши. Какіе постарше, лѣзли на стулья; маленькихъ отцы и матери поднимали выше себя, надъ головами, посмотрѣть: что̀ за птичка такая канарейка? Одинъ изъ Трилей, называемый обыкновенно въ большую шутливую ласку Зозу̀ленька-Триль, вспомнилъ, что когда онъ служилъ въ полку, то слыхалъ онъ пѣсню:

Канареечка любезна,
Утѣшай хоть ты меня...

Далѣе онъ зналъ, что какъ-то приходилось: *слезна;* но болѣе ничего не могъ припомнить панъ Триль, и когда бы онъ ни пожаловалъ въ гости къ пани-воеводшѣ, онъ садился подъ клѣтку съ канарейкою и заунывно напѣвалъ:

Канареечка любезна,
Утѣшай хоть ты меня....

Словомъ: канареечка и часы были такія вещи, къ которымъ не могла приглядѣться Сороковка.

Этихъ свѣдѣній довольно, чтобы обратиться къ дочери Катерины Логвиновны.

Съ перваго раза кажется невозможнымъ: какими путями Сороковская барышня могла достигнуть того, на что въ досадѣ и съ упрекомъ указывала мать: «люди ученые, воспитанные.» Легко понять, что учености здѣсь никакой не было; извѣстна наша ученость:

Всей Европы географья,
По-французски орѳографья.

Но дочь пани-воеводши точно была воспитана въ богатомъ домѣ и подъ надзоромъ очень утонченной, требовательной дамы. Долго будетъ обстоятельно разсказывать, какъ все это случилось и тѣмъ болѣе, что случай былъ очень простой, выходившій изъ столкновенія двухъ-трехъ обстоятельствъ.

Василій Петровичъ О—скій, богатый значительно человѣкъ, съ хорошими связями, во время оно, разцвѣтая (даже значительныя связи не могли помочь ему), за невыразимыя шалости, переведенъ былъ изъ кавалеріи въ пѣхоту и, по распоряженію ближайшаго начальства, поступилъ на особливое попечительное вниманіе въ роту къ штабсъ-капитану Ромашенкѣ. Что еще и здѣсь проказничалъ онъ! что наводилъ хлопотъ бѣдному штабсъ-капитану! и что тотъ вытерпѣлъ за него этихъ пріятныхъ выговоровъ по начальству и замѣчаній по службѣ, такъ это—«сила Твоя, Господи!» брался за голову Павелъ Веденеичъ—такъ звали въ Сороковкѣ Ромашенко, вмѣсто Венедиктовича. Можно безъ преувеличенія сказать, что перспектива всегдашнихъ опасеній подвергнуться отвѣтственности за чужую бѣду, утратить свое единственное достояніе, незапятнанный формуляръ, побудила штабсъ-капитана, не смотря на то, что ему скоро слѣдовалъ чинъ и что онъ только лѣтъ трехъ не дослужилъ до пенсіона, оставить все и—безъ отлагательства подать въ отставку. Лишне говорить, какъ Павелъ Веденеичъ жилъ въ Сороковкѣ; женился онъ еще въ первый годъ своего производства въ офицеры; дѣтей у него было человѣкъ съ пять; но вотъ наступилъ грозный, голодный 833 годъ. Въ слѣдующемъ году дожди, казалось, хотѣли омыть землю отъ предшествовавшихъ бѣдствій засухи и холеры; но бѣдствіе неурожая явилось то же, только вслѣдствіе другихъ причинъ. Отъ частыхъ дождей, хлѣбъ выросъ въ ростъ человѣка и полегъ зеленымъ, сгнилъ на корню. «Божья воля, не переможешь» сбираясь, тужили люди; и поѣхалъ Павелъ Веденеичъ разжиться гдѣ нибудь хлѣба. Повезъ серебряныя ложки, часы свои (только не стѣнные), свою военную арматуру, состоявшую въ двуствольномъ ружьѣ и въ пистолетахъ, будто бы турецкихъ: не заложитъ ли гдѣ это добро, или не закабалитъ ли себя въ управляющіе, или въ смотрители какіе? Изъѣздилъ онъ разными путями верстъ полтораста, ничего не выѣздилъ; добро его было при немъ и уже поворотилъ бы-

ло онъ, опустя голову, домой, какъ попадаетъ середи бѣла. го дня въ большое селеніе. Другой бы увидѣлъ барскій домъ, великолѣпно расположенный на полугорѣ,—садъ какой отъ него къ низу! легенькія бесѣдки съ разноцвѣтными стеклами, будто плавающія на широкахъ прудахъ; но въ глазахъ у Павла Веденеича остановились два гумна съ несчетными скирдами хлѣба, хлѣбные амбары, и за ними онъ ничего болѣе не видѣлъ.—«Чье такое имѣніе?» спрашиваетъ. «Господа живутъ?» — «Изволятъ жить-съ — Василій Петровичъ О—скій.»—«Башюшка! скажи еще, какъ зовутъ? точно-ли Василій Петровичъ?» своимъ ушамъ не вѣрилъ Павелъ Веденеичъ. «Гдѣ баринъ служилъ? Служилъ онъ въ пѣхотѣ?»—«Всюду-съ,» отвѣчалъ угрюмо старый отставной лакей, сосланный въ деревню на покой. Павелъ Веденеичъ далъ ему изъ своихъ послѣднихъ денегъ. «Явлюсь, ей Богу явлюсь!» бормоталъ онъ. Хотя оно, того — подъ командою былъ; ну, да... въ карманъ ее, амбицію! Авось ему Господь на мысль наведетъ, что̀ я изъ-за него повытерпѣлъ и чай онъ у насъ, бывало, сколько разъ пивалъ; Катенька, мое сердце, вареничками подчивала.» И еще болѣе голодный отъ воспоминанія того, что прежде въ изобиліи было и чего теперь вовсе нѣтъ, одѣлся въ мундиръ и явился въ домъ Павелъ Веденеичъ.

«Что вамъ угодно?» довольно рѣзко спросилъ О—скій, показываясь изъ кабинета, съ сигарою и чашкой кофе въ рукахъ. — «Отставной капитанъ Ромашенко.» — «Слышалъ, мнѣ человѣкъ докладывалъ; что вамъ угодно?»—«Служилъ-съ въ такомъ-то и въ такомъ-то пѣхотномъ полку, гренадерской второй ротой командовалъ...»—«Очень хорошо; что же вамъ угодно? Не задерживайте меня; у меня гости.»—«Василій Петровичъ!..» началъ прерывающимся, не своимъ голосомъ Павелъ Веденеичъ. (Онъ думалъ, что его фамилія, потомъ названіе полка и роты напомнятъ Василію Петровичу)... «Извините смѣлость такую... Я имѣлъ честь, когда вы изволили быть переведены въ нашъ полкъ, начальство

благоволило прикомандировать васъ состоять при моей ротѣ.... «Ба! то-то мнѣ помнится что-то знакомое: Ромашенко... Садитесь же, садитесь, господинъ командиръ. Извините, что не узналъ. Человѣкъ! трубку. Остался кофе? Подать сюда кофе.... или, можетъ быть, лучше водочки, штабсъ-капитанъ?.,. Господа, mesdames! продолжалъ громко со смѣхомъ, по-французски, Василій Петровичъ. Извините, въ гостиную не поведу; а не угодно-ли кому пожаловать сюда. Я покажу прелюбопытную вещь: своего ротнаго командира.... Да можетъ быть, господинъ Ромашенко, вы не ѣли, ѣсть хотите? Я велю накормить. Безъ церемоніи,» сказалъ обязательный Василій Петровичъ. «Вѣдь нынче, говорятъ, голодный годъ.» Но Павелъ Веденеичъ послѣ сказывалъ, что—Богъ его знаетъ, почему оно? кажется, если бы онъ три дня не ѣлъ, то и здѣсь бы всѣми святыми побожился, что покорно благодарю, обѣдалъ-съ; а вѣдь ничего, очень добрый человѣкъ Василій Петровичъ. И въ самомъ дѣлѣ онъ оказалъ довольно добра Павлу Веденеичу. Не будемъ разбирать, столько ли онъ его сдѣлалъ, сколько бы могъ Василій Петровичъ при своемъ положеніи, при его средствахъ, въ такомъ рѣдкомъ случаѣ, когда онъ могъ животворно обвѣяться воспоминаніями своей буйной, потерянной молодости и, выкупая ихъ, успокоить эту смиренную сѣдоватую голову, довольно терпѣвшую за вздоры и порывы его, еще необразумленной, невывѣтрившейся, праздной головы....

Но, нѣтъ! ожидая всего, не будемъ слишкомъ многаго требовать отъ людей. Всякій даетъ, что онъ можетъ дать— и Василій Петровичъ далъ четверти съ три хлѣба Павлу Веденеичу,—кажется, стогъ сѣна, и принялъ его въ управляющіе въ одно свое по-близу небольшое имѣніе, съ жалованьемъ немного болѣе ста рублей серебромъ. Почти пять лѣтъ управлялъ этимъ имѣніемъ хлопотливо-старательный Павелъ Веденеичъ. Онъ бы уже и воротился въ свои Сороковскія «палестины» (говоря его собственнымъ выраженіемъ), гдѣ завѣдывала всѣмъ и жила одна съ дѣтьми Катерина

Логвиновна; но какъ оставить, не зналъ, своего благодѣтеля. «Помогъ онъ мнѣ въ лютое время; а теперь я вотъ и брошу его — поминай, какъ звали!» И Павелъ Веденеичъ продолжалъ жить вдалекѣ отъ своего семейства, одинъ какъ перстъ, старѣясь въ хлопотливыхъ заботахъ о чужомъ добрѣ и вспоминая съ грустью семью свою милыхъ. О—скій разсчиталъ своего главнаго управляющаго, замѣтивъ его очевидныя плутни и, до пріисканія на его мѣсто другаго, поручилъ завѣдываніе всѣмъ имѣніемъ Павлу Веденеичу. Какъ возгордился старикъ оказаннымъ ему довѣріемъ! Онъ будто вдругъ помолодѣлъ. Неусыпно старался быть здѣсь и тамъ, за всѣмъ присмотрѣть; все къ лучшему принаровить и устроить. Василій Петровичъ былъ очень доволенъ въ молчаніи,—и пріисканіе новаго управляющаго забылось, или замедлилось на цѣлые два года, пока не умеръ Павелъ Веденеичъ. Въ весеннюю распутицу переправлялся онъ изъ одного имѣнія въ другое; завязъ на логу, провозился цѣлую ночь почти по грудь въ водѣ, получилъ горячку и умеръ, все бредя въ безпамятствѣ пшеницей арнауткою, которую онъ располагалъ гдѣ-то сѣять на избранномъ мѣстѣ. Умеръ старикъ на чужихъ рукахъ, не простившись съ женою, не благословя своихъ пятерыхъ дѣтей! «Жаль, куда какъ мнѣ жаль!» твердилъ О—скій. «Посмотрѣть, онъ будто и немного обѣщалъ, а золотой былъ старикъ.» Василій Петровичъ велѣлъ выдать вдовѣ всѣ сто рублей серебромъ сполна, не смотря на то, что покойникъ не дослужилъ мѣсяцевъ двухъ и со днями до годичнаго срока—и также, не смотря на то, что въ главномъ завѣдываніи имѣніями, ему можно бы было дать что-нибудь болѣе.

Тѣмъ временемъ, у Василія Петровича начала учиться его единственная дочь, Лена. Къ ней привезли двухъ гувернантокъ; но для дѣвочки это были два разнородныя ига: ей скучно было учиться одной, гулять съ гувернантками одной и всегда одной. Madame О—ская очень хорошо понимала, что для дочери необходима маленькая сверстница, подруга ей въ

играхъ и занятіяхъ.... «И какъ нарочно», жаловалась она всѣмъ: «у нашего священника все сыновья!» Думали даже взять дочь у дьякона; но fi donc! Кромѣ всего, такая раскормленная блинами и пирогами, жирная дѣвочка! Татьяна Николаевна не любила толстенькихъ здоровыхъ дѣтей. Въ это самое время Катерина Логвиновна привезла всю свою осиротѣлую семью поклониться на могилу отца. Ихъ призвали въ домъ. Когда хозяйка увидѣла маленькую, бѣленькую дѣвочку и еще такую худенькую отъ лихорадки,—«это намъ сама судьба посылаетъ!» подумала она по-французски. «Какъ зовутъ вашу маленькую дочку?»—«Людмилочка,» отвѣчала Катерина Логвиновна. «Quel nom!» посмотрѣла съ удивленіемъ madame О—ская на мужа. И хорошенькое имя рѣшило судьбу бѣдной осиротѣлой дѣвочки. Супруги переговорили между собою; потомъ Василій Петровичъ, въ ясныхъ, очень благоволительныхъ выраженіяхъ, объявилъ Катеринѣ Логвиновнѣ, что, помня услуги ея мужа, онъ думаетъ сдѣлать доброе дѣло и вмѣстѣ отблагодарить покойника, взявши его маленькую дочь къ себѣ на воспитаніе; что она будетъ учиться и содержаться наравнѣ съ его единственной дочерью—«довольны-ли вы, матушка?» добавилъ Василій Петровичъ.

Вотъ вслѣдствіе какихъ мелкихъ, немногозначащихъ обстоятельствъ, дочка пани Павлихи-воеводши получила одно и то же воспитаніе наравнѣ съ дочерью богатыхъ, важныхъ людей. И несправедливо было бы сказать, чтобы дѣвочка терпѣла суровости, или нападки какія—нѣтъ, этого не было. Что ей почти всегда случалось голодать, такъ это потому, что ихъ кормили, какъ мышекъ, почти крупинками: чтобы дѣвочки были легонькія, тоненькія: такъ очень любила Татьяна Николаевна. Она изъ двухъ ихъ именъ составила маленькую фразу и, полулежа на диванѣ, изъ гостинной звала ихъ совершенно дѣтскимъ голоскомъ, будто не много картавя:

«*Миля-Лена!*» что какъ бы говорило: милая Елена; а между тѣмъ оно было: Мила-Людмила и Лена! подите къ ней.

Татьяна Николаевна ждетъ васъ, слегка зажмурясь, полу-запрокидывая назадъ голову и, какъ кокошъ собираетъ подъ крылья птенцовъ своихъ, такъ она приподнимаемъ и раскидываетъ кисти и кружева своей мантильи, чтобы вольнѣе обнять васъ и выказать гостямъ, какъ хороши эти молоденькія головки на груди у ней.... И все бы было хорошо, Богъ съ ними совсѣмъ! да за чѣмъ это такъ? Взяли маленькую дѣвочку, восемь лѣтъ на глазахъ росла она; вытянулась, какъ стебелекъ въ густой тѣни; ей скоро минетъ семнадцатый годъ—и ничего не видятъ! На нее не перестаютъ смотрѣть, какъ на ребенка, тѣми же самыми глазами, какъ то время, когда зашнуровали на ней дѣтскій шелковый передничекъ и поучили ее сдѣлать первый реверансъ! Татьяна Николаевна, въ простодушномъ изумленіи, даже замѣчала: откуда вдругъ у Людмилы такіе умные глазки? «Ты философствуешь, Мила?» спрашивала она. Василій Петровичъ мимоходомъ, будто заигрывая съ восьмилѣтней дѣвочкой, показывалъ Милѣ языкъ и щипалъ ей щеки (потому что, вопреки своей супругѣ, онъ любилъ свѣжія румяныя лица еще поболѣе, нежели Татьяна Николаевна томныя, матовой бѣлизны). Щеки у Милы жарко вспыхивали; но отъ одного ли прикосновенія нецеремонныхъ рукъ Василія Петровича? Она надолго нотупляла глаза,—можетъ быть, чтобы Татьяна Николаевна не прочла въ нихъ, что она философствуетъ.

Но доброе дѣло было кончено. Если не Мила, то Лена была уже вовсе не ребенокъ, котораго можно забавить молоденькой подругою—отпустили Милу домой; ласкали, цѣловали ее на дорогу. Татьяна Николаевна даже расплакалась и вовсе непритворно. Будь Мила не Мила—не такая она бѣленькая, хорошенькая, легко можетъ быть и не любили бы ее; но Татьяна Николаевна очень любила куда-нибудь въ большое общество, или въ церковь показаться съ двумя молоденькими дѣвушками по сторонамъ. Всѣ такъ широко разступаются; она становится въ городѣ, въ соборѣ на видномъ мѣстѣ; чувствуетъ маленькое безпокойство нервъ отъ духоты

этой толпы.... «Мила, мой ангелъ! вы не забыли?» говоритъ она довольно слышно по-французски. Дочь спѣшитъ принять у ней молитвенникъ, или бинокль Татьяны Николаевны, потому что она близорука; а Мила такимъ ловкимъ, граціознымъ движеніемъ передаетъ маленькой, затянутой во французской перчаткѣ, рукою граненый хрустальный флаконъ, на которомъ сверкаютъ другими огнями огни божественной службы. «Какая изящная группа!» сказано было какимъ-то заѣзжимъ львомъ— и эта группа разстроивалась. Но какъ бы то ни было, а очень нѣжно и съ большою любовью разстались благодѣтели съ своей воспитанницей. «Смотри, Мила, плутовка! ты позабудешь насъ», прищуривался и грозилъ пальцемъ Василій Петровичъ. Лена цѣловала Милу, сжимала ей обѣ руки и требовала писать къ ней, писать... «Нѣтъ, Мила, тебѣ грѣхъ будетъ.... я тебя такъ люблю.... не забывай насъ», говорила съ одышкой огорченія Татьяна Николаевна. «Ты будешь гостить у насъ, пріѣзжай къ намъ, Мила! Смотри, не выходи же безъ меня замужъ.... Бѣдная Мила! гдѣ она тамъ возьметъ себѣ жениха—какъ это деревня, позабываю? Со-ро-ков-ка.»

Но Мила, не безъ слезъ, а рада была, какъ новому платью, своей Сороковкѣ... Нѣтъ, надобно сказать болѣе. У нея были слишкомъ умные, ясные глазки, чтобы они хорошо не видѣли разницы между существованіемъ, хотя, по видимому, блестящимъ, но вполнѣ зависимымъ: гдѣ все изъ милости, все не твое, а чужое; гдѣ ничего не хотятъ оставить памяти задушевнаго чувства: а при каждомъ случаѣ выставляютъ тебя напоказъ, какъ мѣрку своихъ великихъ благодѣяній,—разницы, говорю, передъ этой пусть и простой, и очень простой, но вольной, своей собственной, никому необязанной жизнью. Милу, очень впечатлительную, живую, развитую образованіемъ, обступили, какъ навѣвающійся сонъ, воспоминанія почти забытаго дѣтства. Эта старая верба-бабуся! кланялась ей Мила. «Здравствуй, бабуся!» и бабуся, будто отвѣчая поклономъ на поклонъ, нагибала къ колодезю ведро. «Дай

я напьюсь», нехотя пила, черпая изъ ведра прямо горстьми веселая, всѣмъ довольная Мила. А сколько она ѣла! Завтракала и прежде еще немножко подзавтраковала, обѣдала, полдничала, забравшись въ густыя вишни и кормя остатками своихъ трапезъ собакъ, сорокъ и воробьевъ. Воробьи тучами проносились надъ Вербовкою и, спускаясь почти у самыхъ ногъ Милы, оглушали ее крикливымъ, неугомоннымъ чириканьемъ, заводили драки за крошки, потѣшая очень Милу, самымъ забавнымъ образомъ принявшуюся изучать нравы воробьевъ. — Но воробьи, хотя и прожорливые, а слишкомъ маленькія птички. Съ нихъ довольно и однѣхъ крошекъ; но тѣмъ, кто повыше и позначительнѣе гораздо стаи воробьевъ, давала ли что-нибудь щедрая Мила?—напр. своей Сороковкѣ?—Послѣ восьми лѣтъ такъ прекрасно употребленнаго отсутствія на образованіе ума и сердца — возвратившись, что̀ новаго, что̀ хорошаго Людмила Павловна внесла въ свои родныя мѣста? А! очень много хорошаго.— Свою хорошенькую развитую талію, свой милый изящный поклонъ, локоны—съ умѣньемъ такъ къ лицу легко подвить и откинуть ихъ; наконецъ старое фортепіано безъ двухъ басовыхъ струнъ, подарокъ Татьяны Николаевны, и новую прелестную шляпку, бѣлую съ тремя мшистыми розами у низенькой тульи, такъ чудно живыми, что двѣ сороковскія барышни проспли позволенія однимъ пальчикомъ притронуться къ нимъ, чтобы увѣрить себя, точно ли цвѣты дѣланные? И я еще забыла, какую снисходительную улыбку полупренебреженія привезла Людмила Павловна, и какъ она охотно дарила ею—и всѣхъ и все въ Сороковкѣ.

Молода она была, слишкомъ неопытна, чтобы остановить внимательный взглядъ и разсмотрѣть, что̀ вокругъ нея такое происходитъ? А происходила замѣтная борьба. — Мать ея, какъ нѣсколько можно было видѣть, женщина съ достоинствомъ и съ характеромъ, съ большимъ самоуваженіемъ къ себѣ, замѣчала, что у нея странное, необычайное водворилось въ воеводской Вербовкѣ. Хозяйка она и словно не хозяйка,

дочь ли, мать ли старшая въ домѣ? Людмила Павловна встаетъ поздно и весь домъ поднимается къ ея уходамъ. Чтобы не затѣвать дважды самовара, ея милость ждутъ чай пить; она, не поспѣшая, исподволь совершаетъ свой туалетъ. Мать успѣла уже устать и захлопотаться по хозяйству; а Мила, ничѣмъ не озабоченная, свѣженькая, садится у окна, пьетъ непремѣнно жиденькій чай, подпѣваетъ, шутя, канарейкѣ и, не шутя, разсказываетъ, что надобно бы забить и заколотить знаменитые часы, чтобы они не били и не покушались звонить, — что это уши разрываются, какъ они шипятъ, хрипятъ и, понатужась, едва ударятъ разъ и потомъ опять жди два, — что пока они пробьютъ двѣнадцать часовъ, такъ уже давно четверть перваго. Людмила Павловна не научилась еще знать, что иногда не такъ обидишь человѣка, обижая его самого, какъ задѣвая его въ чемъ-нибудь такомъ, что хотя изъ пустой фантазіи, да дорого ему. Она виновата была неумышленно. Часы именно такъ шипѣли и хрипѣли; послѣ каждаго своего удара, какъ будто давились имъ, но взять все это вмѣстѣ, оно казалось Катеринѣ Логвиновнѣ чѣмъ-то въ родѣ сильнаго непочтенія, неоказываемаго уваженія. По любви своей, она все бы допустила Людмилѣ Павловнѣ: и поздно вставать, и ничего не дѣлать; готова была не дать на нее порошинкѣ сѣсть; но вѣдь только въ плохихъ романахъ человѣкъ ведется исключительно однимъ какимъ нибудь чувствомъ; въ дѣйствительной же жизни эти исключенія бываютъ совсѣмъ рѣдко и не надолго. Перекрестный огонь нашихъ большихъ и мелкихъ стремленій и ощущеній движетъ насъ и толкаетъ туда и сюда. — Пани-воеводша наталкивалась на подозрительную мысль, какъ сказано выше, — что, можетъ, это дочь и не уважаетъ ее, что такіе ея поступки? А не уважаетъ потому, что она, видите, воспитанная; а мать хотя и не воспитанная, да мать.... И глубоко огорченная въ душѣ, сознавая свои неотъемлемыя права, пани-воеводша рѣшалась показать то, что она мать. Но пропуская многое, на чемъ бы

точно можно было остановить со всею дѣльностію и разсудкомъ, она, какъ это водится, привязывалась къ совершеннымъ пустякамъ. Мила широко открывала глаза и не вѣрила своимъ ушамъ. Нѣсколько разъ ошеломленная, какъ можно было видѣть въ самомъ началѣ разсказа, она рѣшалась молчать и не отмалчивалась. Материнская любовь дѣлала пани-воеводшу прозорливою. Она понимала, что дочь тѣмъ болѣе терпитъ, чѣмъ покорнѣе молчитъ. Такъ или иначе, часто съ новой болью для себя и для нея, она желала заставить говорить дочь,—и здѣсь какою ворчливою и придирчивою являлась пани-воеводша!

Но любопытно видѣть, какъ люди простые, обыкновенно вѣрные одному своему прирожденному чувству, взволнуются имъ, нашумятъ, какъ буря лѣтомъ, и—еще скорѣе порыва бури—и стихнутъ; волненіе въ нихъ улегается безъ слѣда, какъ камень, брошенный въ воду: разбѣжался кругъ и нѣтъ ничего.

Не прошло и получаса, какъ мы оставили пани-воеводшу, почти до слезъ взволнованную и разогорченную, какъ ей казалось въ чувствѣ ея материнской любви, и уже пани-воеводша обставилась штофами и полуштофами, и съ преспокойной заботою переливала уксусъ изъ большой бутыли.

Мила, унылая, сидѣла на прежнемъ мѣстѣ у окошка; воробей на подоконникѣ чирикалъ передъ нею. Осмѣлившись взлетѣть сюда, завидя крошки, нахалъ уже не обращалъ вниманія, что здѣсь лежала рука Людмилы Павловны; выхватывалъ крупинки почти изъ-подъ самыхъ пальцевъ и какъ-то задорно попрыгивалъ и поворачивалъ въ садъ свою кофейную головку, гдѣ на ближней вербѣ обсѣли всѣ нижнія вѣтви ея и съ крикливымъ шумомъ вспархивали и перелетали воробьи. Это, однакоже, мало по малу увлекло Милу. Кажется, ей захотѣлось испугомъ наказать самодовольнаго хвастуна и она стала потихоньку пододвигать руку....

Ахъ воръ! легонько вскричала она съ шутливой досадою.

Воробей клюнулъ ее въ палецъ и улетѣлъ.

— Кто воръ? что такое? отозвалась надъ уксусомъ панивоеводша. И когда ей объяснили въ чемъ дѣло:—дитя мое, дитя мое! проговорила она съ тихою нѣжностію:—и куры тебя домашнія заклюютъ, когда отъ воробья ты не могла оборониться.... Такъ это ты сама укладывала, что не приходила чай пить и чашка твоя совсѣмъ простыла?

Вопросъ сполна относился къ той первоначальной сценѣ, которая и поднялась-то именно изъ-за этой простылой чашки. Людмила Павловна утвердительно отвѣчала, что—да, укладывала въ дорогу вещи она сама.

— А очень нужно самой! А Дашка-то что дѣлаетъ?

Какъ-то Мила не разслышала этого вопроса и, загляды-вая пристально въ окно, сказала:

— Какое нынче утро тихое, ясное!

— Утро утромъ; а Дашка-то, я спрашиваю: отчего не изволила потрудиться уложить? Эй, кто тамъ? Кликните Дашку.

— Ея нѣтъ, маменька. Я ее послала въ лугъ за цвѣтами.

— И дѣло, дитя мое. У насъ всегда такіе распорядки: надобно укладываться, а тутъ Дашка иди, цвѣты рви. Балуется Дашка.

— Утро прекрасное, потирая себѣ слегка лобъ рукою, проговорила Мила.

Но прекрасное замѣчаніе осталось безъ отвѣта. Людмила Павловна въ саду, и подъ вишнями, казалось, въ густой травѣ искала, что̀ бы такое сказать, чтобы только заговорить и не сидѣть молча. Нечаянно она взглянула по дорогѣ къ церкви.... (я еще не сказала, что было Воскресенье). Отъ церкви, раздѣляя народъ православныхъ по сторонамъ, показались эти дрожки, называемыя «пролетки», запряженныя тройкой, не очень завидной масти, буланыхъ лошадей. Но, надобно отдать справедливость, лошади шли отлично, какъ одна, ровной, какой-то веселой рысью. Долгогривая пристяж-

ная, которая съ правой стороны видна была, разсыпала изрѣдка хвостъ; не рвалась она и не прыгала, какъ бываетъ у записныхъ любителей удалой ѣзды, а вся, понатянувшись, выказывая широкую грудь, и отогнувъ немного голову, и еще слегка понуривъ ее, неслась, забирая крупною рысью, и, какъ золотая, отливалась отъ солнца. На дрожкахъ сидѣлъ мужчина, въ сѣроватомъ картузѣ, что оказалось послѣ; но теперь, въ отдаленіи, и при яркомъ свѣтѣ сіяющаго весенняго утра, всѣ цвѣта принимали усиленный блескъ, и на господинѣ картузъ казался совершенно бѣлымъ. Фантастически-удлиненныя тѣни легонькаго, открытаго экипажа и бѣгущихъ широкогрудыхъ, долгогривыхъ лошадей падали внизъ по косогору и лугамъ; по росистой равнинѣ, черезъ рѣчку, шагая гигантски, неслась эта чудесная, вполнѣ поэтическая тѣнь.

— Маменька! сказала вдругъ, живо оборачиваясь Людмила Павловна, и такимъ голосомъ, въ которомъ была своя доля маленькаго испуга и какъ бы досады, небольшаго смущенія, или, что еще вѣрнѣе, непріятной, внезапной неожиданности, поразившей ее....—кто-то ѣдетъ, маменька, по дорогѣ отъ церкви.

—Куда же ты идешь? подожди. Кто бы это ѣхалъ? Мужчина, что-ли?

—Мужчина ѣдетъ.

— Да что ты, голубка моя, какъ воды въ родъ набрала: говоришь и не говоришь? Вотъ бѣда, нельзя мнѣ уксуса оставить.... Мужчина, да кто такой мужчина? Лошади-то какія?

Очевидно, что по лошадямъ ли, по сѣрому картузу или почему бы то ни было, только Людмила Павловна знала хорошо, кто это ѣдетъ. Но она избѣгала объявить матери. А пани-воеводша, наклонивши съ большимъ трудомъ и предосторожностями почти двухведерную, огромную бутыль съ уксусомъ, не могла же вдругъ бросить все: лейку и штофы, и бѣжать смотрѣть къ окну, кто тамъ такой ѣдетъ.

— Ты мнѣ скажи только: лошади-то какія? допрашивалась она у дочери. Не Мокраго рыжія?

— Нѣтъ, это не Мокраго.... Лошади желтыя, что ли? дряпныя какія-то.

— Вотъ тебѣ грѣхъ какой! удивилась пани-воеводша. Такой масти лошадей и не слыхано.... Ой! что-то ты не то говоришь, Людмила Павловна. На-ка подержи бутыль, я сама посмотрю.

Людмилѣ Павловнѣ этого, какъ Богъ знаетъ чего, не хотѣлось. Она немножко покраснѣла; медленно встала отъ окна, чтобы идти къ матери и на двухъ шагахъ у нея что-то сдѣлалось у башмака; она наклонилась, потомъ поднялась очень милымъ, смущеннымъ маленькимъ движеніемъ, поправляя назади небольшіе завиточки волосъ, чуть падавшіе ей на бѣлую шейку.

— И какая вамъ охота, маменька, безпокоиться! Еще уксусъ неравно прольется. Пусть бы ѣхалъ, кто-тамъ ни ѣдетъ. На что онъ нуженъ намъ?

— Охота, или не охота, про то я знаю. Изволь-ка подержать бутыль; я сію минуту...

Пани-воеводша, кажется, что-то догадывалась. Она, вовсе не поспѣшая, подошла къ окну и не ахнула, не оказала никакого знака удивленія, только вздохнула стоя. Ей будто довольно было однимъ глазомъ взглянуть, чтобы увидѣть, кто это ѣдетъ и чьи лошади. Напослѣдокъ она оборотилась къ дочери.

— Такъ вотъ это—будьте здоровы, пани воеводовна! —у васъ желтыя лошади? И ты не изволишь знать, кто такой ѣдетъ? Позволь уже я скажу...

— Не безпокойтесь, маменька, возразила Людмила Павловна. Я очень хорошо знаю; это ѣдетъ Алексѣй Леонтьичъ.

Отвага ли, или неожиданность этого отвѣта была такова, что замолчала Катерина Логвиновна.

— Хорошо, сказала она. Прошу тебя теперь мнѣ толкъ

дать, я вѣдь человѣкъ темный, книгамъ не ученый,—какимъ это родомъ такимъ: то вы знаете, а то ты вдругъ не знаешь?

— Маменька милая! возьмите отъ меня бутыль, чтобы я могла хотя взглянуть на васъ. Я стою къ печкѣ лицомъ и боюсь пошевельнуться.

Катерина Логвиновна приняла бутыль.

— Извольте. Вотъ и бутыль тебя не тяготитъ... Такъ какъ же это такъ? Но какому ученію мать дурой дѣлаютъ?

— Маменька! вы обижаете самое себя, сказала дочь. Разумѣется, я знала и сейчасъ увидѣла, что это ѣдетъ Алексѣй Леонтьичъ; но за чѣмъ?... пріостановилась немного Людмила Павловна... Вы сами знаете, почему я избѣгала сказывать вамъ.

— Ничего я не знаю! важно возразила пани-воеводша. Я только то знаю: что Затолока, Алексѣй Леонтьевичъ, дѣлалъ вамъ честь и намъ, по совмѣстности, тутъ же искалъ согласія вашей руки и что вы, не спросясь ума, не сказавъ матери ни добраго, ни худаго слова, изволили отказъ ему дать на всѣ четыре стороны и еще ты оскорбила, обидѣла человѣка!...

— Вотъ чего я избѣгала, горячо, даже зарумянившись вся, сказала Людмила Павловна,—упрековъ, этихъ разныхъ намековъ и укоризнъ, которые при имени Алексѣя Леонтьевича, третій день осыпаютъ меня.... Я не привыкла къ этому.

— Къ чему? спросила пани-воеводша. Правду-то слушать. Къ этому, голубка моя, и въ вѣкъ не привыкнешь. Правда глаза колитъ.

— Какая правда, маменька?—Я не говорю, чтобы я вовсе была не виновата: но въ чемъ однако же? Развѣ я обязана выходить за всякого и кто еще черезъ пятыя руки объявитъ мнѣ свое удовольствіе имѣть меня женой?

Молодая дѣвушка, совсѣмъ разогорченная, едва не плакала и только ее удерживала гордость.

— Маменька! Алексѣй Леонтьевичъ ѣздитъ къ намъ, какъ онъ ѣздитъ ко всѣмъ....

— Ну, будетъ почаще немножко, остановила ее мать.

— Пусть и чаще, я не буду спорить. Онъ вашъ знакомый старинный; вы съ нимъ едва не дѣтей крестили....

— Не крестила, сказала пани-воеводша.

— Очень жаль.—Бываетъ онъ у насъ запросто, прямо отъ обѣдни. Пріѣзжаетъ иногда такъ рано, что я сплю.

—Ну, да спишь ты всегда до-поздна.

— Хорошо; я и на это согласна.... Будетъ ему лѣтъ за сорокъ...

— И не будетъ, Людмила Павловна, извините. Ну, подъ сорокъ будетъ; а за сорокъ—не насчитывай!

— Подъ сорокъ, за сорокъ — все равно. Могла ли я думать что-нибудь? Мнѣ и въ голову не приходило. Мы, случалось, шутили съ нимъ; что онъ вовсе не глупъ, этого никто не отниметъ у Алексѣя Леонтьевича. Веселый онъ; вы говорите, что единственный хозяинъ; онъ прекрасно разсказываетъ всякіе малороссійскіе и не малороссійскіе анекдоты и у него ихъ бездна. Далѣе, я только знаю, что Алексѣй Леонтьевичъ куритъ тѣ же самыя сигары, какъ тамъ, у О...хъ, самъ Василій Петровичъ курилъ; что у него на вискахъ сѣдые волосы и—его буланыя лошади, которыя прославились по Сороковкѣ.

— Только? спросила Катерина Логвиновна. Говоришь ты хорошо, дитя мое, да не договариваешь.

— Позвольте, я сейчасъ договорю.—Были мы третьяго дня у Петренковыхъ; я пошла съ барышнями въ садъ,—откуда ни взялся Мокрый, подходитъ ко мнѣ. Вы знаете, какой онъ.—«А вы все цвѣточки рвете!» киваетъ мнѣ головою. «А нѣтъ, чтобы о дѣлѣ подумать.»—«О какомъ?..» Что другое я могла ему сказать?.. «О такомъ...» Разогналъ онъ всѣхъ и вдругъ начинаетъ мнѣ говорить,—что Алексѣй Леонтьичъ поручилъ ему узнать: какого я объ немъ мнѣнія и приму ли я его предложенье? Я была разсержена, разумѣется, я

очень удивилась и не помню, какъ я сказала: «полноте, вздоръ какой! человѣкъ старый, ему сорокъ лѣтъ, я не хочу...» Да и что другое я могла бы сказать пану Мокрому? Пусть умѣютъ выбирать своихъ ходатаевъ.

— Ну,—сказала, выслушавши все до конца, пани-воеводша:—теперь ты, голубка моя, совсѣмъ оправдалась. Виновата та кошка, что бѣжала мимо.... Слушала я тебя, не поскучай и ты меня послушать.

Пани-воеводша поставила бутыль, взяла со стола чистое полотенце и утерла имъ губы.

Самая живая житейская мудрость не могла бы говорить наставительнѣе, толковитѣе,—такъ оно чинно, каждое слово къ дѣлу, съ разстановкою, съ чувствомъ достоинства...

— Разогорчила ты меня,—начала пани-воеводша... Нѣтъ, постой, мое дитя! обожди говорить.... Не тѣмъ ты меня много огорчила, что тамъ сказала, или не сказала ты, не спросилась матери—это наше дѣло свое, домашнее; сору изъ избы не выпесемъ,—да какимъ ты родомъ отказъ дала? Вотъ чѣмъ ты меня, какъ ножемъ, по сердцу прошла!—черныя брови свои сдвинула пани-воеводша.

— Кому, кому, голубка моя, уже Богъ и люди простятъ не знать ему благоприличія, да не тебѣ, Людмила Павловна, другъ ты мой! Ты у меня ученая; не за печкой гдѣ у матери жила, а въ большомъ домѣ, между хорошими всегда людьми обхожденіе имѣла, — и тебѣ передаютъ предложеніе, искательство твоей руки отъ прекраснѣйшаго, могу сказать хорошаго такого человѣка,—и ты прямехонько въ отвѣтъ (утѣшила мать): «какой старый! я не пойду!...» Да еще начала года ему высчитывать!

— Маменька! развѣ я хотѣла? Я вовсе не думала. Это нечаянно.

— Чаянно, или нечаянно, другъ ты мой, да старые люди такъ намъ говорили: что трехъ вещей на свѣтѣ воротить нельзя: стало быть, т. е. невинности, да потерянаго времени, да еще сказаннаго слова.

— Кончили вы, маменька?

— Нѣтъ еще, дочь моя, я буду говорить. — Все бы еще и то, и се, будь это человѣкъ такой — съ конца свѣта взятый; а то человѣкъ истинно знаемый; съ матерью его мать твоя вѣкъ свой пзжила; да и съ нимъ, по какой часъ, не забывали мы родительской пріязни. Вотъ уже болѣе десятка лѣтъ въ Сороковкѣ не живетъ; Алексѣй-то Леонтьевичъ въ гору пошелъ, съ большими господами вѣдается; а когда онъ не со всякимъ уваженіемъ ко мнѣ—что говорится, почтеніемъ?

— Маменька, скажите прямо: вы хотѣли бы меня отдать за Алексѣя Леонтьевича?

— Хотѣла бы, или не хотѣла, дитя мое, не о моемъ хотѣньи рѣчь идетъ; а о томъ, чтобы мнѣ матерински, какъ самъ Богъ повелѣлъ, наставить тебя, оберечь твою молодость. Видно, книги-то не все говорятъ, хоть и много въ нихъ писано. Міръ умнѣе насъ всѣхъ; а міромъ идутъ поговорки: кто спѣшитъ, людей смѣшитъ; дурной женихъ сватается, хорошему дорогу показываетъ. Что бы тебѣ сталось — убыло ли бы тебя, дорогаго дитя моего, когда бы ты не поспѣшила, да отправила Мокраго, Матѳія-то Яковлевича, ко мнѣ? Я на то на свѣтѣ пожила, чтобы знала этимъ дѣломъ повести какъ, и ни *да*, ни *нѣтъ* твоего не сказала бы. А заговорила бы, можетъ быть, и такъ: что дѣло оно еще Божіе; что вотъ весна у насъ—сѣнокосы, рабочая пора идетъ; а дѣло это такое, что на свободѣ, гуляючи, поразмыслить о немъ; вотъ велитъ Богъ дождаться намъ осени совѣтливой да привѣтливой.... Вотъ тебѣ, дитя мое, и ни приказу, ни отказу ни якого; а Алексѣй-то Леонтьевичъ ѣздилъ бы, и люди не безъ глазъ бы смотрѣли чего онъ ѣздитъ. А тамъ уже, что Богъ далъ бы; отказать всегда будетъ время. А теперь Алексѣй Леонтьевичъ не захочетъ, такъ не скажетъ: что онъ и не думалъ сватать тебя и въ умѣ своемъ не полагалъ; а что это Матѳій Яковлевичъ Мокрый такъ, изъ своей головы, чтобы посмѣяться только.

Замолчала наконецъ пани-воеводша.

Дочка ея сидѣла, перебирая тоненькими пальцами по платью; въ комнатѣ жужжала одна толстая сизая муха.

— Маменька!

— Что голубка моя?

— Вѣдь вы именно сказали: что разъ сказаннаго слова воротить нельзя?

— Нельзя, дитя мое, никакъ его нельзя.

— А чего воротить нельзя,—стало: не зачѣмъ о томъ безпокоиться. Когда оно было, такъ ему и быть.

— Вишь ты, какое у ней разсужденіе! Нѣтъ, о томъ-то жалѣть и безпокоиться должно, чего воротить нельзя.

— Але-ксѣя Леон-тьевича!» съ разстановкою произнесла Мила.... Что это Даши такъ долго съ цвѣтами нѣтъ?

— Нѣтъ, ты, дочь моя, Людмила Павловна! не о Дашкѣ заботься, а поважнѣй о комъ. У меня дѣло на рукахъ; уксусъ не доцѣженъ.... Посмотри ты мнѣ хорошенько: что Алексѣй-то Леонтьевичъ? Бывало это онъ къ намъ заѣзжаетъ. Куда его теперь Богъ несетъ?... Къ Мокрому не заѣхалъ? къ Матѳію тому? — отрывисто спрашивала пани-воеводша, видимо не расположенная къ Мокрому по отношенію его къ сватовству. Кажется, она едва ли не подозрѣвала, что это онъ — нарочно исторію такую подвелъ. Какъ будто онъ не могъ бы прежде этого сказать ей?

— Нѣтъ,—засматривала въ окно, нельзя сказать, чтобы вовсе безъ вниманія Людмила Павловна. — Онъ проѣхалъ Мокраго, и Петренковыхъ вотъ проѣзжаетъ.

— Ну, знаю: какъ разъ ѣдетъ въ Кутки. Это онъ къ Настенькѣ Алешковой; онъ же такъ ее всегда хвалитъ.

— И къ Настенькѣ—что здѣсь такого?—пожала нѣсколько плечомъ Мила.—Пусть его ѣдетъ... Говоритъ же онъ: что это золотая дѣвушка и цѣны ей нѣтъ; однако ей уже двадцать лѣтъ....

Къ чему здѣсь упомянулось это: однако? Для того надобно заглянуть поглубже въ женское сердце.

— Ну, это еще не какіе года! — спѣшила возразить и говорила какъ-то особенно скоро пани-воеводша. — А что хозяйственная, то хозяйственная и добрая, грѣхъ сказать. Весь домъ у матери держитъ; хотя, правда, и держать-то не много чего есть... Конечно, воспитанія такого нынѣшняго не гдѣ взять; ну, да разумная, толковитая; изъ себя чернобровая....

— Однако же, маменька, онъ и Настеньку проѣхалъ! какъ бы находила особенное удовольствіе Людмила Павловна прервать долгую рѣчь маменьки.

— Алексѣй Леонтьевичъ? говоришь ты: проѣхалъ? подступила къ окну съ бутылью пани-воеводша. Истинно проѣхалъ... Куда-жъ бы это онъ ѣхалъ? Ума не приложу. Вотъ ѣдетъ человѣкъ и не знаешь, куда ѣдетъ?

Къ этому недоумѣнію присоединилось еще другое. — Буланыя Алексѣя Леонтьевича, внесшись на-рысяхъ въ Лисью-балку, не выѣзжали оттуда, и ничего не показывалось. Вороны и ласточки, которыя любятъ слѣдить за человѣкомъ въ полѣ, надлетали надъ балку и вертѣлись...

— Вотъ бѣда! Вѣрно, изломалось что,—достовѣрно полагала пани-воеводша.

Но пока оно еще не рѣшено и вдоль по дорогѣ къ Сороковкѣ ничего не видно, я воспользуюсь этимъ временемъ, чтобы сказать нѣсколько: что это за лицо Алексѣй Леонтьевичъ? Помѣщикъ, да какой помѣщикъ?

Прежде всего, Алексѣй Леонтьевичъ Затолока былъ древнѣйшимъ Сороковскимъ помѣщикомъ, отъ дѣда и прадѣдовъ, жилъ по близу Кутковъ и по сосѣдству съ Мокрымъ. Во владѣніи у него было семь душъ крестьянъ, въ томъ числѣ двѣ мертвыхъ; а сколько земли? Невозможно опредѣлить: потому что о полюбовномъ размежеваніи еще и не думала Сороковка. Кажется, онъ и въ уѣздномъ училищѣ не учился; служилъ въ Поселеніи въ уланахъ и къ нему очень шелъ синій съ красными лацканами мундиръ. Когда его произвели въ офицеры и онъ пріѣхалъ къ старенькой

своей матери (которая столько разъ кукушечкамъ и ласточкамъ, и орлу сизому наказывала, чтобы полетѣли къ ея сыну милому, да сказали ему: что старая его мать и поздно ложится, и рано встаетъ, все по зарямъ выглядываетъ: когда онъ пріѣдетъ къ ней? чтобъ таки — не умерла она, посмотрѣла на сына во всемъ его великомъ государевомъ одѣяніи) — такъ, когда пріѣхалъ Алексѣй Леонтьевичъ въ Сороковку въ уланскомъ мундирѣ: серебряные эполеты, грудь вся алая и шапка алая, такъ и цвѣтетъ, — важный Мокрый, еще отецъ Матѳія Тимоѳеевича, назвалъ Затолоку снегиремъ и позвалъ къ себѣ отъ обѣдни на водку. И куда бы ни шель Алексѣй Леонтьевичъ: конопляниками ли, чтобъ пострѣлять воробьевъ, такъ ли куда дорогою — словно кто насылалъ ему такое навожденіе: спереди и съ боковъ, и въ слѣдъ ему — затаясь гдѣ-нибудь за вербою, припавши въ высокую траву, или наконецъ цѣлою ватагою нахлынувши въ густую коноплю—его высматривали отовсюду зоркіе плутоватые глазки, и когда Алексѣй Леонтьевичъ за-частую самъ хотѣлъ поближе взглянуть на нихъ—отъ него, смѣясь, бросались въ разсыпную бѣжать не однѣ простыя дѣвушки, перекинувъ на плечо цвѣтную отъ косы ленту; но случалось и сороковскія барышни, подбирая свои длинныя платья и хватаясь рукою за гребень, чтобъ на бѣгу не обронить его. Не разстался бы иной легко съ такимъ чудодѣйственнымъ мундиромъ; но Алексѣй Леонтьевичъ скоро снялъ его. Умерла его старенькая мать, похоронили ее у церкви и вышелъ въ отставку Алексѣй Леонтьевичъ. Встала на него, какъ одинъ человѣкъ, вся Сороковка. «Уже видно», говорили, «что умерла старая матерь: бо некому поучить молодаго сына». Вмѣсто того, чтобы жить паномъ, хотя маленькимъ—какимъ ни-на-есть, да все паномъ, помнить свое панство, — онъ пошелъ въ купцы, позавелъ компаніи съ купцами, началъ перепродовывать лошадей, скупать овецъ... Не зазывалъ уже болѣе Мокрый Алексѣя Леонтьевича на водку; перестали его высматривать изъ конопель дѣвушки, да и самого его почти

не видать было въ Сороковкѣ. «Навернется», говорили ближніе сосѣди, «какъ огня ухватитъ, да и былъ таковъ». Гдѣ онъ пристанище имѣлъ? что̀ дѣлалъ? Полагали даже, что едва ли не подъ разбой ходилъ; только разбоевъ нигдѣ не слыхать было. Когда на улицѣ начинали пѣть старинную малороссійскую пѣсню:

Нема ій спыну да вдовыному сыну...
Нѣту удержу да вдовы ли той сыну:
Что полночь наступаетъ, разбой разбиваетъ...

«Нема спыну да вдовыному сыну!» важно повторялъ панъ Мокрый. «Вотъ такъ оно, какъ нашему.» Онò и было отчего говорить такъ: то въ хуторочекъ къ «вдовыному сыну» приведутъ лошадей такихъ, что кому не надо, каждая рублей двѣсти и болѣе стоитъ. То пригонитъ онъ откудова-то воловъ и коровъ на удивленіе, что вся Сороковка сходится смотрѣть: и гдѣ они росли въ такой роскоши, на какомъ привольи и еще, пуще всего, какъ достались они «вдовыному сыну?» Гдѣ, гдѣ его нѣтъ, а уже на весеннихъ ярмаркахъ онъ здѣсь: похаживаетъ между купцами, скупаетъ скотъ; завелъ свою отару овецъ въ Сороковкѣ и на Донъ пробивалъ, по Черноморью всѣ мѣста извѣдалъ—«нема спыну да вдовыному сыну!»

Послѣ пяти-шести лѣтъ такой, никѣмъ не стѣсняемой жизни, Алексѣй Леонтьевичъ вдругъ явился къ Мокрому и предложилъ ему, какъ сосѣду и достаточному человѣку, купить у него его часть Сороковки. «Такъ я хоть и старый человѣкъ», разсказывалъ Мокрый, «а у меня морозъ по за спиною пошелъ. Продать отцовщину! Сороковку! Что же вы, молодой мой панычъ, собираетесь жениться, или какъ оно въ пѣсни поется: або жъ я женюся, або утоплюся?» «Ни того и ни другаго», отвѣчалъ Алексѣй Леонтьевичъ. «А вы располагаете купить у меня, или нѣтъ?» — «Нѣтъ!» рѣшительно сказалъ Мокрый. «*Ни!*» повторилъ старикъ съ силой задушевнаго убѣжденія. «Грѣху брата моего не послужихъ», попъ-батько въ церкви читалъ; а вы, молодой

панычъ, сыномъ могли мнѣ быть: такъ мнѣ, старому дѣду, учить васъ, а не подводить на такое богопротивное дѣло—ни! не хочу я. Коли вы не совсѣмъ еще отказались отъ Сороковской хлѣба-соли, то оставайтесь, пообѣдаемъ; а сего дѣла—не хочу! дважды повторилъ Мокрый. — «Очень жаль», кажется, былъ нѣсколько тронутъ и вмѣстѣ раздосадованъ молодой Затолока. «Благодарю васъ, панъ Мокрый, что вы захотѣли поучить меня безроднаго. Я самъ дорожу отцовщиной на сколько могу. Людей я оставляю за собою, хотя, вы знаете, тамъ немного добра,—гдѣ двое старыхъ, да одинъ малый; а на землю у меня покупщикъ есть. Но я, можетъ быть, потому и пришелъ называться вамъ, что мнѣ хотѣлось бы лучше, чтобы земля моя была у васъ, у нашего стариннаго сосѣда и своего брата-помѣщика. Счастливо вамъ оставаться». — «Съ Богомъ, молодой панычъ. На добрый путь... Такъ кому вы продаете вашу землю?» спросилъ, провожая гостя, уже на крыльцѣ панъ Мокрый. — «Мѣщанину изъ города»... Вернемтесь, панъ, въ хату, чтобы вонъ та рябая сорока, что на плетнѣ, не послышала насъ... Садитесь, мой панъ!» сказалъ Мокрый. «Еще какъ стала на свѣтѣ считаться любая Сороковка, не было въ ней того сраму: чтобы жили-жили паны, да замѣшалась сюда всякая дрянь.... Что вы хотите за вашу землю? Я не торгуясь плачу. Намъ купцами не быть и на барыши мы не разсчитываемъ. Мы дурни—паны; дѣды наши такъ жили, да и намъ, панъ, заказали»....

Такъ выбылъ Алексѣй Леонтьевичъ изъ Сороковки. «Батьковщину уже продалъ», махали будто въ слѣдъ ему рукою сороковскія пани, «не постоитъ и душу заложить.» —«*Ни!*» крѣпко раздумывая, напиралъ на свое *ни* панъ Мокрый. «Еще панычъ нашъ не совсѣмъ пропалъ. За барышъ души не положитъ. Важность она панская въ немъ есть. Я уже такъ было и думалъ: возьметъ онъ съ меня въ три-дорога, благо, что дурень такой попался, сказать, что не торгуясь плачу—и заплатилъ бы, бисову сыну, слова бъ не сказалъ,

заплатилъ!» разгорячился панъ Мокрый. «Такъ нѣтъ его, говоритъ: «кладите вы цѣну: земля вамъ знакомѣе и купчую пополамъ возьмемъ». Такъ оно межъ панами ведется, по пански оно!» тихонько притопывалъ сапогомъ Мокрый. Алексѣй Леонтьевичъ взялъ въ верстахъ двадцати отъ Сороковки значительную аренду, гдѣ довольно большое количество земли и, сверхъ того, возможность нанимать степь у сосѣднихъ помѣщиковъ—развили его торговые обороты. Онъ скупалъ и выкармливалъ на сало отары овецъ, головъ двѣсти и болѣе украинскихъ быковъ. Алексѣй Леонтьевичъ былъ не такой человѣкъ, чтобы могъ остановиться, когда видѣлась возможность идти впередъ—и онъ завелъ свои бойни, свое небольшое саловаренное заведеньице; чрезъ восемь лѣтъ онъ купилъ свою аренду. Казалось бы, такого рода не пустые успѣхи, устанавливающееся значеніе Алексѣя Леонтьевича, какъ человѣка «при деньгахъ», и самый его новый высшій кругъ сосѣдства и знакомства давали ему все право забыть Сороковку и навсегда.

Но вышло совершенно наоборотъ.—Когда Алексѣй Леонтьевичъ жилъ въ ней и принадлежалъ, какъ рыба водѣ, своей Сороковкѣ, она точно была ему ни чѣмъ. Забывалъ онъ про нее и будто немножко презиралъ; по крайней-мѣрѣ, отъ недосуговъ ли, или почему другому, только вовсе не хотѣлъ знаться съ ея панами и паньями. Теперь совсѣмъ не то. Оставилъ онъ Сороковку и она будто стала ему и близка, и мила. Подъ рядъ перезнакомился онъ со всѣми ея Петренками, Процѣнками, Сидоренками; полюбилъ отъ души еще маленькую и всюду говорилъ о ней, расхваливалъ свою бывшую сосѣдку по Куткамъ, бѣдную Настеньку Алешкову, и случалось, что его звали куда-нибудь въ важный домъ и не совсѣмъ на обыденный случай — «нѣтъ, господа», говорилъ онъ, «поѣду въ свою Сороковку.»

И чтобы настояще видѣть Алексѣя Леонтьевича, сколько въ немъ было самороднаго, своего особеннаго, дѣятельнаго и какъ бы немножко удалаго, это надобно было посмотрѣть

на него на весеннихъ ярмаркахъ, гдѣ обыкновенно продается скотъ и большіе и мелкіе торговцы кишатъ по заставленной площади. Пріѣзжаетъ Алексѣй Леонтьевичъ. Ему надобно прибыть иногда за осьмнадцать и двадцать верстъ. Самая только грязь, весенняя распутица; буланыя его взмылены, сѣдѣютъ отъ пара, но еще рвутся на возжахъ: ярмарочный шумъ и толкотня горячатъ ихъ. «Берегись, поди!» не замолкаетъ кучеръ... «Прочь съ дороги, баба! зазѣвала—берегись!» Еще лошади и не совсѣмъ остановились, какъ Алексѣй Леонтьевичъ встаетъ. На немъ оригинальный — лоснится весь—какъ смоль вороной, калмыцкій ергакъ забрызганъ мѣстами грязью. Алексѣй Леонтьевичъ веселъ, видимо доволенъ; англійскіе панталоны опущены въ сапоги съ узенькой сафьянной оторочкой; ничто не мѣшаетъ свободнымъ его во всѣ стороны движеніямъ; на головѣ красная, кругленькая шапочка, что-то на манеръ ермолки, принадвинута на брови, и замшевыя темнозеленыя перчатки — нарядъ Алексѣя Леонтьевича. «Наше вамъ нижайшее почтеніе! Всенижайшее наше почтеніе, Алексѣй Леонтьевичъ! по добру ли, т. е. ваша милость, по здорову?» подступаютъ къ нему съ разныхъ сторонъ. «Матвѣй Ивановъ Скорняковъ всепокорнѣйшее свое почтеніе Алексѣю Леонтьевичу!» протискивается въ засаленомъ балахонѣ скудобородый молодецъ купчина. «А мы этакъ-съ, того, посматриваемъ. Не ѣдетъ-съ! говоримъ; а и торгъ бы оно какъ-то вольнѣе пошелъ-съ. Дорога-съ оченно, того, распутная-съ.» Весело, какъ-то особенно довольно, бодро оборачивается по сторонамъ Алексѣй Леонтьевичъ, приподнимаетъ свою красную шапочку—«Богъ помочь! А! здравствуйте. Спасибо, господа... А! умная голова, не ладная борода—Матѳей Ивановъ! здорово, братъ. Хозяйка, дѣтки? каково поживаешь?» — «Слава Богу, слава Богу! на всемъ-съ слава Богу.» — «Слава Богу!» въ свою очередь повторитъ Алексѣй Леонтьевичъ. «Что? Какова площадь, господа? Хорошъ ли товаръ есть?»—и отправляется въ кружкѣ бородъ обойти ярмарку, осмотрѣть ее. Не

потому, чтобы это было ему нужно,—иногда онъ уже «накупился», т. е. купилъ все необходимое ему количество скота и теперь пріѣхалъ на ярмарку такъ: — не по чему другому, какъ потому, что въ немъ шевелится живая дѣятельность, и усидѣть дома, не посмотрѣть хотя, какъ поведутъ свои дѣла другіе, Алексѣй Леонтьевичъ не могъ. И, кажется, онъ вовсе не смотритъ; идетъ по ярмаркѣ, разсказываетъ; кланяется съ своими знакомыми и только, будто мимоходомъ, ударитъ по бедру рукою то одного, то другаго быка; но торговцы знаютъ это клеймо зеленой перчатки Алексѣя Леонтьевича. Какъ бы ни держался хозяинъ, а скотина у него будетъ куплена: потому что глазъ Алексѣя Леонтьевича вѣренъ и рука его мѣтко обозначаетъ хорошее.

И вотъ эта мѣткость вѣрнаго взгляда, дѣльность Алексѣя Леонтьевича, умная голова, не пустозвонная—вовсе не обороты его, не превышавшіе тысячъ семи серебромъ на рогатомъ скотѣ—дали ему вѣсъ и почетъ между людьми не его сословія, ворочавшими десятками тысячъ, и которые вначалѣ очень небрежно посмѣивались надъ его честью «дворянческимъ купцомъ». Но чтобы все сказать объ Алексѣѣ Леонтьевичѣ, надобно не пропустить и тѣхъ слуховъ, которые ходили объ его деньгахъ. Одни говорили, что у него даже тридцать тысячъ серебромъ; другіе поумѣреннѣе, клали только на пятнадцать. Разумѣется, то и другое было чистый вздоръ. Вѣрнѣе всего можно сказать: что едва ли у него какой десятокъ тысячъ, и то не серебромъ, а развѣ ассигнаціями, былъ наличными, лежалъ въ шкатулкѣ; а остальныя деньги находились въ оборотѣ: въ скотѣ, въ овцахъ, въ зерновомъ хлѣбѣ, которымъ засыпаны были сплошь амбары, и наконецъ не должно забывать, что нѣтъ еще и двухъ лѣтъ, какъ Алексѣй Леонтьевичъ купилъ свою аренду. Но въ томъ и состояла вся задача, что Алексѣй Леонтьевичъ и не было того, чтобы когда распространялся о своихъ дѣлахъ: какъ они? удачно, не удачно ли шли? Даже, когда навѣрное знали, что онъ выгодно и превыгодно продалъ свой

гуртъ или овецъ своихъ, и только такъ хотѣли спросить: «А что? не хорошъ барышъ? Мало, чай, взяли?»—«Будетъ съ меня», отвѣчалъ съ своей веселой улыбкою Алексѣй Леонтьевичъ. «Мнѣ не семью кормить». — А отчего бы и не семью?» живо вступалась какая нибудь тутъ бывшая сороковская и несороковская дама. Алексѣй Леонтьевичъ шутилъ и отсмѣивался: но въ этомъ отношеніи судьба его сильно интересовала Сороковку. Его женили и на вдовѣ какой-то, даже княгинѣ,—гдѣ-то она жила, никто не зналъ—и казачку онъ съ Дону привозилъ; Настеньку Алешкову чуть-чуть только не сваталъ, и даже былъ явно помолвленъ—это всѣ знали—на дочери того, у кого онъ держалъ имѣніе на арендѣ, хотя у него всѣхъ дѣтей было только два сына. «Истинно вотще трудишися!» качали головами и въ печали жмурились старушки, приводя очень близко тексты изъ Св. Писанія. «Нынѣ душу твою истяжутъ отъ тебе и вся твоя не вѣси, кому собираеши. Ни жены, ни близкаго рода.» Пріѣхала Людмила Павловна.... Вся Сороковка въ одинъ голосъ положила, что вотъ уже невѣста Алексѣю Леонтьевичу —не идти ему дальше. И Алексѣй Леонтьевичъ то часто ѣзжалъ въ Сороковку, а то будто и еще чаще сталъ навѣщать того и другаго въ ней, и все по дорогѣ, мимоѣздомъ и такъ прямо, заѣдетъ къ Катеринѣ Логвиновнѣ. Но ѣздитъ онъ мѣсяцъ и два ѣздитъ мѣсяца—не малое время, и годъ прошелъ; а Алексѣй Леонтьевичъ бываетъ и бываетъ, и будто правъ себѣ, что онъ бываетъ. Потомъ вдругъ—Богъ послалъ вёсну—и словно вѣтромъ какимъ пахнуло на Алексѣя Леонтьевича: черезъ Мокраго—извольте вамъ—дѣлаетъ предложеніе, или, что одно: проситъ узнать, какъ примутъ его? Все это, отъ давняго ожиданія, пришло совершенно неожиданно, было какъ-то оно странно; не отзывалось дѣльностію, всѣмъ извѣстной послѣдовательностію Алексѣя Леонтьевича...

— «Гм!» часто произносила за это время въ большомъ раздумьи пани-воеводша, и теперь, заглядывая въ окно и

не понимая, что такое сдѣлалось въ Лисьей-балкѣ съ Алексѣемъ Леонтьевичемъ?—«Гм!» сказала она, но здѣсь же увидѣла, какъ вспугнутую ширококрылую птицу, поднявшуюся изъ-за кустовъ балки....

Эта птица была тройка Алексѣя Леонтьевича.

Прямо противъ солнца, румяное, маслянистое лицо кучера яснѣло, какъ красной мѣди самоваръ; буланыя неслись; задержка въ балкѣ, видимо, разгорячила ихъ. Коренной конь, какъ левъ (да онъ немного и похожъ былъ на него золотистой грцвой), кажется отсюда слышно было какъ храпѣлъ, напирая крутою грудью и высокими взмахами копытъ, загребая подъ себя пыль и дорогу.

— У! добрый конь — не могла, чтобы не проговорить Катерина Логвиновна, не смотря, что такъ она была озабочена вопросомъ: куда ѣдетъ Алексѣй Леонтьевичъ?

— Въ самомъ дѣлѣ, куда же это онъ ѣдетъ? Мила! тебѣ будто и нужды нѣтъ...

— Мнѣ же какая нужда, маменька! — сказала Людмила Павловна.—Вѣдь онъ навѣрное ѣдетъ не къ намъ; да хотя бы и къ намъ....

— Навѣрное или не навѣрное—не узнаешь ты, дитя мое, что у человѣка на умѣ. А ѣдетъ, шибко ѣдетъ.

— Вотъ прекрасно! зачѣмъ же это онъ поѣдетъ къ намъ? требовать объясненій, что ли?

— Нѣтъ, дитя мое, ты ему все хорошо объяснила. Если онъ ѣдетъ, такъ за чѣмъ другимъ, а уже объясненій твоихъ не надобно.

— И совершенно ясно, что онъ старъ...

— Людмила Павловна!...

Но укорительный голосъ пани-воеводши замолкъ. Она вдругъ отступила назадъ отъ окна и проговорила: «поворачиваетъ онъ! къ намъ поворачиваетъ....»

Хотя она сейчасъ только предъ этимъ какъ будто полагала это возможнымъ, но на самомъ дѣлѣ, видно, никакъ того не ожидала.

— Что же мы теперь, дитя мое, какими глазами будемъ смотрѣть?

— Я не выйду, сказала Мила.

— И не думай того!—Возвратилась вдругъ къ пани-воеводшѣ вся ея серьезная плавность и чинность рѣчей и пріемовъ. — Наварила, сударыня, пива, такъ и пожалуй его распивать,—переступила она въ свою пріемную комнату.... Вонъ и Дашка твоя съ цвѣтами идетъ.

Какъ я люблю, когда въ тихую комнату, слышишь, идетъ, входитъ человѣкъ; прислушиваешься, какъ онъ ступаетъ.... Неожиданно начинаешь понимать его. Шаги—это такое же разнообразіе, какъ и тоны голоса: подъ инымъ вялъ, чуть движется отголосокъ шага; подъ другимъ онъ звученъ, силенъ.... Алексѣй Леонтьевичъ входилъ, неся какую-то бодро веселую звучность по слѣдамъ своимъ.

— А я вотъ отъ обѣдни да и къ вамъ, Катерина Логвиновна. Незванный гость пироги ѣсть.

— И милости просимъ, Алексѣй Леонтьевичъ! Незванный, такъ я теперь зову; милости просимъ, не откажите.

— Извините, право. Нельзя, какъ будто грѣхъ какой: въ церкви былъ и не заѣхать къ вамъ.

— Видно, не знаетъ онъ, себѣ на умѣ подумала пани-воеводша.... И помилуй васъ Богъ отъ этого! возразила она. Чтобы однимъ разомъ сказать: да не только я, и пироги мои на васъ бы осердились.... Одарья! Наталка! давайте намъ, родныя, сюда пироги. Гость пожаловалъ, ждетъ.

Къ пирогамъ явилось все, что подается для закуски.

— Вотъ и канареечка вамъ, Алексѣй Леонтьевичъ, запѣла. Это она послышала, что тарелки стучатъ.... Съ воскреснымъ днемъ, будьте здоровы! и таки дай Богъ здоровья вамъ! наливала собственноручно въ свою серебряную чару гостю водку пани-воеводша. — Вы не забываете нашего хра-

ма Божія; ѣздите помолиться къ намъ. Просимъ одолженія выкушать.

— Дай же, Богъ, чтобы вы были здоровы и мы были здоровы, всѣмъ на здоровье! выпилъ чарку Алексѣй Леонтьевичъ и, по приглашенью, придвинулся къ столу съ закускою.

— А вѣдь такъ, Катерина Логвиновна,—странное дѣло, говорилъ онъ. Мальчишкой ли я еще, безъ шапки, привыкъ бѣгать въ нашу Сороковскую церковь; бывало матушка дастъ въ руку грошекъ: «бѣги, Алексіе, до Бози. Свѣчечку поставишь, Богъ счастія дастъ»,—или что здѣсь прахъ родительскій; но какъ не въ Сороковской церкви,—нигдѣ будто и не помолишься.

— Родительскій прахъ, повторила пани-воеводша, ничего не поясняя болѣе... А вотъ и пирожечекъ съ печеночкою, съ лёгенькимъ, какъ вы вкусъ имѣете, Алексѣй Леонтьевичъ, съ засушенкою и прирумяненный, какъ и матушка ваша покойница любила.

— Такъ вотъ это все мнѣ, ради матушки, на здоровье скушать? обѣими руками указывалъ на свою наполненную тарелку Алексѣй Леонтьевичъ. Извольте, Катерина Логвиновна. Я мастеръ пироги ѣсть. Матушка спозаранку пріучала.... Родная моя! когда бъ это она встала, да пожила теперь со мною!

— Порадовалась бы душа ея, истинно порадовалась, отвѣчала пани-воеводша.

Затѣмъ, только канареечка начала сильно насвистывать, подзадориваемая стукомъ ножей и вилокъ.

Алексѣй Леонтьевичъ, какъ человѣкъ дѣятельный, не могъ быть слишкомъ полонъ и толстъ, и не былъ онъ. Вся верхняя часть его открытаго хорошаго лба на столько, какъ надѣвается картузъ и можетъ затѣнять козырекъ, была бѣла и даже очень; остальную часть лица широко захватывалъ румяный весенній загаръ помѣщика, который самъ бываетъ въ полѣ, отсутствіе усовъ и бакенбардъ, бѣлокурые мягкіе

волосы, сами подвивающіеся легонько на вискахъ, свѣтъ сѣрыхъ глазъ и улыбка веселая Алексѣя Леонтьевича давали ему столько молодости, что грѣхъ было Людмилѣ Павловнѣ назвать его старымъ. Даже самый костюмъ его, простой лѣтній, неимѣнье никакихъ булавокъ и перстней и хорошее бѣлье, дымокъ настоящей гаванской сигары—говорили довольно въ его пользу...

— А, Алексѣй Леонтьевичъ! а, гость мой! а, нѣтъ! заговорила пани-воеводша. Салфетки вовсе не слѣдъ класть. Я васъ еще поподчую.

— Чѣмъ же это, Катерина Логвиновна? я совсѣмъ сытъ. Обѣдъ пропадетъ.... Я, видите, безъ церемоніи у васъ и обѣдать сбираюсь.

— Эта статья своимъ чередомъ. Кто бы и пустилъ васъ безъ обѣда! Коли одолженіе ваше было такое заѣхать ко мнѣ, то и борщъ мой кушать: — ужъ такъ водится.... Да нѣтъ, Алексѣй Леонтьевичъ, вы на такой часъ поспѣли, что угощенье всякое слѣдуетъ, — угощала пани-воеводша. Мы вѣдь совсѣмъ на выѣздѣ; завтра въ путь пускаемся, туда, къ благодѣтелямъ своимъ. Дочь тамъ имянинница, вотъ Царя Константина и матери его Елены, пріятельница дорогая...

Надобно бы было добавить: чья? но пани-воеводша, осторожная и совѣстливая, избѣгая всячески напомнить Алексѣю Леонтьевичу.... не упомянула имени дочери.

— Такъ, гость мой любезнѣйшій! то вы всегдашніе кушали пироги воскресные; а это я васъ своими дорожними поподчую. Уже не обидьте, не откажите и дорожку намъ погладить.... Какъ хотите, Алексѣй Леонтьевичъ: хотя вы и не пьете двухъ передъ завтракомъ, а другую надобно выпить.

— Да вѣдь я же не пью, Катерина Логвиновна.

— Дорогу вспрыснуть, Алексѣй Леонтьевичъ. Пыль столбомъ — не откажите. А тѣмъ часомъ мы съ вами хорошо сядемъ да побесѣдуемъ; я еще посовѣтоваться съ вами хочу.

— Что такое? зорко взглянулъ Алексѣй Леонтьевичъ. За совѣтами, кажись, пани-воеводшѣ ни къ кому не ходить.

— Не говорите того, хорошій мой. Съ совѣтомъ да съ привѣтомъ только человѣку межъ людьми жить... Выкушайте, прошу васъ, сказала Катерина Логвиновна. Я вамъ лекарственной, человѣчьяго вѣку рюмочку налью. А вотъ и пирожечекъ съ яичками, съ поджареннымъ на меду макомъ, сдобность какая! такая пріятность въ дорогѣ закусить.

— Пани моя хорошая! говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ, я же никуда не ѣду; остаюсь у васъ. Помилуйте.

— Что жъ такое? побезпокойтесь. Пирожечекъ одинъ... Это же мои, Алексѣй Леонтьевичъ, любимые.

— Ну-те, такъ и быть, Катерина Логвиновна! забавно тряхнулъ головою Алексѣй Леонтьевичъ: Съѣлъ я свои любимые и матушки покойницы пирожки любимые и ѣмъ ваши любимые, это же еще на блюдѣ что за грибочки такіе загнутые, варенье течетъ? вѣрно Людмилы Павловны любимые? Давайте ужъ и ихъ съѣмъ... Кончилъ! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ, веселымъ размахомъ кладя салфетку на столъ. Теперь позвольте—покурю.

— Такъ оно по-пріятельски бываетъ! вотъ эта старинная дружба видна,—предовольная свободной мѣрой своего гостя, благодарила пани-воеводша. Она нѣсколько пріостановлена была вопросомъ о любимыхъ пирогахъ Людмилы Павловны. Но Алексѣй Леонтьевичъ, спокойный и чего-то немного улыбаясь, курилъ свою сигару и похаживалъ.... Гдѣ-то ума взялъ Мокрый, не сказалъ ему—или что же это такое? спрашивала себя пани-воеводша.

— Такъ что жъ такое, Катерина Логвиновна? о чемъ вы хотѣли поговорить со мною? началъ разговоръ Алексѣй Леонтьевичъ. Душой радъ служить вамъ.

— Всепокорнѣйшую мою благодарность приношу, Алексѣй Леонтьевичъ. Дѣло это такого выходитъ рода—эй! кто вы тамъ? умницы мои! Наталка! подите принять тутъ,—что

какъ вамъ сказать? и не хотѣлось бы малостію неравно скуку вамъ навести.

Пани-воеводша, какъ настоящая Малороссіянка и чинная такая, говорила съ большимъ предисловіемъ.

— У васъ и своихъ дѣловъ, Алексѣй Леонтьевичъ, голова не обниметъ; а тутъ мнѣ съ своимъ.

— И слава Богу, Катерина Логвиновна. Лучше много дѣлъ, чѣмъ сидѣть безъ дѣла. Что вамъ такое угодно? Позвольте, я вотъ такъ поближе присяду къ вамъ.

Усѣлся на диванчикъ Алексѣй Леонтьевичъ и диванчикъ хорошо рыпнулъ.

— Соблазнили вы насъ всѣхъ, хорошій мой, говорила пани-воеводша. Въ торгъ хочу пуститься. Съ весны, знаете, слыхать было, что падежъ на скотъ идетъ, такъ я и поопаслась: лишній какой по хозяйству скотъ и продала, и теперь думаю, мысль мнѣ такая приходитъ: что дай я куплю овецъ. Онѣ къ осени поотгуляются; а тамъ я ихъ и продамъ, и что нибудь, знаете... Деньги теперь становятся нужны.

— Слушаю-съ, особенно весело помолчалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Вспомянули вы мнѣ, пани-воеводша, хорошее время, какъ я самъ ходилъ за совѣтами.... Ищу, гдѣ бы мнѣ потолкаться между купцами. Въ городѣ была ярмарка; захожу я въ трактиръ, сидятъ два купца, — здѣсь это я въ первый разъ сошелся съ своимъ пріятелемъ Скорняковымъ,— пьютъ купцы чай и разговоръ дѣловой идетъ. Подсѣлъ и я къ нимъ, и вотъ также, какъ у васъ, у меня въ головѣ овечки бродили. «Господа! говорю, вотъ такъ и такъ: что, примѣрно, прибыли? сколько можно съ овцы нагулу, т. е. сала получить? что вотъ, говорю: хотѣлось бы по осени заняться овцами?»—«Ничего-съ, оченно хорошая статья», говорятъ. Посмотрѣли они значительно на меня. «Да вы, сударь-съ, это впервые желаете заняться? Женаты, смѣю спросить-съ?» сказалъ Скорняковъ. «Нѣтъ,» говорю я. «И, примѣрно положить-съ, не располагаете жениться-съ въ этомъ годѣ?» — «Не думаю...» Переглянулись купцы между

собою. «Ну, говорятъ: барышъ есть. Нагулъ на овцахъ будетъ.»

— Какъ же-съ это оно, Алексѣй Леонтьевичъ? Я такой матеріи не понимаю.

— Ну, извольте видѣть, пани-воеводша! я и самъ тогда не понималъ. «Что вы, говорю, господа честные, посмѣиваетесь надо мною, что ли? какое дѣло нагулу на овцахъ до моей женитьбы»? А теперь и я знаю: чтобъ барыши взять да сало на овцахъ было, такъ и не мѣшаетъ хозяину неженатымъ быть.

— Ну, и воля же ваша, Алексѣй Леонтьевичъ, чинно улыбалась пани-воеводша. Мнѣ не жениться и замужъ не моя пора идти.

— Э-эхъ, пани-воеводша! да мущиной надобно быть. Не засыпаться до зари, да не нѣжиться; верхомъ ѣздить и этакъ на рукѣ стегаечку, чтобы пошевелить случаемъ чабана, носить.

Помолчала немного пани-воеводша.

— Стало быть, Алексѣй Леонтьевичъ, такое разсужденіе выходитъ: что наврядъ мнѣ покупать овецъ?

— Нѣтъ, пустое, сударыня моя! Покупайте смѣло. Прибыльнѣе овцы ничего по хозяйству и въ торговлѣ нѣтъ... *А мои-то овцы, Катерина Логвиновна, съ нагульцемъ будутъ?*—шутливо и вмѣстѣ серьезно вдругъ спросилъ Алексѣй Леонтьевичъ. Слова были шутливыя; но голосъ и то, какъ они сказались, было очень серьезно. Покачалъ онъ головою.

— Я не знаю... такъ ли оно? Алексѣй Леонтьевичъ, родной мой! понимаю ли я васъ?

— Понимаете, пани-воеводша.

Какъ ни была она неожиданно и врасплохъ застигнута, но пани-воеводша не потерялась и сановито повыпрямилась. Разговоръ пошелъ тихимъ голосомъ.

— Такое произошло дѣло, что какъ и сказать? Простите вы насъ...

— Да что тутъ? какое прощеніе, пани-воеводша, когда человѣку талану нѣтъ.

— Позвольте; одного я въ разсудокъ не возьму... Можетъ, оно и не такъ бы было... Какъ это вамъ, отецъ мой родной, пріятель мой задушевный! да вздумалось поручить такое дѣло Матѳію Тимоѳіевичу Мокрому?

— Дѣдъ лысый ему поручалъ! съ комической досадою отвѣтилъ Алексѣй Леонтьевичъ. Извольте послушать, какъ оно было.—Въ прошлое Воскресенье собралось ко мнѣ человѣкъ шесть нашихъ Сороковскихъ, и Мокрый былъ. Ну, и начали они, пристаютъ: не женюсь, да почему не женюсь? Такъ-то бы вотъ и женился, какъ хочется! «Давайте же невѣсту,» говорю я. Мокрый вотъ и называетъ *ее*.... «А слышали ли вы, панъ Мокрый, сказалъ я: какъ цыганъ сватался за королевну?» Не слыхалъ онъ.

— И я, что-то не слыхала такого, шепотомъ замѣтила пани-воеводша.

— «Такъ вотъ послушайте, говорю я. Идетъ цыганъ разряженный... «Постой! куда ты?» спрашиваютъ его. — «Не трогайте меня, говоритъ, братцы! Иду свататься за королевну.» — «Съ ума ты сошелъ, цыганъ! пойдетъ же она за тебя?»—«А чтожъ, братцы?» говоритъ цыганъ: «уже половина дѣла сдѣлано.» «Какъ сдѣлано?» спрашиваютъ его. — «Да такъ, братцы, говоритъ: я со всей душою, только-какъ она?» Вотъ такъ и мы съ вами, панъ Мокрый, говорю я: *только какъ она?*»

Разсмѣялся Алексѣй Леонтьевичъ.

— Такое горе! сказалъ онъ. Вы знаете: что уже Мокрому въ голову вошло, того и сухимъ клиномъ не выбьешь. «Такъ я же узнаю»—въ одно сталъ: «спрошу и узнаю: *какъ она*?» Вотъ тебѣ и узналъ на мою голову!

Опустилъ свою умную голову Алексѣй Леонтьевичъ.

— Что теперь будемъ дѣлать, Катерина Логвиновна?

— А что же вамъ такое дѣлать, Алексѣй Леонтьевичъ? Я какъ и постигала все, что это однѣ выдумки Мокраго.

— Вотъ-те и на!—закусилъ губу Затолока. А я-то что? за болвана сталъ? Такъ бы вотъ Мокрый за меня разсказывалъ, и женилъ меня, когда бы я самъ того не хотѣлъ! Мы, Катерина Логвиновна, къ этому празднику, какъ говорится, пѣшіе бъ шли. Я разсказываю вамъ, какъ случилось.

— А случилось оно такъ, Алексѣй Леонтьевичъ, что — не погнѣвайтесь — доброму здѣсь не много чему быть.... Позвольте! не потому, чтобы я, мать родная, того не хотѣла, или бы находила какой порокъ въ васъ, Алексѣй Леонтьевичъ! я съ вами, какъ съ другомъ моимъ давнимъ, душу открывши, буду говорить. Намъ не въ первой разъ сегодня знаться. Пусть ваше богатство при васъ; да человѣкъ-то вы, что другаго въ жизнь не сыщешь, хорошій мой! Сулилъ намъ Богъ счастье, да не умѣли руками взять. Ну, что бы вамъ мнѣ-то было сказать? Пошло бы оно тихо и ладно; авось бы что нибудь и вышло. А то дитя молодое, явился тотъ Мокрый, какъ съ цѣпи сорвался; она наговорила, не подумавши и не раздумавши; а теперь она еще у меня такая, что отъ своего слова потому одному, что сказала его—не вотъ-то она и отступится.

— Такъ-то, Катерина Логвиновна: вѣкъ живи, вѣкъ учись, а дуракомъ умрешь и, еще скажутъ, старымъ.

Что-то другое еще думалъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— Такъ какъ же, пани-воеводша? Вотъ мнѣ совсѣмъ и чистая отставка?

— Не отставляю я васъ, другъ вы мой возлюбленный! въ грусти развела руками и сложила ихъ у сердца хорошая пани-воеводша. Я объ этомъ дѣлѣ уже и плакала, и Богу милосердому молилась... Помогай Онъ вамъ на ваше счастіе! А мнѣ здѣсь, сами видите, ничего нельзя. Дочери я приневоливать не стану.

— Что приневоливать, пани-воеводша! Здѣсь нужна добрая, вольная воля.

Оба разговаривающіе замолкли и не смотрѣли другъ на друга. Часы начали бить двѣнадцать. Били они и били...

— Надѣлалъ мнѣ Мокрый, — въ раздумьи, подъ бой ихъ заговорилъ Алексѣй Леонтьевичъ: какъ медвѣдь тому человѣку, что хотѣлъ ему прислужиться со лба муху согнать, да засадилъ камень въ лобъ —что теперь, умѣючи и вынимай его.... Да что же это, Катерина Логвиновна? — не весело и не грустно, а какъ-то шутливо съ грустью сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Людмила-то Павловна раскорила меня въ прахъ, да еще и сердится, глазки свои показать не хочетъ. За что же такъ? Это хоть и пѣсню пашу пой:

Прости жъ мене мила,
Що ты мене била.

— Нѣтъ, Алексѣй Леонтьевичъ, — отозвалась со всѣмъ достоинствомъ пани-воеводша, даже поднялась она.—Мы вамъ этого оскорбленія не подадимъ... Мила! возвысила она голосъ: что ты тамъ? Брось. Полно тебѣ въ дорогу сбираться. Иди къ намъ; скоро обѣдать пора. Двѣнадцать пробило.—Она еще за цвѣтами посылала, добавила Катерина Логвиновна: такъ съ ними возится. Мила! пожалуй ты къ намъ.

Милѣ точно было довольно возни; только не съ цвѣтами, а съ своими, не очень пріятными мыслями. Ей ужасъ было не ловко остаться одной въ комнатѣ и притомъ, какъ въ засадѣ, вмѣстѣ съ рябенькой кошкою. Выхода не было. Надобно было или лѣзть въ окно, или проходить черезъ пріемную комнату. Томилась она. Громкій вначалѣ, оживленный разговоръ Алексѣя Леонтьевича звучно доходилъ къ ней. «Однако онъ вовсе не огорченъ,» сказала она себѣ. «Разумѣется, я, тѣмъ менѣе, огорчаюсь этимъ. Мнѣ какое дѣло: огорченъ ли онъ, или не огорченъ. Зачѣмъ онъ пріѣхалъ!»— Эти и тому подобныя мысли Мила готова была выбросить, какъ крошки, за окно воробьямъ; но тупые носы воробьевъ не клюютъ мыслей. Прямо сказать: ей тяжела была эта вышедшая непріятная исторія съ человѣкомъ, котораго она привыкла такъ часто видѣть и на котораго теперь ей не лояко

было взглянуть послѣ своего рѣзкаго, неосторожнаго отвѣта.

— Эта Даша, право, именно балуется. Куда ни пошли ее, не дождешься два часа.

Мила въ первый разъ рѣшилась замѣтить, что Даша балуется; а Даша совсѣмъ избаловалась. Совершивъ вмѣстѣ съ барышнею курсъ воспитанія въ знатномъ домѣ, смазливенькая какъ горничная, съ выгнутыми бровями, она производила много закулиснаго шуму по Сороковкѣ, завоевывая вниманье панычей и фамильярно предлагая панночкамъ свои неоцѣненные совѣты по части ихъ нарядовъ.

— Ахъ, барышня-съ! явилась она у окошка, совершенно свободно выражая свое удивленіе.—Вы сидите-съ въ заперти, какъ птичка въ клѣткѣ.

— Пожалуста, безъ замѣчаній,—была очень недовольна Мила.—Вотъ это и всѣ цвѣты? спросила она.

Даша, не стѣсняясь, отвѣчала другимъ вопросомъ:

— Ахъ! я не знаю, право, барышня: что вы въ нихъ находите хорошаго-съ? Простые цвѣты.

Мила рѣшилась промолчать, чтобы не вступить съ своей горничною въ споръ о разности вкусовъ.

Та никакъ не унималась.

— Вы сегодня что-то, Людмила Павловна, не въ духѣ-съ? замѣтила она.

— За то ты, Даша, слишкомъ въ духѣ! что это такое? Ты забываешься.

— Вотъ вы и сердитесь, барышня. А я такъ спѣшила къ вамъ-съ. Льстила себя надеждою.... Я все это время говорила о васъ.

— Во всякомъ случаѣ было бы не худо, если бы ты меньше говорила.

— Да я съ кѣмъ говорила, барышня, скажу вамъ. Затолока нагналъ меня въ Лисьей-балкѣ, остановился, спросилъ о старой барынѣ, тутъ мы и о васъ... Онъ, право, вовсе не старый мужчина.

— Поди прочь! даже топнула своей легкой ногою Мила. Принеси мнѣ кружку поставить цвѣты.

Мартышка, какъ объяснилось послѣ, не помнила себя и болтала, что ни попало, взнесенная чуть не до облаковъ тѣмъ, что подарилъ ей рубль серебра Алексѣй Леонтьевичъ.

Милѣ надобно было нѣсколько времени, чтобы успокоиться. Она ходила по комнатѣ. За дверьми тоже говоръ стихъ и слышалось что-то такое на подобіе шептанья листьевъ въ не совсѣмъ тихую погоду. Даша распорядилась такъ, занятая въ кухнѣ разсказами о своемъ похожденіи, что даже не понесла барышнѣ требуемой кружки; а сунула ее съ толчкомъ и приказомъ встрѣчному мальчишкѣ, чтобы отнесъ онъ—что тотъ и исполнилъ съ большимъ ощущеніемъ удовольствія. У окна мальчикъ остановился выслушать, какъ бьютъ часы, и затѣмъ раздался призывающій голосъ пани-воеводши. «Мила! пожалуй ты къ намъ.» Надобно было волею, или неволею, выходить... «Вотъ вздоръ какой! Если это не стѣсняетъ *его* я зачѣмъ буду стѣсняться? Я будто ничего не знаю,» сказала предъ зеркаломъ Мила, поправляя немного свои волосы, и вышла.

Въ ней не было никакихъ такъ, чтобы отдѣльно поразительныхъ частностей, но общность, полная ея особа была чрезвычайно мила. Бѣленькая, какъ нельзя быть бѣлѣе; длинныя рѣсницы, приподнятыя кверху и взглядъ прелестный. Даже Татьяна Николаевна замѣчала, что у Милы умные глазки, и затѣмъ у Милы была такая хорошенькая улыбка! Мила входила въ комнату, неся кружку съ цвѣтами, кажется, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы отстранить цѣлованіе руки, бывшее въ своей силѣ въ Сороковкѣ. Не смотря однако на ободрительное: «какой вздоръ!» ушки у ней слегка зарумянились и она смотрѣла на цвѣты прежде, нежели взглянула впередъ.

— Здравствуйте, Людмила Павловна.

— Здравствуйте, Алексѣй Леонтьевичъ.

— Что это, сколько вы цвѣтовъ несете? На васъ, право,

надобно жалобу подать; только не знаешь: кому? всѣ поля оборвали.

— Не я собственно; мнѣ самой только сейчасъ принесли.... Мой любимый барвинокъ,—сказала Мила немножко лѣниво, закладывая вѣточку темныхъ листьевъ и темносинихъ цвѣтовъ въ свои русые волосы. — Вы были у обѣдни у насъ? Кто еще былъ?

— Вы не были, Людмила Павловна.

— Я это знаю, улыбнулась Мила.

— Не грѣхъ ли вамъ, *молодымъ* такимъ—въ свою очередь улыбался Алексѣй Леонтьевичъ,—лѣниться въ церковь ходить и еще такъ близко? Започивали, Людмила Павловна?

— Да-съ,—что и колокола не могли меня разбудить.

— Нѣтъ, она сегодня рано встала, — сказала пани-воеводша.

— Маменька! я немножко ѣсть хочу, я не завтракала, съ той же лѣнивой граціей обратилась къ матери Мила... Скажите, пожалуйста, вступила она нѣсколько оживленнѣе въ дальнѣйшій разговоръ, задѣтая, какъ видно, удареніемъ Алексѣя Леонтьевича на слово: *молодымъ*,—это все пріятная Сороковка—преимущественно панъ Мокрый, сообщаютъ вамъ такія интересныя свѣдѣнія: что я сплю—что и колокола меня не могутъ разбудить?

— Помилуйте, Людмила Павловна! Про колокола-то вы сказали сами.

— Наконецъ я должна была что-нибудь сказать, когда вы мнѣ въ глаза только что не сказали: что я заспанная.

— А еще я вамъ этакъ, Людмила Павловна, ничего другаго не сказалъ? съ пріостановкою и съ улыбкою спросилъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— Ничего! поспѣшно возразила Мила.... Ахъ, маменька милая! улыбаясь говорила она. Какъ вы добры! самимъ безпокоиться подавать мнѣ,—принимала она отъ матери тарелку, полную воскресныхъ и дорожныхъ пирожковъ.

Съ минуту Мила, нѣсколько улыбаясь, смотрѣла на свои пирожки.

— Вы извините меня, сказала она въ извиненье передъ своимъ гостемъ:—я немножко позавтракаю.

— Кушайте, кушайте, Людмила Павловна. На здоровье вамъ. А мнѣ уже позвольте покурить сигару?

— Извольте.

— Нѣтъ право, сказала Мила (какіе, маменька, вкусные ваши пирожки!) — Я вовсе не такъ поздно встаю, какъ Сороковка предполагаетъ, т. е. не потому, чтобы я хотѣла угодить на Сороковку — я этого никакъ не говорю; но что воробьи не даютъ мнѣ, чуть съ зарею, ни малѣйше заснуть.

— Она бы еще больше ихъ пріучила! сказала пани-воеводша.

— Но вѣдь это ужасно! говорила Мила: надъ окномъ начинается трещанье, щебетанье, воробьи даже въ стекла ко мнѣ бьются.

— Любятъ васъ, Людмила Павловна.

— Прекрасная однако любовь, что не даетъ покоя.

— А вотъ вамъ и покой, Людмила Павловна, когда угодно. Изволите знать пани Швачку? спросилъ Алексѣй Леонтьевичъ. Примѣръ можно получить.

— Какого рода?

— Рода такого, Людмила Павловна:—лукаво смотрѣлъ Затолока—чтобы воробьи васъ не безпокоили.—Пани Швачка, когда ложится послѣ обѣда отдыхать, то посылаетъ мужа, вокругъ дома, куръ и воробьевъ отгонять. И славно дозоромъ ходитъ Петръ Тимоѳеевичъ! «Кишъ! кишъ!» помахиваетъ полами—и уже, Людмила Павловна, ни одинъ воробей не смѣетъ чивикнуть.

— Покорно благодарю,—не смотря проговорила Мила.

Она чувствовала, что ходитъ по очень зыбкому грунту. Два уже раза Алексѣй Леонтьевичъ, ничего не говоря, умѣлъ подвести разговоръ къ неопредѣленному намеку. «Однако

это забавно», кушала Мила, или по крайней мѣрѣ показывала видъ, что она хочетъ кушать свой пирожокъ.

Разговоръ свободно, не стѣсняя никого, замолкъ. Потомъ, мало-по-малу, онъ снова заплелся—не такъ узорно, какъ плетутся кружева, а просто, какъ плетется чулокъ: петля за петлею, и выходитъ незамѣтный рядъ, и пошли ряды и ряды, всѣ ряды похожіе одни на другіе. Хозяйство, весна, сѣнокосы, хлѣбъ—эта благодать Творца... Люблю я эти серьезныя простыя бесѣды въ сосѣдскомъ міру, безъ шума, безъ лишняго хвастовства, гдѣ, какъ перлами, усыпана рѣчь: «Богъ дастъ, какъ Богъ благословитъ; какъ уродитъ Богъ Не порости, а позерни, Господи, какъ Господь милосердый въ руки внесетъ.»

Мила не любила этихъ разсказовъ: они наводили на нее если не сонъ, то постоянную дремоту скуки; но сегодня ей что-то новое дохнуло отъ нихъ. Людмила Павловна усѣлась уютно въ сторонѣ, на большомъ дѣдовскомъ ларцѣ, писанномъ цвѣтами, который парадно былъ выставленъ въ комнатѣ и занималъ мѣсто другаго дивана. Тихо она сидѣла и еще тише улегалась молодая мысль; Мила опустилась на обѣ свои руки головою. Она не видѣла передъ собою разговаривающихъ; но голоса ихъ будто лились на нее. То обдавалъ ее звучный мужской голосъ, подъ полные тоны котораго ниже опускалась ея голова; то опять слегка приподнимала ее мѣрная пѣвучая рѣчь матери. И за этими голосами слышалась такая полная, обдающая васъ тишина маленькаго домика, когда прислуга ушла обѣдать; всѣ случайно проносящіеся перерывомъ звуки имѣютъ силу не пугать, какъ-бы это было вечеромъ; а какъ-то мягко шевелить, раскрывать душу. И въ этомъ маленькомъ обаяніи, сложившемся изъ тишины и переливныхъ звуковъ, ведущаго мирную бесѣду, голоса,—изъ тепло-грѣющаго свѣта полудня и собственнаго лучшаго обаянья молодой души, раскрывающейся принять полное ощущенье земныхъ благъ жизни, сложилась у Милы

какая-то новая мысль, осмысленная, какъ казалось, силою простаго здраваго смысла этихъ долгослышимыхъ рѣчей.

— Однако, что же это? сказалъ наконецъ Алексѣй Леонтьевичъ. Мы заговорились и оставили Людмилу Павловну сидѣть одну. Взгляните на насъ, да скажите намъ что-нибудь, Людмила Павловна! поднялся онъ съ мѣста, чтобы подойти къ ларцу.

— Нѣтъ, пожалуйста! остановила Мила.—Продолжайте вы говорить съ маменькою. Мнѣ было такъ хорошо тихо сидѣть и слушать, и не слушать васъ.

— Благодарствуемъ за вниманіе. Да что хорошаго тихо-то сидѣть? Такъ будто и сдается, что, помилуй Богъ, съ грусти. Уже какъ хотите, Людмила Павловна, а у меня такой непріятный нравъ и самъ знаю: чуть замѣтилъ, что человѣкъ попримолкъ—сидитъ, такъ меня и толкаетъ разговорить его. Такъ что же вы намъ скажете?

— Ничего, право,—съ милой серьезностію улыбнулась Мила.

— Какъ ничего? Во всемъ, Людмила Павловна, ей-ей! самое не хорошее слово: *ничего*. Ну, не хотите говорить и Богъ съ вами! такъ съиграйте намъ что-нибудь, или пропойте канареечкою.

— А! нѣтъ, сдѣлайте милость! даже испугалась Мила, чтобы нестройными, нелѣпыми звуками своего еле-живаго фортепіано нарушить эту славную тишину, которая впервые сказалась ей и будто приголубила ея молодую головку.—Нѣтъ! пожалуйста, избавьте.

— Мила, у тебя голова болитъ? спросила мать

— Нѣтъ. Что вы меня спрашиваете, маменька? Алексѣй Леонтьевичъ говоритъ, будто я грущу; вы думаете, что я больна. Я совсѣмъ здорова.

— А и говорить не хотите, Людмила Павловна.

— Послушайте однако: это же я что дѣлаю?

— Вотъ это-то? Много, сударыня, воды воробью по колѣно!

— Да воробью и не надо больше.

— А кто же этотъ воробей? Я, т. е. старый воробей? спросилъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— Нѣтъ: я, я! поспѣшно возразила Мила.—Я люблю воробьевъ.

— Э-эхъ! Людмила Павловна, нашли что любить!

— Одарья, Наталка! дѣти мои, что вы это тамъ? Накрывайте на столъ,—озаботилась вдругъ пани-воеводша и примолкла за тѣмъ, и всѣ немножко примолкли.

— Вотъ посмотрите, что вы надѣлали,—черезъ минуту вызвалась съ шутливой пенею Мила, глядя и не то чтобы вовсе глядя на своего гостя.—То вы такъ хорошо говорили съ маменькою и мнѣ было хорошо слушать васъ—и зачѣмъ вамъ вздумалось заняться моимъ молчаніемъ? Вотъ мы теперь и всѣ молчимъ, а стѣны насъ прекрасно слушаютъ.

— А мы васъ послушаемъ,—съ предовольной миною отвѣчалъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— Т. е. вы находите, что я разговорилась? Правда. Это я сама вижу. Говорите же теперь вы съ маменькою, а я сяду васъ слушать; — подвинулась дальше на своемъ ларцѣ Мила и, будто уже внимательно слушая, прислонила къ стѣнѣ свою розовую, довольно разогрѣвшуюся щечку.

— Хорошо, Людмила Павловна. Что же мнѣ вамъ такое говорить, что бы вы пріятно слушали? спросилъ, раздумывая, Алексѣй Леонтьевичъ.

— Я ничего особеннаго не прошу у васъ. Говорите, продолжайте разговаривать, какъ вы говорили съ маменькою.

— О чемъ тутъ толковать? сказала пани-воеводша. Безпокойствіе только наводитъ Алексѣю Леонтьевичу. Я уже и забыла, родной мой, куда насъ съ вами наша рѣчь привела.

— Я-то помню, отвѣчалъ Алексѣй Леонтьевичъ. — Привела насъ наша рѣчь къ озимой пшеницѣ пана Мокраго.

— Что же эта пшеница? какъ? спросила Мила, не терявшая надежды завязать разговоръ.

— Ничего, Людмила Павловна. Хорошая озимая пшеница.

— И Мокрый ее насѣялъ?

— Посѣялъ.

Разговоръ какъ оборвался, Алексѣй Леонтьевичъ смотрѣлъ въ окно; пани-воеводша позвала опять Наталью и Одарью, чтобы накрывали на столъ.

— А вѣдь, скажите-ка вы, панъ Мокрый?... сказалъ, раздумывая у окна, Алексѣй Леонтьевичъ.

— Да, сказала Катерина Логвиновна.

— Да, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Не будь у моего батюшки коня-совраска, что боялся всякой кучки земли—вотъ бы вамъ и панъ Мокрый! А славный старикъ отецъ былъ.

— Поймалъ въ мутной водѣ рыбку и самъ выплылъ.

— А! какъ хотите, пани-воеводша, я ничѣмъ не виню! На то щука въ морѣ, чтобъ карась не зѣвалъ.

— Что это такое? спросила Мила.—Какой карась?

—А вы не знаете? Вотъ славно! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— Я никогда о томъ разговора не имѣю. Что такое вспоминать? Богъ съ нимъ, отвѣчала за дочь пани-воеводша.

— Такъ стало вы, Людмила Павловна, ничего и не слыхали, что было между вашимъ дѣдушкою и моимъ батюшкою? продолжалъ спрашивать Затолока.—Э! такъ вамъ же надобно разсказать.

— Алексѣй Леонтьевичъ! извините мое слово: что вамъ охота такая поднимать изъ гроба мертвыхъ?

— Нѣтъ, пожалуйста, маменька! Они не встанутъ,—просила Мила.—Такъ что же вашъ батюшка и мой дѣдушка, Алексѣй Леонтьевичъ? Нынче такъ всѣмъ любопытно слышать про старину.

— И ничего тутъ любопытствующаго нѣту,—даже повела рукою пани-воеводша.—Жили люди лучше насъ и померли, царство имъ небесное!

— То-то и любопытно знать: какъ они жили?

— И скажу вамъ, Людмила Павловна: славно жили по-своему,—входилъ въ колею разсказа Алексѣй Леонтьевичъ.

— Такъ вотъ я вамъ докладываю,—потиралъ онъ руки: вашъ дѣдушка и мой батюшка (на поминъ души ихъ) были хорошіе люди и большіе друзья между собою. Дѣдушка вашъ, Веденей Саввичъ, важный отставной воевода, и теперь я еще иногда во снѣ его вижу: въ желтомъ шелковомъ кунтушѣ, сафьянные сапоги на подборахъ и что ни говоритъ, а усы гладитъ. Ну, и батюшка мой—только что не воевода; а рослый, видный, молодецъ изъ себя, что, право, будто подъ стать имъ люди перевелись теперь на бѣломъ свѣтѣ!—Вотъ-съ, была у вашего дѣдушки крашеная таратайка; а у моего батюшки доморослый конекъ-совраско, — и мой батюшка и вашъ дѣдушка взлюбили этого конька: кажется, потому одному, что его не за что было вовсе любить. Простая толстоногая лошаденка и еще одно ухо, какъ жеребенкомъ совраско былъ, чужая кобыла откусила. Дѣдушка вашъ давалъ за него двухъ лошадей на выборъ, а батюшка просилъ еще одного воеводскаго уса на придачу — дѣло не сошлось. Но куда бы ни ѣхалъ батюшка, или приходилось ѣхать воеводѣ, въ таратайку запрягался совраско, и нужно ли было другому изъ нихъ ѣхать, или не нужно, они оба, и вашъ дѣдушка, и мой батюшка, садились въ таратайку; батюшка брал возжи, и они отправлялись вдвоемъ на совраскѣ. Надобно же вамъ объяснить главную матерію, отъ которой сталось все дѣло.—Какая же мудрость водилась за совраскомъ?—Такъ онъ ничего не боялся; но чуть совраско увидѣлъ кучку земли — кончено! уперся передними и задними ногами, наставилъ одно свое ухо и, хоть что вы хотите, ни съ мѣста! Слѣдовало непремѣнно кому-нибудь встать, подойти къ кучкѣ земли и покопать ее немножко палочкою.—Тогда совраско всхрапнетъ, увидитъ, что здѣсь бояться нечего и отправляется далѣе до новой кучки. Кажется, эта потѣха болѣе всего нравилась покойникамъ. — Разъ были они на пиру еще у старой пани Швачки на томъ концѣ Сороковки,

позасидѣлись тамъ, и уже покойники про то знаютъ: какъ они, съ дороги по низу, да попали на гору въ степь; это, знаете, было подъ осень, что потурои начали по степи свои кучки рыть. Извѣстно, какія у насъ въ степи дороги? Пишутъ старички вавилоны; какъ вдругъ совраско наткнулся на потуройную кучку и сталъ, не трогается. Батюшка зналъ свое дѣло: слѣзъ съ таратайки, покопалъ кучку. Не проѣхали трехъ саженей, опять кучка и съ другой стороны кучка; уже и совсѣмъ ночь; батюшка то и дѣло, что сядетъ да встанетъ; напослѣдокъ уже и садиться пересталъ, покапываетъ по всей степи кучки. — «А можетъ, пане-воевода, и вы бы не много проходку сдѣлали?» замѣтилъ сильно уставшій батюшка. — «А конь на что?» отвѣтилъ воевода. — «Да оно, пане, конь на то, чтобъ хозяинъ пѣшкомъ не шелъ.» — «А что же тебѣ? Воевода пѣшкомъ пойдетъ?» — «Всякъ себѣ воевода своего огорода,» замѣтилъ батюшка.... «И я панъ моей таратайки!»—«И я же панъ своему коню!»—«А что ты будешь дѣлать съ своимъ конемъ? насмѣшливо спросилъ воевода. Покопай ему.»—«*Да мы и покопаемо*,» отвѣчалъ батюшка, уже досада его разобрала. «А что вы будете дѣлать, пане-воевода, съ своей таратайкою?» — «Поѣду на ней.» — «Поѣзжайте, какъ поѣдете, а съ чужаго коня середи грязи долой.» Выпрягъ батюшка своего совраска, сѣлъ верхомъ и уѣхалъ. Остался, Людмила Павловна, — вы извините—вашъ дѣдушка ночевать въ степи въ своей таратайкѣ. Такъ онъ всѣхъ Святыхъ молилъ, чтобы пришли волки и его съѣли—что бы досталось вражьему сыну Затолокѣ! Но, на горе вашему дѣдушкѣ, не съѣли его волки. На утро нашли его невредимымъ, въ таратайкѣ спящимъ. «А что ты думаешь, брате?» пришелъ онъ къ батюшкѣ. «Я тебѣ этого дѣла не подарю. Ты меня осрамилъ на всю Сороковку. Не погнѣвайся, брате, я съ тебя «безчестье» возьму. Да еще какое возьму, пане брате: чтобъ ты у меня въ судѣ, при собраньи, прощенье просилъ. «Ой ли?» поднялись брови у батюшки. «Смачнаго захотѣлось пану-воеводѣ.—

«И дашь, пане брате. Бо скажи: какъ ты не дашь?» спрашивалъ воевода. — «Я не скажу, пане брате, отвѣчалъ батюшка; а *докажу*....» И вашъ дѣдушка и мой батюшка, Людмила Павловна, нимало не сердясь другъ на друга, не измѣняя ни въ чемъ своихъ пріятельскихъ отношеній, завели между собою дѣло.

— Какъ дѣло? удивилась Мила. — Изъ чего же здѣсь заводить дѣло?

— Вотъ легко ли, нашли заботу, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ. Дѣло можно изо всего завести, лишь бы была охота. — Поѣхалъ вашъ дѣдушка въ городъ, и недѣлю слишкомъ тамъ прожилъ, пока ему писали, писали и на цѣлыхъ пяти листахъ написали: «что оный, отъ отца своего ненадежный Затолока, будучи съ нимъ въ пріятельскомъ собесѣдованіи въ гостяхъ, дьяволу вложившу ему такую чертову думку, завезъ его ночью въ степь и тамъ бросилъ, и что кромѣ всякого поруганія и посрамленія, и обиды чиненія тѣмъ паче для воеводскэй чести—и душегубства разныя души христіанской могли изъ онаго воспослѣдовать, яко и усмотрѣть можно: волкамъ нашедшимъ и приключившуся вору, и всякому хотѣнію лихаго человѣка предѣлъ не есть положенъ, а тѣмъ паче ночью...»

Мила любопытно смотрѣла во всѣ глаза, едва схватывая смыслъ этихъ рѣченій.

— Что же это такое? сказала она.—Я не вовсе понимаю. Здѣсь будто выходитъ....

— Гдѣ вамъ, Людмила Павловна, выходить? Тутъ уже совсѣмъ вышло, что моего батюшку едва ли не обвинили въ томъ, что онъ имѣлъ покушеніе на жизнь воеводы.—«А что ты тамъ, пане брате, накрутилъ на меня?» спрашивалъ батюшка. Какъ я теперь могу понимать, говорилъ Затолока, то онъ очень доволенъ былъ тѣмъ, что дѣло пошло такъ широко.

— Но мой дѣдушка! даже немного смутилась Мила... Какъ онъ могъ обвинять....

— Что? Богъ съ вами, Людмила Павловна, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ.—У него и въ помышленіи не было. А бѣсъ ихъ знаетъ, что тѣ судейскіе писаки пишутъ? говорилъ онъ, уже хорошаго ничего не напишутъ! не таково ихъ созданье.—И мой батюшка, и вашъ дѣдушка пріискали себѣ по «писули», какъ они называли своихъ повѣренныхъ, и сказали имъ на-крѣпко: что вотъ *таке дило:* одинъ — чтобъ панъ Затолока попросилъ у него прощенье — непремѣнно. Хочетъ онъ того и ничего больше не хочетъ! а панъ Затолока объявилъ: что пока онъ живъ будетъ, не попроситъ! Такъ онъ и сдѣлалъ: умеръ и не попросилъ,—а чтобы прочее писули дѣлали, какъ знаютъ; то уже ихъ было дѣло.... И повезли писулямъ изъ Вербовки и изо всѣхъ Кутковъ (потому что Кутки когда-то всѣ Затолоковскіе были), повезли муку и пшено, сало и масло съ яйцами; боченками наливки, кадочками меды. Помню—съ улыбкою говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ—покойницѣ матушкѣ не такъ того было жаль, что въ кадочкахъ, какъ самихъ кадочекъ. Было у нашихъ отцовъ, Людмила Павловна, земли довольно—всякія угодья по Сороковкѣ; ваша Лисья-балка была... Какое пасѣчное мѣсто въ лѣсу, надъ Ворсклою, съ лугами по ту сторону было у моего батюшки! Такъ я вамъ говорю, Людмила Павловна: будь оно теперь у меня, я бы васъ силою посадилъ и повезъ посмотрѣть, что̀ тамъ за рай душѣ былъ!... «А уже пасѣчка-то фить-фить-фить!» присвистывалъ вашъ дѣдушка воевода.—«А уже Лисья-балка фу, фу, фу!» отвѣчалъ батюшка. «А что, пане брате, мы давно не знаемъ, что̀ тамъ тѣ писули на насъ понаписали. Поѣдемъ, провѣдаемъ»—и вдвоемъ они садились въ таратайку и отправлялись на совраскѣ. И этакъ они семь лѣтъ ѣздили вмѣстѣ судиться!

— На ту пору Мокрый вышелъ изъ службы, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ,—и привезъ одну ту несчастную тысяченку разгоренныхъ денегъ. Нашимъ, Людмила Павловна, то и пало на̀-руку. Писули, что ни дальше, все больше по-

давай имъ денегъ.... Разъ чуть-чуть было не рѣшилось дѣло, что батюшкѣ прощенье просить. Онъ пошелъ къ Мокрому: «брате, бери пасѣчное мѣсто хоть за даромъ — что хочешь давай, только не погуби моей головы.» Далъ Мокрый одну сотню, какъ теперь знаю, синими бумажками, — дѣло перевернулось. Начались опять справки да выправки. Воевода видитъ, что плохо: дѣло изъ рукъ ушло—онъ къ тому же Мокрому: «Бери Лисью-балку».... А отчего человѣку не брать, когда ему вольной волей даютъ, да онъ еще свои деньги приплачиваетъ? Позабиралъ у насъ Мокрый всѣ наши хорошія мѣста по Сороковкѣ: вишневые сады, конопляники, огороды съ вербами; пообрѣзали наши кругомъ всю свою землю; да это еще батюшка на седьмой годъ въ концѣ умеръ....

— И царство ему небесное! повершила пани-воеводша, которую видимо томили эти тяжелыя былины прошлаго. Она все время молчала. — Алексѣй Леонтьевичъ! борщъ на столѣ простынетъ... Такъ, чтобы не вспоминать уже, выкушайте водочки, да и Богъ съ нимъ, что было!

— Такъ вотъ что! сказала, не много подумавши, Мила... Однако я еще пользуюсь Лисьей-балкою. Я тамъ барвинокъ рву. — Дитя дѣтское и разсуждаетъ, махнула рукою пани-воеводша. Пожалуйте, гость мой дорогой! попользуемся обѣдомъ, какой намъ Богъ послалъ.

Удивительно, какъ иногда простота можетъ замѣнить самое утонченное искусство—простота силы простаго, вѣрнаго ума. На что было щекотливѣе положенія Алексѣя Леонтьевича? Отверженный женихъ и еще такъ рѣзко, безпощадно отверженный: «такой старый!» сказали ему. И самый искусно умѣющій изворотиться человѣкъ, ловкій на слова и довольно ловкаго ума, обдержаннаго привычкой общества, поотступился бы чрезъ три дня послѣ отказа явиться въ домъ и быть тамъ тѣмъ же, чѣмъ и былъ прежде: разго-

ворчивымъ, дѣльнымъ и вмѣстѣ веселымъ, занимательнымъ собесѣдникомъ. Алексѣй Леонтьевичъ чрезвычайно выигралъ во мнѣніи Милы.

Безпокойство ея тотчасъ стихло, когда она только взглянула на довольную и еще какъ бы немножко самодовольную улыбку Алексѣя Леонтьевича. Она перестала упрекать себя въ чемъ бы то ни было и рада была его вольной, не пріостановленной извѣстнымъ случаемъ, развязной говорливости, которая давала ей полную свободу тоже быть вовсе не стѣсненной. Но за первыми мыслями очень часто слѣдуютъ вторыя и бываютъ довольно противоположны первымъ.

Не въ первый, а можетъ быть, въ сто первый разъ слушала Людмила Павловна разсказы и разговоры Алексѣя Леонтьевича. Особеннаго ума въ нихъ не было; но теперь положеніе свободнаго разскащика заставляло повнимательнѣе вслушиваться въ его слова. Въ нихъ являлась занимательность отъ совершенно посторонняго случая — особенно отъ этой маленькой улыбки, съ которою господинъ какъ будто находилъ удовольствіе намекать на свое печальное отверженіе. Это придавало оригинальную физіономію его рѣчамъ, выраженье его глазамъ; возбуждало нѣкотораго рода любопытство; а извѣстно, что̀ такое маленькое любопытство въ женщинѣ? Мила немножко заинтересовалась Алексѣемъ Леонтьевичемъ по совершенно женской причинѣ: потому, что онъ казался не довольно заинтересованъ ея отказомъ.

Обѣдъ прошелъ чрезвычайно занимательно, обвѣянный веселой свѣжестью разсказа Алексѣя Леонтьевича о памятной проказѣ его дѣтства. Это было въ связи съ тою пасѣкою, которой лишилъ его батюшкинъ любимый конекъ-совраско. И какъ былъ отъ сердца милъ, и задушевно веселъ Алексѣй Леонтьевичъ, размашисто, жестами рисуя старые дубы, пни—повалившіяся по лѣсу колоды, густую лозу у прибрежья, и эту ступу, которую онъ поджегъ, выдолбленную посреди пасѣки въ вѣковомъ пнѣ... Этотъ отблескъ

дѣтской свѣжести, радости, дѣтскаго горя на волосахъ мелькающихъ сѣдиною—какая неувядаемая поэзія человѣческой души!

Алексѣй Леонтьевичъ превосходно разсказывалъ; да и было же что разсказать: въ глуши надъ Ворсклою, на мѣстѣ нѣсколько возвышенномъ, ниже запушенномъ лозами, въ прорѣженныхъ дубовыхъ кустахъ—словомъ: въ томъ затаенномъ прилѣсьи, которое въ малороссійскихъ пѣсняхъ зовется «темными лугами по-надъ берегами», стояла ихъ пасѣка. И дѣдъ сидѣлъ на пасѣкѣ, и дубъ когда-то стоялъ посреди пасѣки; отъ него остался мохнатый пнище, выдолбленный и выжженный внутри ступою, и къ ступѣ, на желѣзной цѣпи, прикованъ былъ толкачъ. Какъ и сказать, что толклось и растиралось въ этой ступѣ? — Порохъ. — Отецъ Алексѣя Леонтьевича былъ большой охотникъ, много стрѣлялъ и, для своего обихода, самъ мастерилъ себѣ на пасѣкѣ порохъ; дѣдъ пасѣчникъ помогалъ ему; сынъ, десятилѣтній мальчикъ, здѣсь же все зналъ и видѣлъ. Разъ въ сѣнокосную пору отецъ былъ по ту сторону на лугахъ съ гребцами. Дологъ, жарокъ Іюньскій день! птица не очнется, не отзовется по залѣсью. Сынишка—проказникъ бѣгать — набѣгался и спать—выспался, и даже ѣсть—всего наѣлся. Два раза былъ у отца, переплывалъ вплавь и на лодкѣ рѣку; одинъ разъ подкрался, чуть было не схватилъ за хвостъ дикаго селезня и опять воротился на пасѣку — нечего дѣлать. Вотъ уже стало немного вечерѣть; шелохнулись по камышамъ утки и дѣдъ выползъ изъ куреня къ своему огнищу. Нечего ребенку дѣлать. Передъ нимъ ступа и прикованный къ ступѣ толкачъ — и дѣдъ вѣдь смѣшной: поставь его на ноги,—онъ семь верстъ до Сороковки, не присадясь, пройдетъ; а чуть сѣлъ, не поднимется съ ровнаго мѣста.... «Дай, я подожгу ступу: посмотрю, какъ дѣдъ станетъ подниматься.» И мальчикъ, обрадованный тѣмъ, что нашлось ему дѣло, забѣжалъ по за кустами, схватилъ пылающую головню такъ, что дѣдъ не примѣтилъ, и пустилъ ее швыркомъ въ

ступу; а самъ однимъ махомъ очутился въ дальнихъ лозахъ и присѣлъ. Посыпались искры, упала головня въ середину ступы—какъ загудетъ что-то по лѣсу, какъ сорвется съ желѣзной цѣпи толкачъ и ну! невидимой силой колотить по одному улью, по другому! и девять ульевъ въ рядъ положилъ — и какъ зашевелится земля вмѣстѣ съ жужжаньемъ пчелъ, какъ рванется ступа съ кореньями вонъ... всполохнулась вся птица изъ лозъ и камышей. Трескъ и громъ, и ступа жжи-и! И какъ вѣдьма полетѣла по воздуху. Вокругъ листъ осыпался на деревьяхъ... Бѣдный дѣдъ, въ первую минуту совсѣмъ ошеломленный, метался ползкомъ туда и сюда, стараясь подняться на ноги, попалъ въ свою яму съ огнищемъ, едва не спекся; на четверенькахъ доползъ до перваго дерева, обхватилъ его обѣими руками и здѣсь уже вскочивши на ноги, пустился дѣдъ бѣжать прытче молодаго. Но шалуну изо всей ожидаемой потѣхи недосталось ровно ничего: онъ самъ, на половину живъ, на половину мертвъ, забился въ кусты и ночевалъ тамъ. Отецъ на сѣнокосѣ, по первому треску и грому, объявилъ: «Глядите? Это не что больше, какъ мой Алексѣй ступу поджегъ.» И вызывалъ онъ сына изъ кустовъ ласкою и грозою, обѣщалъ ему и ступу простить. «Да выходи! гдѣ ты у бѣсова сына запрятался, Алексіе? тебя волкъ съѣстъ.» Но Алексіе не явился. И только на другой день къ вечеру, когда отецъ, выманивая его всѣми способами изъ засады, сказалъ громко: «Вотъ спасибо, дѣдъ, нашей любой пани; прислала намъ пироговъ съ макомъ на ужинъ....» Тогда Алексіе выставилъ изъ кустовъ голову...

— Довольно, улыбаясь, слегка похлопывала Мила въ ладони.—Вы остановите здѣсь, Алексѣй Леонтьевичъ, вашъ разсказъ: какъ вы выставились изъ кустовъ за пирогомъ съ макомъ. Это превосходно.

— Да нѣтъ, не довольно. Зачѣмъ же я остановлю разсказъ? Я еще буду продолжать.

— Пожалуйста....

— Да чего вы боитесь?... Э,-тэ-тэ! Людмила Павловна! Вы думаете то.... а! т. е. того—что лозы-то кругомъ росли? Нѣтъ-съ, докладываю вамъ: извините-съ! не было того, увѣрялъ Алексѣй Леонтьевичъ. А батюшка просто легонько потянулъ меня за ухо и сказалъ: «удалой хлопецъ! уже научился изъ пушки стрѣлять. А счастливъ ты, сыну, что не попался мнѣ вчера... Да тебѣ за сегодняшнее надобно еще лучшаго лозана дать!» напустился вдругъ на меня батюшка— я не понималъ за что? сказывалъ Затолока. «Поганецъ ты! дурень, не хлопецъ! Какъ назвали тебѣ пирогъ съ макомъ, такъ ты и вылѣзъ; а не могъ ты самъ съ собою разсудить: развѣ сегодня постный день, чтобы тебѣ мать пироги съ макомъ пекла? Ты бы еще отцу сказалъ: «подожди, тату, до пятницы; не засмагуй усовъ,» или какъ-нибудь по другому; а то—глядите видѣли дурня и лѣзетъ изъ кустовъ!... Эй, Алексіе! смотри: за ступу простилъ, а уже за пирогъ съ макомъ дважды не прощу.»

Такъ прошелъ обѣдъ. Вставая изъ-за стола, пани-воеводша, съ обычными извиненіями, чтобы не погнѣвались на ея простую хлѣбъ-соль, предложила гостю:

— А что же, Алексѣй Леонтьевичъ! какъ вы положите? По Сороковскому чину вѣдь оно такъ: послѣ обѣда отдыхъ принять слѣдуетъ. А тамъ вы встанете, опочивши немного, и кофей у меня будетъ готовъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, пани-воеводша! просилъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Пусть я лучше не приму отдыха. А мы, позвольте, распорядимся такъ: можетъ, вамъ и отдохнуть угодно; нахлопотались вы по хозяйству съ зари и всякое дѣло и распоряженіе есть; вы же уѣзжаете—надолго уѣзжаете, пани-воеводша?

— Такъ, Богъ его знаетъ, какъ выпадетъ; а недѣли на полторы будетъ.

— Вотъ видите. А кто только домомъ не живалъ, тотъ не знаетъ, сколько въ немъ дѣла. Пожалуйста, чтобъ я не былъ вамъ помѣхою. Извольте идти себѣ: отдыхайте, распо-

ряжайтесь, кончайте всѣ дѣла до одного и тогда, какъ покончите, пожалуете и на отъѣздѣ побесѣдуемъ, и кофей свой оставьте, право. Мы лучше послѣ, по старинному, какъ отцы наши любили, подъ яблонью чаю напьемся—вотъ это такъ.

— Оно-то и все такъ, Алексѣй Леонтьевичъ, коли вы хотите; да какъ же я васъ оставлю одного?

— Вотъ маленькій-то ребенокъ, съ печки убьется!... Да и не одного же меня: вотъ у васъ Людмила Павловна, молодая хозяйка, есть.... Можетъ и у Людмилы Павловны тоже свои дѣла есть? И прекрасно. Всякой дѣлай свое дѣло, и я себѣ найду дѣло. Пойду посмотрю лошадей и своихъ, и вашихъ.

— Посмотрите, сдѣлайте одолженіе.... Вотъ такъ мы и разойдемся? нерѣшительно сказала хозяйка.

— И разойдемся, пани-воеводша; я только картузъ возьму... И вы, Людмила Павловна, за свои дѣла?

— О! у меня большія дѣла, произнесла Мила, обрывая вѣточку своего полузавядшаго барвинка.

— Я думаю, подсказала, уходя, пани-воеводша.

— А вы, что же не идете за своимъ дѣломъ?

— Да я уже, Людмила Павловна, картузъ взялъ.

— А теперь берете сигару? Это, однако, выйдетъ маленькое замедленіе.

— Э! да какія же вы прилежныя, Богъ съ вами, Людмила Павловна! И одной минуты не хотите дать человѣку прогулять.

— Это же вы распредѣлили такъ: всякой дѣлай свое дѣло.

— Ну-те; а вы же какое будете дѣлать?

— Свое.

— Э! да еще какое славное могло бы быть за вами дѣло... Иду, Людмила Павловна.

— Однако Алексѣй Леонтьевичъ! смотрѣла въ слѣдъ ему, забавно улыбаясь, Мила.

Она осталась одна въ тишинѣ ненарушаемой своего маленькаго домика. Въ окно видно было, какъ на дворѣ суети-

лась мать, переходила изъ кладовой въ амбаръ и въ ледникъ; за нею носили мѣшки и разныя кадочки... Мила ходила по комнатѣ, нося за собою маленькое недовольство: что ей нечего было дѣлать. Подошла она къ фортепіану. Людмила Павловна играла очень хорошо; но фортепіано—не настроенное съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ оно поступило въ Сороковку, съ разбитымъ басомъ и недостающими струнами, съ какимъ-то старческимъ дребезжаньемъ по клавишамъ вмѣсто звуковъ... на первомъ аккордѣ стала наша музыкантша и задумалась, сидя за своимъ инструментомъ. Есть очень нелегкія думы, которыя выражаются легонькой улыбкой.... Почти полчаса сидѣла за фортепіономъ Мила, не принимая рукъ съ пожелтѣвшихъ, изъѣвшихся клавишей – тихая, милая. Какою мыслію горѣли ея опущенные глазки, прикрывшіеся длинными рѣсницами? По-крайней мѣрѣ эта мысль пробуждена была тѣмъ самымъ ощущеньемъ, на которое я указывала: «Когда въ тихую комнату, слышишь, идетъ — входитъ человѣкъ; прислушиваешься, какъ онъ ступаетъ....»

— Дѣло идетъ! сказала Мила, не перемѣняя своего положенія, но съ освѣжившейся улыбкою вслушиваясь въ отголосокъ свободной, несдерживаемой походки смѣло входящаго Алексѣя Леонтьевича.

— А! вотъ вы и за вашимъ дѣломъ, Людмила Павловна.

— Ошибаетесь: только *передъ* дѣломъ. Это большая разница.

— Какая разница?

— Довольно ощутительная: сидѣть за фортепіано и играть на фортепіано.

— Развѣ вы все это время не играли?

— Сидѣла, сказала Мила.

— Только?

— Какъ видите, не больше.

— Фить, фить!—комически просвисталъ Алексѣй Леонтьевичъ.—И теперь не съиграете, когда васъ попросятъ.

— Не съиграю.

— Что такъ?

— Такъ.

— Такъ, чтобъ я и не слыхалъ, какъ вы поете и играете!

— Именно такъ.... Посмотрите, пожалуйста—ну, послушайте! въ нетерпѣньи ударила рукою по клавишамъ Мила. —Можно ли играть на такомъ разбитомъ, изувѣченномъ скелетѣ? Это все равно, что калѣку недвижимаго заставлять плясать.... Съ вашего согласія, Алексѣй Леонтьевичъ, — за то, что я сегодня въ другой разъ грубо отказываю вамъ — позвольте мнѣ не только не играть, но даже не сидѣть за фортепіано.

Мила встала и пересѣла на диванчикъ.

— Что же вы стоите? Садитесь, прошу васъ.

— Гдѣ прикажете, Людмила Павловна?

— Вотъ вопросъ! Гдѣ вамъ угодно.... только, если вы рѣшились просить моего указанія, сказала Мила, пожалуйста не тамъ, Алексѣй Леонтьевичъ — не подъ канарейкою. Во первыхъ: она осыпитъ васъ своимъ сѣменемъ и обрызжетъ водою; а потомъ — право, это такъ невольно напоминаетъ Якова Ивановича Триля и какъ онъ поетъ:

Канареечка любезна,
Утѣшай хоть ты меня,—

пропѣла немного Мила.

— Прекрасно!—и еще бы что говорилъ, да смѣялся Алексѣй Леонтьевичъ. — Такъ, если не садиться подъ канареечкою, позвольте мнѣ уже здѣсь сѣсть возлѣ столика, напротивъ васъ.—Первое то куда ни шло, продолжалъ Алексѣй Леонтьевичъ, усѣвшись, гдѣ онъ говорилъ; — пусть брызжетъ водой канарейка, не замочитъ; а второе, Людмила Павловна—что же? вѣдь и мнѣ, какъ пану Трилю, приходится запѣвать:

Канареечка любезна,
Утѣшай хоть ты меня.

— Никогда! сказала Мила, немножко краснѣя, но живо, съ прекраснымъ, открытымъ взглядомъ открыто выражаемой

мысли.— Вы слишкомъ умны, Алексѣй Леонтьевичъ, и всегда найдете, чѣмъ утѣшить себя гораздо бо̀льшимъ канареечки.

— Положимъ и такъ, Людмила Павловна, что я уменъ, да развѣ умъ во всемъ утѣха?

— Во всемъ, Алексѣй Леонтьевичъ, во многомъ; по крайней мѣрѣ, какая же утѣха можетъ быть безъ ума?

— Гм! хорошо-съ, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.... Т. е., продолжалъ онъ, подумавши: я говорю, Людмила Павловна: этотъ столъ липовый? А вы мнѣ отвѣчаете: какая же комната будетъ безъ стола?

— И вы напрасно меня спрашиваете, почтеннѣйшій Алексѣй Леонтьевичъ: липовый ли онъ, или другой какой? Я, право, ничего не знаю.... И сдерживала свою улыбку, и никакъ не могла сдержать ее, разсмѣялась Мила.

— Смѣйтесь же, смѣйтесь, Людмила Павловна, повеселѣе. Я подожду, пока вы пересмѣетесь. Что-то бы сказать вамъ надобно, чтобы случая какого не вышло.

— Что такое?

— Вотъ уже у васъ и смѣха не стало! Какъ это все живо, посмотришь: и разсмѣются, и не смѣются.

— Да что такое, Алексѣй Леонтьевичъ?

— Вамъ очень нужно туда ѣхать, куда вы ѣдете?

— Очень. А вамъ на что?

— Пошли вопросы!... На то, чтобы узнать, можно ли вамъ отложить поѣздку?

— Нельзя.

— А какъ надобно будетъ отложить?

— Вовсе не надобно. Мы завтра ѣдемъ.

— Хорошо, Людмила Павловна. А какъ вы будете ѣхать, ѣхать, да и дорога вся, т. е. дорога-то и будетъ передъ вами, да вамъ не на чемъ будетъ ѣхать по дорогѣ?

— Почему?

— А вотъ-съ потому... Слыхали вы про такую штучку: гайка?

— Гайка? сказала Мила.—Это что-то тамъ, маленькое, у колеса?

— Оно маленькое, да стоитъ большаго.

— Ну-те, Алексѣй Леонтьевичъ: пока я еще, ни большаго, ни маленькаго, ничего не вижу. Въ чемъ дѣло?

— А въ чемъ-съ дѣло? Какъ ходилъ я смотрѣть своихъ и вашихъ лошадей, и бричка ваша выдвинута изъ сарая, въ которой вы поѣдете, я и ее осмотрѣлъ.... Ненадежна. Вѣдь вамъ верстъ восемьдесять ѣхать? И всѣ гайки посвертѣлись, никуда; а одна на заднемъ колесѣ просто потому только и держится, что тамъ грязи да мази подъ нее набилось; а очистится, разогрѣется мазь въ дорогѣ, бѣда!

— Пожалуйста, не пророчьте. Какая же бѣда?

— Такая: что гайка спадетъ и колесо спадетъ.

— А Еремей гайку подниметъ, колесо надѣнетъ, мы и поѣдемъ.

— Вы шутите, Людмила Павловна; а съ этимъ въ дорогѣ шутить неловко. А какъ бричка и сами вы попадаете? Все Еремей будетъ поднимать? А лошади дрогнутъ да понесутъ?

— Наши? съ маленькимъ юмористическимъ изумленіемъ спросила Мила. На этотъ счетъ я совершенно покойна.

— Да что вы покойны! Говорятъ люди: на дорогѣ найдешь мертвую лошадиную голову и той не довѣряй! Не зануздавши, не ѣзди.

— На мертвой головѣ?

— Вотъ то-то и есть! А не то, чтобъ довѣрять живой тройкѣ.

— Да вѣдь это *наша* тройка, Алексѣй Леонтьевичъ. Вы судите по своей.

Эхъ! Да не говорите же мнѣ, Людмила Павловна!

— Только, вы пожалуйста, не говорите этого маменькѣ, сказала Мила.—Поѣхать мы все-таки поѣдемъ, не посмотримъ на пустую гайку. Намъ откладывать никакъ нельзя. Черезъ два дня Лена именинница,—да маменька меня за руку поведетъ, если бы я сама не захотѣла идти. Вы только этимъ

прибавите суеты и безпокойствъ, поднимете совершенно напрасную тревогу.... Я прошу васъ, Алексѣй Леонтьевичъ.

Вздвигнулъ плечами Алексѣй Леонтьевичъ.

— Что вы такъ удивляетесь, право? убѣждала Мила. —Вѣдь мы сколько времени ѣздимъ въ этой бричкѣ и въ прошломъ году ѣздили.

— Да, Людмила Павловна! Вѣдь и человѣкъ живетъ, живетъ, пока умретъ. Вы вспомните, сколько она на своемъ вѣку ѣздитъ? Пора ей вовсе перестать ѣздить.

— Ахъ, Алексѣй Леонтьевичъ! Пусть еще разъ съѣздитъ.

— Ну-те, Людмила Павловна, напрашиваетесь вы сами на бѣду.

— Да нѣтъ... Разсудите вы и такъ: все равно въ Сороковкѣ некому починить брички; а тамъ кузнецы и слесаря намъ въ одинъ мигъ ее исправятъ.... Видите,—доказательно улыбалась Мила,—для самой брички намъ необходимо ѣхать и повѣрьте, что, ради собственной пользы, она преисправно довезетъ насъ.

— Довезетъ! довезетъ! съ сомнительнымъ подтвержденьемъ кивалъ головою Алексѣй Леонтьевичъ.

— Да, наконецъ, если бы и не довезла? Что это, въ самомъ дѣлѣ? Поѣдешь и пріѣдешь, и больше ничего?

— А какъ, Людмила Павловна? Такъ вы хотѣли бы поѣхать и не пріѣхать?

— А это васъ чрезвычайно удивляетъ? Да. Отчего не испытать чего нибудь? И сего-дня живешь такъ, и завтра такъ, — это наскучитъ жить. Надобно, чтобы подтолкнуло что-нибудь. А со мной еще въ жизни никакого происшествія не было, ни самаго маленькаго.

— И дай Господи, чтобы во вѣкъ его не было!

— Прекрасно однако же.... Я не говорю за вами вашей молитвы. Развѣ съ вами самими не было никакихъ приключеній въ жизни?

— Избавилъ Богъ. Никакихъ, слава Богу, отвѣчалъ Алексѣй Леонтьевичъ крестясь.

— Какъ можно? говорила Мила.—Вы столько ѣздили по разнымъ дорогамъ, на Дону были и по Черноморью, и что бы съ вами никогда ничего не случилось? Это невѣроятно.

— Да что же у насъ-то, Людмила Павловна, въ Россіи, можетъ случиться? Ничего такого. Разбойниковъ въ помин нѣтъ. Воришка развѣ стянетъ что, или метель замететъ, вотъ только и всѣ происшествія. Правда.... Разъ будто и хотѣло что случиться.... Да отошло, благодарить Бога, ничего не было.

— Что же это такое, что хотѣло съ вами случиться? Вамъ можно разсказать, Алексѣй Леонтьевичъ? съ легонькимъ движеньемъ головою спросила Мила.

— Оно можно-съ, отчего нельзя? Да любопытнаго ничего нѣту.... т. е. для меня-то оно и очень любопытно; что это первая моя, какъ есть, поѣздка была, попытка по торговому дѣлу... Помолодить вы меня хотите, Людмила Павловна, этимъ разсказомъ....

— Истинное диво какое! сказалъ онъ, подумавши. Вспомянется, какъ будто все и недавно было; а какъ перечтешь года—Господи, Твоя воля! Сколько жизни утекло ... Что жъ? говорить вамъ, что ли, Людмила Павловна?

— Если только это не наведетъ васъ на какія нибудь тяжелыя воспоминанія, Алексѣй Леонтьевичъ, съ добротою тихаго участія сказала Мила.—Въ послѣднемъ случаѣ будь вашъ разсказъ занимателенъ, какъ лучшая книга, не говорите мнѣ его.

— И, Людмила Павловна! Черезъ пятнадцать, шестнадцать лѣтъ, какимъ быть слишкомъ тяжелымъ воспоминаніямъ? Все перемелется, мука будетъ...

— Въ ту пору, правда, было то время тяжелое для меня. Схоронилъ я свою матушку,—спитъ, родная, у церкви.... Съ нею я будто еще и богатъ былъ; а какъ воротился съ похоронъ, сѣлъ одинъ въ углу, да взглянулъ вокругъ: пусто! такой я себѣ показался горюнъ, бѣдная моя доля, несчастливая! Панскія мои горенки, смотрю, покосилися: оглядѣл-

ся, такъ у меня земли и на квасъ нѣтъ. Живи тутъ, какъ поживется, какъ молодой головѣ надумается! А молода моя голова была, Людмила Павловна; сидѣлъ на мнѣ не плохо офицерскій мундиръ.... Надумалъ я такъ: голова и руки есть, не пропадать же человѣку даромъ. И началъ я ко всему присматриваться и прислушиваться: какъ люди живутъ и чѣмъ промышляютъ? Гдѣ на ярмаркѣ два купца толкуютъ, а уже третій я слушаю тамъ. Скоро свелъ меня Богъ съ истинно хорошимъ человѣкомъ, теперь моимъ большимъ пріятелемъ, купцомъ Матѳеемъ Ивановымъ Скорняковымъ. Вы бы на него, Людмила Павловна, и не взглянули; а человѣкъ, что за душа дорогая! Вели ему Богъ на свѣтѣ пожить. Началъ онъ мнѣ совѣты давать, ободрять.... «Что жъ? что съ ничего приходится начинать? абы воля Божья, и большимъ чѣмъ доведется кончить! что вотъ такъ и отецъ его: купилъ шапку да продалъ, съ того и торговать пошелъ....» Такъ-то вотъ я, Людмила Павловна, чужимъ умомъ наставляемый и своимъ не плошая, началъ изворачиваться: чтобы мнѣ какую ни на есть себѣ маленькую копѣйку сбить, чтобы было чѣмъ взяться, прислонить руки къ чему. Отъ похоронъ матушки остался у меня цѣлковый рубль, да два старыхъ пятака, вся казна моя. На этотъ рубль купилъ я по Сороковкѣ четвертей семь овса, и къ тому купилъ, что была у меня офицерская тройка лошадей. Вотъ я и началъ ее откармливать. Выхолилъ, вычистилъ, вывелъ ее на ярмарку; моя тройка играетъ, какъ солнышко,—продалъ! Здѣсь же себѣ другую тройку купилъ и, не сводя съ ярмарки, съ барышами продалъ. Лошадь свою верховую продалъ, перекупилъ ее и опять, сердечную, продалъ. Часы свои, серебрецо, какое мнѣ досталося, Процѣнкамъ заложилъ и перекрестился я: слава тебѣ, Господи! на тысячу рублей ассигнаціями собралось у меня денегъ, что можно и счастья попытать. Вотъ эту послѣднюю ночь на выѣздъ не спится мнѣ, Людмила Павловна, и лѣтняя ночь, да никакъ ее не скоротаю; думы меня разбираютъ. Всталъ я

куда до зари, помолился въ родномъ углу... «Эхъ, тысяча моя, тысяча!» думаю. «Тутъ все, что есть моего. Только самого себя не продалъ, да Процѣнку душу не заложилъ. Оборвусь, и не за что разу зацѣпиться... Э! подумалъ: воля Божья! Что будетъ, то будетъ. Уже утопиться не утоплюсь.... Запрягай, ѣдемъ.» Выѣхали мы, еще и свѣтъ не начиналъ брезжиться; минуемъ церковь, вздумалось мнѣ: пусть-ка отецъ Стефанъ проснется, панихидку мнѣ на могилѣ матушки отслужитъ. Въ самомъ дѣлѣ! Приниматься за такое важное дѣло, что т. е. жизнь твоя въ томъ, и не помянуть родителей! Ровняемся мы съ домосѣдствомъ отца Стефана (уже онъ тогда вдовъ былъ), соскочилъ я, чтобъ постучать въ окно; а у него окно и на дорогу совсѣмъ отворено, и только ряской его занавѣшано. На сколько я могъ, пролѣзъ къ нему въ окно—«вставайте, отецъ Стефанъ!» бужу его, «панихидку служить.» «А требникъ гдѣ?» не разобравши, спрашиваетъ онъ меня. «Да то вашъ пономарь долженъ знать,» говорю, «а я Затолока.» Всталъ онъ, спасибо ему; требникъ мы нашли; а пономарь куда-то запропастился, не нашли его. «Да что? Я вамъ самъ сослужу за пономаря и прочитаю не хуже его,» говорю я отцу Стефану. «Пойдемте.» Пришли мы въ ограду; отворили церковь; достали, что было нужно; затеплили свѣчку, я раздулъ угольевъ въ кадило; а ночь, Людмила Павловна, тихая ночь! что свѣча прямо на могилѣ, поверхъ креста прилѣплена, горитъ. Т. е., какъ вамъ сказать: я будто до тѣхъ поръ въ первый-то разъ и въ послѣдній на своемъ вѣку слышалъ, какъ служится панихида.... Умилился отецъ Стефанъ. Сначала старикъ, какъ по привычкѣ, началъ было скоренько читать; но потомъ все тише и тише, будто самъ онъ вслушивался въ свое каждое слово, и скажу вамъ, что и ночь вокругъ насъ, и небо—кажется, и всѣ святые съ неба слушали насъ! Потекли у старика слезы на требникъ; я тоже въ слезахъ стою; начали мы пѣть *вѣчную память*; а соловей съ нами поетъ, поетъ да такъ сладко переливается, что у насъ своихъ голосовъ не стало... И слова мы не сказали

другъ съ другомъ; обнялись крѣпко на могилѣ, да такъ и разстались молча.

И замолчалъ Алексѣй Леонтьевичъ, и Мила тоже ни слова не говорила; канареечка одна посреди тишины тихонько высвистывала.

— Вотъ такъ я вамъ, Людмила Павловна,—не смотрѣлъ, кому говорилъ онъ,—вызвался говорить одно, а насказалъ совсѣмъ другаго. Чаятельно, васъ въ скуку ввелъ, простите великодушно. Я уже ничего больше говорить не буду.

— Алексѣй Леонтьевичъ! отозвалась Мила,—а если я вамъ скажу: нѣтъ! вы не ввели меня въ скуку и вы сами взглянете и увидите, что это такъ—вы станете мнѣ продолжать? Скажите мнѣ.

— Ахъ, Людмила Павловна! голосокъ вашъ сладко какъ тотъ соловей поетъ... Что вамъ угодно: начинать ли, продолжать ли? Я бы передъ вами всю свою душу открылъ.

— Какъ жарко!.. Позвольте, пожалуйста, я принесу холодной воды для себя и для васъ. Я васъ поподчую варенъемъ.... Ускользнула Мила.

— Вотъ тутъ-то лови такое легкое! указалъ ей въ слѣдъ рукою и махнулъ Алексѣй Леонтьевичъ.

Мила воротилась, неся собственноручно на подносѣ ледъ, воду и банку съ варенъемъ.

— Приглашаю васъ, сказала она.—Чѣмъ вы безцеремоннѣе, достаточнѣе, будете кушать, тѣмъ болѣе я увижу, что вы цѣните мое угощеніе.

— Хорошо, Людмила Павловна. А какъ я, подаваясь на ваши слова, да цѣлую банку съѣмъ?

— Только оставьте мнѣ въ стаканъ немножко, разсмѣялась своей хорошенькой улыбкою Мила.—Ничего, кушайте. Это будетъ мое вознагражденіе вамъ за ваши разсказы.

Я не берусь отрицательно утверждать, чтобы здѣсь вовсе не было маленькаго кокетства: чтобы цвѣтокъ не пахъ, пѣвчая птичка не пѣла и хорошенькая дѣвушка не желала нравиться, за неимѣніемъ кого другаго, хотя бы тому самому,

кому она вовсе не хотѣла нравиться. Къ тому же у Милы этотъ процессъ жизненнаго отправленья женщины совершался такъ просто, легко, безъ малѣйшей натяжки, и если она теперь немножко кокетничала, то кокетничала передъ былымъ Алексѣемъ Леонтьевичемъ, а не настоящимъ, кромѣ, разумѣется, невольнаго легонькаго отсвѣта, который всегда былое наводитъ на наше настоящее.

— А, что же, Алексѣй Леонтьевичъ? Насъ, кажется, разбойники ждутъ? облокотилась она на столъ и съ улыбкою, понемногу припивала изъ своего стакана воду съ вареньемъ такъ, что капли малиновой влаги оставались на ея свѣженькихъ губкахъ.

Разсказъ начался простой и именно интересный въ живомъ словѣ мелкимъ перечнемъ всѣхъ обстоятельствъ какъ со своей горемычной тысячью въ карманѣ затерялся одинъ въ степи Алексѣй Леонтьевичъ. Увидѣлъ землянку и подъѣхалъ, чтобы пойти узнать, нѣтъ ли тамъ кого? поспросить дорогу. Когда онъ ставилъ лошадь, его будто толкнуло что бросить бумажникъ съ завѣтной тысячью въ бурьянъ и травою прикрыть его. Вошелъ Алексѣй Леонтьевичъ въ землянку, а тамъ болѣе полдюжины молодцовъ на печи и по лавкамъ сидятъ, и говорятъ ему, что они всѣ Вѣтры и отецъ ихъ Вѣтеръ; а старая матерь—Степь. Будь съ Алексѣемъ Леонтьевичемъ въ карманѣ его тысяча, онъ, если бы и вышелъ живой изъ землянки, то уже завѣтной своей тысячи не вынесъ бы онъ! Но панихидка на могилѣ матери, вѣрилъ Алексѣй Леонтьевичъ, что это она спасла его. Оставя свои деньги на дворѣ, онъ беззаботно, съ отвагой, пустился въ раздобары съ молодцами, умѣлъ очевидно показать имъ, что у него въ кошелькѣ всей казны только два полтинника, которыми онъ по братски и подѣлился съ ними, съ Вѣтрами степными, спросилъ дорогу, выпилъ еще у нихъ чарку простой—не настой, и вышелъ благополучно.

Еще съ половины этого разсказа пожаловала пани-воеводша, принесла за большую рѣдкость моченыхъ грушъ,—и чай

пили въ саду подъ яблонью, и солнце въ глазахъ всѣхъ заходило, великолѣпно—тихое, румяное. Румянецъ его горѣлъ на облакахъ и на чайной бѣлой скатерти, и на молодомъ лицѣ Милы, одѣвая всю окрестность, всю даль въ рдѣющій, затихающій вечеръ.

— Прощайте, Людмила Павловна!—распростился Алексѣй Леонтьевичъ съ паней-воеводшею. —Вотъ завтра васъ здѣсь не будетъ; уѣдете вы.... Веселитесь, Людмила Павловна; только ворочайтесь къ намъ поскорѣе, а мы васъ будемъ ждать. А вѣдь, вы знаете, что вамъ мимо меня ѣхать? Другой дороги нѣтъ.

— Я знаю, отвѣчала Мила.

— Да что это вы все изволите быть въ перчаточкахъ? и чай намъ наливали въ перчаточкахъ—хотя бы вы сняли свои перчаточки! Долгъ велитъ на прощаньи ручку поцѣловать, а вы ихъ запрятали.

— Я избавляю васъ этого долга, сказала съ обязательной улыбкою Мила.

— Мало-ль бы чего вы избавляли! да я-то хочу исполнить свой долгъ.

— Однако, Алексѣй Леонтьевичъ, вѣдь вы не въ Сороковкѣ живете и очень хорошо знаете, что этотъ долгъ вовсе не лежитъ на васъ.

—Э! Людмила Павловна, мы—*люди старые* и кому, какъ не намъ, держаться старины!—Извольте пожаловать вашу ручку,—хитро улыбался Алексѣй Леонтьевичъ.

На минуту, въ маленькомъ смущеніи, пріостановилась Мила и ея ушки живо зарумянились.

— Нѣтъ! сказала она.... Вы забываете, что я слишкомъ молода и, изъ уваженія къ вашимъ лѣтамъ, не могу дозволить себѣ такой чести. Извините меня.

— То есть въ тупикъ поставили старика! смѣясь, тряхнулъ головою Алексѣй Леонтьевичъ.—Ну-те, какъ же тамъ будетъ по вашему? Вы и на прощаньи не протянете мнѣ ручку?

— Напротивъ, я съ большимъ удовольствіемъ подаю ее

вамъ.—Благодарю васъ за ваши разсказы, за день пріятной бесѣды — пріостановясь немного — благодарю васъ, повторила Мила.

— Покорнѣйше благодарю, Людмила Павловна, —сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.... А я вамъ сказку скажу.

— На вечеръ глядя?

— Коротенькую. — Жилъ-былъ, Людмила Павловна, въ пустынѣ пустынникъ и медвѣдь присосѣдился къ нему; хотѣлъ услужить пріятелю, со лба муху согнать и засадилъ ему камень въ лобъ... Какъ вы думаете, теперь должно вынимать его?

— Я думаю, что это будетъ довольно трудно.

— А почему?

Алексѣй Леонтьевичъ ловилъ легонькую улыбку Милы.

— Потому — чтобы пустынникъ не водился съ медвѣдями.

— А гайка, Людмила Павловна? шопотомъ сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— А! пустяки...

— Мила! что это Алексѣй Леонтьевичъ остановился, съ Ерёмой говоритъ? смотрѣла въ слѣдъ уѣзжающему Алексѣю Леонтьевичу пани-воеводша.

Мила догадалась, о чемъ разговоръ долженъ былъ идти, и ничего не сказала.

— Ерёма, постой!—шелъ вдалекѣ Ерёма—стой! Что это тебѣ Алексѣй Леонтьевичъ говорилъ?

— Гайка! махнулъ рукою Ерёма.

— Что ты говоришь? Галка?

На этомъ недоразумѣніи дѣло и кончилось.

— Гдѣ онъ здѣсь видитъ галку? осмотрѣлась пани-воеводша.

ГАЙКА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Никто не отрицаетъ — или пусть и отрицаютъ, что разумное что-то какъ будто движется и дышетъ въ окружающей насъ природѣ. Этого-то разума, вездѣ присущаго, можетъ быть, соприкасается душа, когда, безъ ничего особеннаго, надобно только пройти передъ нами четыремъ временамъ года: разцвѣсть веснѣ, зазолотиться колосьями лѣту—похмуриться, оброняя листья, осени и широко лечь бѣлыми снѣгами зимѣ, чтобы мы нашли столько новаго, столько не того, что было въ насъ—возмужалаго, заглянувши въ свою молодую душу. Эта Мила молодая ничего особеннаго не испытала въ этотъ годъ жизни у своей матери—ничего, чтобы она сильно прочувствовала въ Сороковкѣ; но какъ будто на нее что навѣвало изъ широкой степи, когда она, наклоняясь, сидѣла у низенькаго окна за пяльцами! Проносились невольныя какія-то мысли, возникая совершенно такъ, какъ по самому чистому голубому небу показываются легонькія волокнистыя облачка. Этотъ міръ и тишина, широкія поля, неощутимо, чѣмъ-то такимъ же тихимъ, умиряющимъ сказывались бьющемуся сердцу. И сказывались потому, что

какъ бы тихо и незамѣтно ни проходила жизнь, какъ бы, казалось, ни изжили мы мало впечатлѣній, но годъ времени—самое это отсутствіе впечатлѣній есть уже своего рода большое впечатлѣніе и на душу иначе, но все также жизненно умудряя, ложится и оно. Людмила Павловна на видъ была все та же, ни во что не входившая, беззаботная молоденькая дѣвушка. Въ ней проглядывало еще дѣтство въ веселенькой радующей улыбкѣ; а между тѣмъ какъ бы выигралъ тотъ и какъ бы вдругъ съумѣла отвѣчать ему Мила, кто бы, минуя эти признаки, серьезно заговорилъ съ нею, потребовалъ бы отъ нея женщины, рѣшимости, ея тихаго невозвратнаго слова.

Но теперь мысль Милы, съ затаенной заботою, вся обращалась къ предстоящему путешествію. Розно оно сказывалось ея молодой мысли. Съ одной стороны, какъ бы не поѣхать? Мила какъ рыбка окунется въ родной живой водѣ, узнаетъ, что̀ новаго—что̀ случилось въ томъ свѣтѣ, который давался и не дался ей, и къ которому тянули ее прижитые инстинкты ея новой, не сороковской природы... И къ тому еще рояль, или имперьялъ Лихтенталя въ пространной залѣ, и Лена эту зиму провела въ Петербургѣ—сколько разсказовъ! О, какъ бы не поѣхать? И за тѣмъ — какъ ѣхать? Судите сами: на эти разсказы о балахъ, о выѣздахъ, о торжествахъ Лены, что отвѣчать, когда та спроситъ: «а ты разсказывай, говори, Мила.» Что Мила цѣлый годъ, только и знай сидѣла у низенькаго окна за пяльцами, да за прошлогодними книжками? Что въ туманѣ и безъ тумана плоской широтою облегала ее степь? Что просились слезы въ глаза? проносились какія то урывчатыя мысли? И какое дѣло Ленѣ до этихъ мыслей и что можетъ быть общаго между сороковской барышнею и богатой красавицею большаго свѣта? И зачѣмъ ѣхать, и къ чему ѣхать? Чтобы занимать то мѣсто въ парадной гостинной, которое ассигновано воспитанницамъ, или какой нибудь дальней бѣдной родственницѣ? А Мила? Она въ своей Сороковкѣ уже такъ привыкла къ лестному почету первенства и такъ отвыкла отъ этихъ маленькихъ

уколовъ полувниманія, полупренебреженія съ милостивымъ благоволеніемъ.

Мила еще не ѣхала, а уже думала о томъ, какъ хорошо будетъ возвращаться! А ѣхать было надобно, чтобы не оказаться неблагодарною, непомнящею благодѣяній. И къ тому еще самая процедура этого путешествія, что за несносная тягость! На полтора дня сожматься, затиснуться въ брику; сорокъ верстъ ѣхать безпредметной степью; взъѣзжая на нее, Ерёма закидываетъ на мѣдный столбикъ у козелъ возжи, достаетъ изъ кармана трубочку и начинаетъ курить. «Такъ оно себѣ, пусть такъ», одобряетъ пани-воеводша. «Пусть лошадки сами пройдутся.» И лошадки идутъ, помахивая хвостами и головами.

Вначалѣ это страшно смѣшило Милу; потомъ ей становилось досаднымъ; наконецъ выводило ее изъ терпѣнія. «Помилуйте! кто такъ ѣздитъ?» спрашивала она. «Мы», коротко отвѣчали ей. «И слава Богу, что это только мы, а никто болѣе.»

И, наконецъ, тоже слава Богу, что и возвратное путешествіе, къ началу котораго такъ тяжело въ затаенномъ сознаніи обращалась мысль, подходило уже къ концу. Миновали ту безотрадную степь, спустились отъ нея подъ гору; слѣдовало только версты на три проѣхать лугомъ между огромныхъ торфяныхъ кочекъ, подняться потомъ въ большую пологую гору, усаженную корепастыми пнями, зазеленѣлыми и кудрявыми отъ молодыхъ погоновъ и между нихъ словно бѣлыя мурашки расползлись по взгорью,—а это ходило стадо испанскихъ овецъ. И вотъ, въѣзжая въ гору, направо подъ широкимъ темнѣющимъ садомъ и двѣ трубы дома Алексѣя Леонтьевича; а уже отсюда верстъ осьмнадцать, двадцать—и Сороковка.

— Эхъ, поди ты! Да прійдется въ дорогѣ ночевать; не доѣдемъ, Мила, говорила пани-воеводша.

И это было болѣе чѣмъ вѣроятно. Совсѣмъ уже вечерѣло, или по крайней мѣрѣ становилось очень сумрачно. За тучами нельзя было опредѣлить: совершенно ли сѣло солн-

це, или оно только садилось, проводя узенькую золотистую каемку на окраинѣ неба. Лиловатый мимолетный отблескъ едва вспыхивалъ и погасалъ въ медленно идущихъ, тяжелыхъ тучахъ. Онѣ весь день облегали небо и дождь сильный шелъ, и теперь еще рѣзкій сѣверовосточный вѣтеръ «москаль», какъ его называютъ по Малороссіи, вырывалъ изъ тучъ крупныя холодныя капли и билъ ими въ залубенѣлую кожу, застегнувшейся на всѣ фартуки, на всѣ свои ремешки и застежки, брики. При поднятомъ переднемъ фартукѣ, Дашѣ не оставалось возможности сидѣть подъ нимъ и она нашлась очень довольною прилечь и совсѣмъ заснуть, положа голову къ колѣнамъ барышни. Барышня оставалась постоянно молчаливою отъ холода, въ темнотѣ закупоренной брики, спустивъ вуаль и въ непріятномъ положеніи человѣка въ дорогѣ, когда дорогу испортилъ дождь и темнѣетъ, москаль въ уши дуетъ и надобно добираться до какого ни-на-есть ночлега. «Не въ пору мы, душа моя, выѣхали. Хотя бы намъ на гору поскорѣе выбраться.... Ухъ! кочки растолкали бока—а?» на новомъ толчкѣ привскрикнула пани-воеводша. Голосъ у нея оборвался; а ей показалось, что это Мила что-то говоритъ ей. «А?» спросила она. Но Мила безотвѣтно молчала.

Не холодомъ скрѣпило молодыя губы; а скрѣпили ихъ такія мысли, что какъ пройдутъ онѣ надъ бровями и слѣдомъ морщинка поползетъ за ними. Она потомъ сойдетъ и разгладится; но для будущаго уже начало есть.

Это слово будетъ слишкомъ широко, чтобы сказать: Мила любила; но первое пробужденье чувства, эту робкую нѣгу, не сознающую ни надеждъ, ни желаній—сладость тихо приливающей жизни къ сердцу, ихъ ощущала Мила. И подъ какимъ плѣнительнымъ представленьемъ это сказалось! Старшій сынъ О....скихъ блестящимъ образомъ окончилъ науки въ одномъ изъ высшихъ заведеній столицы; два года онъ не былъ дома. Татьяна Николаевна, какъ страстно-любящая, радостная и гордая своимъ сыномъ мать, и какъ женщина,

любившая всѣ случаи торжественности и пышныхъ представленій, положила устроить ему блистательную встрѣчу. Онъ долженъ былъ пріѣхать лѣтнимъ позднимъ вечеромъ. Заданъ былъ балъ; созваны гости, фасадъ дома освѣщенъ; Лена и Мила, предназначенныя къ главной роли, въ бѣлыхъ бальныхъ костюмахъ; ихъ шестнадцатилѣтнія головки пышно увиты свѣжими розами, на столѣ приготовленъ зеленый лавровый вѣнокъ и всѣ ждутъ радостнаго вѣстника, когда онъ прискачетъ сказать: «ѣдетъ, ѣдетъ!» И вотъ онъ ѣдетъ.... Съ задушаемымъ крикомъ радости бросается къ нему съ ступеней крыльца мать, обнимаетъ его отецъ; юноша входитъ въ сіяющій залъ и на порогѣ роднаго дома встрѣчаютъ его двѣ молоденькія дѣвушки, въ бѣломъ, въ дышащихъ свѣжимъ ароматомъ розахъ и надѣваютъ ему на голову лавровый вѣнокъ. «A genoux!», шепнула ему мать и онъ, улыбаясь, сталъ передъ ними на одно колѣно Одна изъ нихъ ему родная сестра, другая почти тоже сестра, выросшая въ семьѣ его; юноша, растроганный, крѣпко обнялъ ихъ обѣихъ вмѣстѣ и, пылко цѣлуя, поцѣловалъ ихъ милыя лица. И что ему этотъ балъ и чужіе люди? Онъ хочетъ быть съ *своими*. Онъ увелъ ихъ въ садъ, обнялъ ихъ обѣихъ за таліи и, прохаживаясь по широкимъ аллеямъ, въ отдаленномъ сіяніи сверкающаго окнами дома, подъ музыку, которая переливами несется къ нимъ, онъ говоритъ имъ, разсказываетъ, ласкаетъ ихъ обнаженныя руки. Какъ сестрѣ Ленѣ, онъ и Милѣ почти говоритъ *ты*. «Одинъ лавръ», осматриваетъ онъ свой вѣнокъ: «чтобы немного примѣшать мирта, Мила?» цѣлуетъ онъ ея руку и наклоняетъ къ нимъ свой свѣтлый радостію, прекрасный юношескій лобъ, чтобы онѣ поцѣловали его.... Такая плѣнительная страница читалась въ свѣтломъ представленьи Милы. Когда теперь вечеромъ подъѣхали къ дому и въ освѣщенномъ окнѣ вдругъ Милѣ показался онъ, у нея занялось дыханіе....« A! вы, mademoiselle Мила! неожиданное явленіе,» бралъ онъ невольно, несдержаннымъ порывомъ, протянувшуюся къ нему руку. «Mais comme elle se gante bien», посмотрѣлъ онъ любо-

пытно на руку или на перчатку. На завтра онъ былъ сполна занятъ собою, своими гостями; но быть въ его присутствіи дѣлало удивительно-хорошенькой Милу. «Вы посмотрите, право», указывала на нее гостямъ Татьяна Николаевна. «Она хорошѣетъ тамъ, въ своей.... какъ ее?... Мила!» подставляла ей щеку Татьяна Николаевна. «А, mademoiselle Мила! да какъ вы милы!» набрелъ онъ нечаянно на Милу, сидѣвшую подъ деревомъ на маленькой скамейкѣ. «Я не прошу даже позволенія сказать это вамъ...» И эта властительная полунебрежность тона! Сѣлъ онъ къ ней на скамейку и хотѣлъ взять руку; Мила крѣпко взялась ею за сукъ дерева. «Что это? какъ вы одичали, Мила, въ своей Сороковкѣ.... chère maman забываетъ всегда, гдѣ вы живете; а я, видите, помню. Pensez donc: развѣ мы чужіе? Даже одинъ учитель Французскаго языка у насъ съ вами былъ!» Мила что-то отвѣчала и пошла къ дому. Ей хотѣлось немножко заплакать, но она не заплакала.... Пусть этимъ усиліемъ и возмужала она къ жизни; но теперь, сидя въ закупоренной брикѣ, подъ дождемъ и вѣтромъ, въ такой унылой обстановкѣ молодой мечты, чѣмъ, думала, утѣшить себя, чѣмъ вознаградить, Мила?...

«...Ай! ой! Господи.... отцы мои!... Тпру! стой! остановитесь... Ерема! Мила! ой.... что съ нами? Пантелей! падаемъ.... Поднимайте, спасайте.... Ай, барышня, ай! въ ровъ валимся—ай, ай, ай! перевернулись.... Ахъ, Боже мой! это гайка...»

Всѣ эти восклицанія вмѣстѣ и одно наперерывъ другаго вырывались изъ брики, носились вокругъ брики; сдерживали лошадей. Что такое, что? Ѣхали тихо въ гору и вдругъ задъ брики началъ однимъ колесомъ будто отходить, подаваться въ бокъ, въ бокъ—ай! И расшатнулась, падая, брика, только не въ ровъ, какъ вопила съ просонья Даша, а среди ровной дороги. Послѣднее восклицанье о гайкѣ объясняетъ все.

Именно, это была гайка, какъ предсказывалъ Алексѣй Леонтьевичъ и какъ, менѣе всѣхъ крича, сильно ушибенная

въ правой локоть и почти задушаемая навалившимися на нее подушками и узлами, чуть слышно проговорила Мила. Здѣсь только ей пришло въ голову, что пріѣхавши къ О.... скимъ, она забыла позаботиться о своей брикѣ; мать не знала ничего; а Еремей, по пословицѣ, только про себя разумѣй,— и теперь вотъ соскочила гайка!

Вѣроятно, то, чѣмъ она была подвернута, стерлось въ дорогѣ и, могло быть, что и самая дорога лугомъ, по кочкамъ и толчкамъ, окончательно развертѣла гайку; только брика страшно накренилась. Желѣзная ось съ розмаха на полчетверти вошла въ разрыхлѣлую землю и надобно было удивляться, что къ одной бѣдѣ не приключилась другая: не сломалась ось, выдерживая на себѣ брику и весь грузъ брики. Но тутъ спѣшили отстегнуть фартуки; старый Пантелей, не жалѣя послѣднихъ зубовъ, грызъ не подающіеся ремешки и застежки. Пани-воеводша высвободилась и первымъ дѣломъ перекрестилась; Милу на руки принялъ Пантелей изъ брики, цѣлуя размахивающіеся рукавчики ея бурнуса, чтобы тѣмъ успокоить барышню, или извиниться въ бѣдѣ передъ нею,—онъ и самъ того хорошо не зналъ и, для облегченія сердца, обругалъ совою Дашу.

— Не подъ часъ мы выѣхали.... Мила, Господь съ тобою! другъ ты мой, мы тебя задавили.... Какъ же тебя называть, старый! спрашивала Ерему пани-воеводша. Что ты это съ нами сдѣлалъ? Вѣкъ ѣздилъ, того не было. Дурную дорогу по лугу переѣхалъ; на хорошей было намъ головы посломалъ!

Пани-воеводша, не осмотрѣвшись, еще не знала настоящей причины паденія; а Ерема, находя излишнимъ отвѣчать, шелъ по дорогѣ назадъ, тыкая въ землю кнутомъ и отыскивая гайку.

— Что ты тамъ батька своего ищешь? простительно осердясь, спрашивала пани-воеводша.

Но собственный ея, одинъ короткій взглядъ на запрокинувшуюся брику, на колесо, которое, откатясь, лежало близъ

дороги, объяснилъ ей что̀ такое ищутъ и что̀ надобно всѣми мѣрами искать.

— Пантелеюшка! Даша! голубчики мои, такая надъ нами бѣда стряслась! идите и вы къ Ерёмѣ, ищите. Здѣсь недалеко гдѣ нибудь гайка соскочила.... Мила, простудишься ты, дитя мое, говорила пани-воеводша. Стань за лошадьми, чтобы тебѣ не на вѣтрѣ быть. Успокойся, золото мое дорогое! только бы тебя не ушибло; а это еще не нивѣсть какая бѣда—найдемъ гайку.

Но что-то не рано ли обнадеживала пани-воеводша на счетъ гайки? Конечно, гдѣ ей болѣе быть, какъ не на дорогѣ и не могло же колесо много проѣхать безъ гайки; но Ерёма уже изъ вида скрылся, сошелъ совсѣмъ подъ гору, а стало еще не нашелъ гайку и, по слѣдамъ его, Даша и Пантелей шли и все шли дальше, не возвращались; а совсѣмъ уже темнѣетъ...

— Охъ! что-то мудреное съ ними дѣется! Куда они такъ далеко идутъ? Здѣсь поблизу гдѣ нибудь гайка... Пошла сама пани-воеводша.

Мила, чувствуя свою вину, не возражала, что она остается одна при лошадяхъ и опрокинутой бричкѣ и хотя бы какой нибудь прохожій, или проѣзжій, случился! Въ ихъ положеніи онъ и мало могъ бы помочь имъ; но все одинъ видъ человѣка имѣетъ что-то облегчительное.... Черезъ дорогу начали перегонять овецъ; старый чабанъ, опершись на свою герлыгу, посмотрѣлъ издалека на брику. «Чьи вы?» спросила Мила. «Алексѣя Леонтьевича,» отвѣчалъ онъ и погналъ стадо.

.... Пани-воеводша, запыхавшись, шла.

— Нѣту, Милочка! нѣту, дитя мое! И что намъ дѣлать? нѣту.

— Маменька! куда же ей было дѣваться?

— Одно слово: нѣту!...

И Даша пришла, и Пантелей пришелъ, и Еремей пришелъ—нѣту, что хотите.

При самомъ взъѣздѣ на гору была рытвина, полная воды и толчекъ большой. Тамъ, по всей вѣроятности, должна была соскочить гайка и колесо еще могло держаться потому, что сейчасъ подъемъ въ гору шелъ косогоромъ на противоположную отъ колеса сторону и оно, не свертываясь, могло идти, пока не взъѣхали на ровную дорогу; здѣсь въ нѣсколько оборотовъ колесо должно было соскочить.... Такъ ли оно точно было, или какъ иначе? Можетъ статься, гайка попала и въ траву, что довольно высокая была при дорогѣ; можетъ быть, она лежала и на самой дорогѣ, запавши въ грязь, и въ сумеркахъ не могли разглядѣть? Но только теперь, когда по дорогѣ перешло тысячи полторы овецъ и взгрузило ее своими острыми копытцами, искать на дорогѣ чего-нибудь другаго, кромѣ комовъ замѣсившейся грязи, было совершенно напрасно.

— И что намъ на свѣтѣ приходится дѣлать? разводила руками пани-воеводша.—Вѣдь совсѣмъ ночь....

Еремей и Пантелей поднимали брику и надѣли колесо на ось.

— Мила, я думаю послать къ Алексѣю Леонтьевичу. Что намъ тутъ дѣлать?

— А! нѣтъ, маменька! Богъ съ вами! заговорила Мила. Что же намъ Алексѣй Леонтьевичъ сдѣлаетъ?

— Все-таки мужская голова не то, что наши женскія: что нибудь онъ намъ да нагадаетъ. Гайку ли, совѣтъ ли какой дастъ.

— Да нельзя ли какъ нибудь безъ гайки ѣхать?... Маменька! къ чему мы призовемъ Алексѣя Леонтьевича? Что ему здѣсь дѣлать!—и безъ него досадно.

— Да уже твоя досада не въ счетъ, коротко отвѣчала мать.

— Но вѣдь намъ надобно гдѣ нибудь ночевать? говорила Людмила Павловна —Что же мы будемъ стоять здѣсь, ждать его? Можетъ быть, его дома нѣтъ. Пойдемте лучше какъ нибудь пѣшкомъ.

— Что такое говорить, что и слушать нечего! проговорила пани-воеводша.... Она, видите, пойдетъ пѣшкомъ по грязи, по такому вѣтру! Хотя бы кто на волахъ ѣхалъ! желала Катерина Логвиновна. Я бы васъ посадила съ Дашею на возъ и отправила бы къ матушкѣ отца Тимоѳея; а то никого не видать, ни души христіанской!...—Пантелей! ступай (отпрягай лошадь—что здѣсь? нечего думать), ступай къ Алексѣю Леонтьевичу, что вотъ такъ и такъ молъ скажи: такое намъ несчастье, что я ему просьбу мою посылаю; пусть онъ намъ помощь свою дастъ, какую знаетъ.

— Маменька милая! право... почти взялась за Пантелея руками Мила.—Да нельзя ли намъ какъ нибудь ѣхать?

— Сядь въ брику, дитя мое; не стой на мокромъ мѣстѣ.... Оставь мать дѣлать; она лучше знаетъ.

Въ самомъ дѣлѣ приходилось ночевать посреди дороги! Хотя бы въ степь куда, къ стогу сѣна подвернуть было можно, такъ никуда податься нельзя, колесо спадетъ. И непріятность такая Милѣ, что она себѣ глаза закрывала рукою,—увидѣть Алексѣя Леонтьевича! онъ будто напророчилъ эту бѣду; просить его объ одолженіи.... Вотъ и происшествіе! скажетъ онъ, котораго она желала; непремѣнно подсмѣетъ ей. Мила была достаточно огорчена и еще рука болѣла, иззябла она. Сильное безпокойство, котораго она еще не испытывала, возросло въ ней до степени грустнаго нервнаго страданія.

— Даша! потри мнѣ, душенька, ноги, въ совершенно наступившей темнотѣ, тихонько просила она.—Ноги у меня совсѣмъ нѣмѣютъ.

И лошади пани-воеводши, какъ ни любили покой, а начинали уже не стоять на мѣстѣ: продрогли онѣ. Еремей подтянулъ возжи.... вдругъ одна изъ лошадей весело заржала и другая за нею; на голосъ ихъ третья отозвалась имъ издали. Фырканье и сильный галопъ ея послышались всѣмъ и темный силуэтъ всадника и лошади быстро выросталъ, и показывался передъ глазами.

Хотя не было такъ темно, чтобы вблизи не различить, кто такой ѣдетъ, да и не такимъ горячимъ, сльнымъ махомъ шла лошадь, чтобы можно было предположить, что это сухія и нетвердыя колѣнки Пантелея сжимали ей бока. Но пани-воеводша, слышавши, что ржала ея лошадь и не всматриваясь ни во что болѣе: «Пантелеюшка!» спрашивала ѣздока: «что ты, что привезъ намъ?»

— Это Алексѣй Леонтьевичъ! сказала Мила.

— Я, я! подскакивалъ онъ въ галопъ, безъ сѣдла, на лошади пани-воеводши.—Дай Богъ здоровья вамъ, Людмила Павловна! что ваши глазки въ темнотѣ меня узнали.... Я чуть услышалъ, крикнулъ, чтобъ запрягали лошадей; прочь—долой Пантелея! чтобы онъ съ моими пріѣзжалъ, и самъ сюда ѣду, не доѣду,—спрыгнулъ съ лошади Алексѣй Леонтьевичъ.... Что будемъ дѣлать? Гайка! Здравствуйте.... Богъ съ вами! не безпокойтесь.... что такое? отвѣчалъ онъ на извиненія пани-воеводши въ ея ошибкѣ.

— Алексѣй Леонтьевичъ! Бога ради, дайте намъ гайку! съ серьёзнымъ огорченьемъ сказала Мила.—У нея едвали не слезы были на глазахъ.

— Людмила Павловна! перешелъ къ ней на сторону Алексѣй Леонтьевичъ. Вѣрьте Богу, что я отцу родному не хотѣлъ бы такъ.... какъ всей душою готовъ для васъ, что вамъ угодно. Но вѣдь гайка не такое дѣло: она не приладится съ одной оси на другую.. . Извольте, я на вашихъ глазахъ перепробую вамъ всѣ свои гайки; но, Людмила Павловна, изволите знать: бричка ваша немножко давняя; нынче уже ни такой толщины осей, ни гаекъ такихъ нѣтъ.

— Родной нашъ! что же намъ дѣлать? Пригадайте. Вѣдь темнота какая и вѣтеръ съ ногъ человѣка рветъ.

— Катерина Логвиновна! пани-воеводша! я пригадалъ нельзя лучше, не отгадайте только вы, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Когда я вамъ отъ отца и матери человѣкъ знаемый и дружбу мы съ вами не этого года ведемъ, и самъ я по себѣ не зазорный какой показываюсь вамъ, осчастливь-

те меня, заплатите за всѣ тѣ разы, что я несчетно бываю у васъ, пожалуйте переночевать ко мнѣ! (Вѣдь все равно вамъ ѣхать, никуда нельзя ѣхать. Одинъ я по близу; не ночуете же вы середи дороги?) А завтра мой кузнецъ гайку вамъ сдѣлаетъ, или мы эту по видному отъищемъ.... Весь домъ мой къ всепокорнымъ вашимъ услугамъ и я самъ: приказывайте мнѣ! Катерина Логвиновна, осчастливьте меня и вы, Людмила Павловна.... Вотъ и лошади мои пріѣхали.

— Алексѣй Леонтьевичъ! начала пани-воеводша и не находила она, какъ ему сказать: что будь она одна, она бы съ дорогой душою; но дочь съ нею—ночевать къ нежонатому человѣку.... Что заговорятъ въ Сороковкѣ!..

Алексѣй Леонтьевичъ стоялъ безъ картуза.... Мила назвала его по имени и уже по одному голосу можно было судить, что такое происходило въ ней? Какая тревога!

— Мы и безъ того доставляемъ вамъ всевозможныя безпокойства, сказала она,—пожалуйста, надѣньте вашъ картузъ, чтобы вы еще не простудились.

— Только о картузѣ вамъ угодно было мнѣ сказать, Людмила Павловна?

— Нѣтъ-съ... Я хочу просить васъ, Алексѣй Леонтьевичъ, не быть на насъ въ претензіи—извините, что намъ хочется поскорѣе быть дома.... Мы вамъ такъ благодарны за ваше предложеніе....

— Что вамъ, Людмила Павловна, во что бы то ни стало хочется отдѣлаться отъ него?... Извольте, какъ же вы приказываете?

— Я не приказываю, Алексѣй Леонтьевичъ—не имѣю на то никакого права,—не зная, чѣмъ смягчить ему свой отказъ, Мила протянула руку Алексѣю Леонтьевичу;—но маменька и я убѣдительно просимъ: нельзя ли намъ на этихъ лошадяхъ, что вотъ пришли и въ вашемъ экипажѣ доѣхать до Сороковки? Вы насъ премного обяжете.

— Людмила Павловна! вѣрьте мнѣ, что я не такъ только говорю; а говорю честнымъ словомъ: будь у меня дома не

въ починку отданъ крытый экипажъ, я бы первое—что не довелъ васъ до непріятности просить меня и десять разъ предложилъ бы его вамъ. Но по такой ли погодѣ, въ вашей шляпкѣ и лоскуточкахъ, которые вы—извините-съ—замѣсто теплаго носите на плечахъ, осьмнадцать-двадцать верстъ проѣхать ночью на дрожкахъ, и еще дождь срывается? Ваша ручка, которую вы мнѣ пожаловали, какъ застылая въ моей рукѣ... Накушайтесь у меня чаю.—Ну, согрѣйтесь немного и потомъ, если вамъ угодно будетъ ѣхать хоть въ полночь, лошади мои вамь будутъ готовы.

Мила, въ нерѣшительности, побѣжденная и нѣтъ, обратилась къ матери спросить ее: какъ ей будетъ угодно?

— Алексѣй Леонтьевичъ, родной нашъ! мы вамъ столько безпокойствія всякого нанесли, что—что и дѣлать? Коли ваша милость, берите насъ.

— Наплу-то — слава тебѣ, Господи! Допросился радости.... Самсонъ! живо распоряжался Алексѣй Леонтьевичъ: подъѣзжай ближе, ближе... ловчѣе.... Смотри въ оба!

Заднее колесо пролетокъ стало у самой брички.

— Катерина Логвиновна, пожалуйте! Боже, благослови! и Богъ васъ люби.... Не безпокойтесь, садитесь смѣло; лошади не шелохнутся.... Людмила Павловна! если бы вамъ было угодно, я бы васъ просто на рукахъ перенесъ.

— Нѣтъ, сдѣлайте одолженіе! меня и такъ сегодня Пантелей на рукахъ носилъ.

— Какъ вамъ угодно—все какъ совершенно вамъ угодно, Людмила Павловна! прикажете васъ поддержать немного? Вы бы прямо переступили въ дрожки.

Мила такъ и сдѣлала.

— Теперь, ребята, слушай: есть тормазъ у брички? спросилъ Алексѣй Леонтьевичъ.... Счастливъ ты, Ерёма, шепнулъ онъ: что ѣздишь кучеромъ у пани, а не у пана—была бы тебѣ гайка!

— Тормазъ есть, медленно отвѣчалъ Ерёма.

— Затормазить колесо безъ гайки и за нами шагомъ.... Трогай, Самсонъ!

Алексѣй Леонтьевичъ сталъ на рессорахъ позади дрожекъ.

Милѣ показалось, что они въ минуту доѣхали къ дому: такъ она желала бы на возможно дольшее время отдалить отъ себя это появленіе въ домъ къ человѣку, которому она—нѣтъ и двухъ недѣль—какъ отказала въ рукѣ и теперь, по самой пошлой случайности, какъ въ романахъ бываетъ, изъза дрянной гайки она ѣдетъ найти у него пристанище.—Господи мой! ночевать къ нему въ домъ и онъ, какъ хозяинъ, нѣкоторымъ образомъ, будетъ имѣть ее въ своей власти и какими торжествующими взглядами въ его волѣ подарить ее! «Бываютъ происшествія, горько себѣ говорила Мила: но не такія оскорбительныя—чтобы они не унижали того, съ кѣмъ случаются».... Если бы не вѣтеръ, который дулъ и вывѣтривалъ дождевую влагу и росу на поляхъ и цвѣтахъ, и холодомъ высушалъ глаза, Мила съ каплями слезъ на рѣсницахъ ступила бы на порогъ этого дома.

Лошади пронеслись въ широкіе растворенные ворота.... Мила ничего не видѣла и не хотѣла видѣть что̀ и какъ было въ дворѣ. Она только слышала шумъ и колыханье деревьевъ близкаго сада. Хозяинъ, видимо, былъ увѣренъ, что онъ привезетъ къ себѣ гостей: изъ всѣхъ оконъ той части дома, которая выходила на подъѣздную галлерею, широкими бѣлыми полосами простирался свѣтъ. Въ немъ съ рѣзкой картинностію вдругъ выступили, остановившіяся подъ крыльцомъ, буланыя съ разметанными вѣтромъ на сторону и на другую гривами и въ полусвѣтѣ дикимъ звѣремъ, а не лошадьми, выглянувшія изъ-за густаго напереди вихра волосъ, которымъ забросало и засыпало имъ на половину морды и глаза. Бѣлая съ пятнами, большая собака съ крыльца бросилась, ласкаясь, къ Алексѣю Леонтьевичу; человѣкъ спѣшилъ вынести свѣчу и вѣтромъ задуло ее....

— Поди прочь, Турка! отстань, не до тебя, Турка! гово-

рилъ Алексѣй Леонтьевичъ, принимая съ дрожекъ своихъ гостей и первой Милѣ пришлось ступить на это освѣщенное крыльцо.

Она пріостановилась пообождать мать и видѣла въ окнахъ, какъ нѣсколько большихъ и дѣтскихъ головъ, мужчинъ и женщинъ, припавши лицами къ стекламъ и заслоняя себѣ свѣтъ руками, высматривали съ напряженнымъ вниманіемъ ихъ любопытный пріѣздъ и даже указывали на нее пальцемъ. Милѣ показалось, что и лакей, появившійся вновь со свѣчею, съ какой-то нахальностію отворялъ ей дверь и просилъ ее пожаловать....

—Пожалуйте, Людмила Павловна! милости прошу васъ, подтверждалъ слова своего лакея Алексѣй Леонтьевичъ, такъ казалось Милѣ.—Катерина Логвиновна, вотъ сюда-съ, прямо... Такіе мы съ вами давніе пріятели и вы не знаете, какъ у меня дверь отворяется. Насилу Богъ привелъ.... Самоваръ! самоваръ живѣе! хлопотливо приказывалъ Алексѣй Леонтьевичъ, на минуту отлучаясь изъ залы.

По старинному, благочестивому обычаю отцовъ, пани-воеводша, какъ вошла въ домъ, три раза къ образамъ перекрестилась и поклонилась.

— Гдѣ же вы, добрый нашъ ласковый хозяинъ?—обратилась она съ предорогой простотою и искренностію.

— Здѣсь, здѣсь! шелъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— Дайте же мнѣ поздороваться съ вами въ вашемъ дому—чтобы и углы свои домашніе слышали, какъ хозяину здоровья и счастья желаютъ.... Богъ святой вамъ въ помощь на домашнемъ быту! Здравствуйте, родной мой! здравствуйте, Алексѣй Леонтьевичъ! и не думалось мнѣ, не гадалось у васъ гостьей быть.

Но что было дѣлать Милѣ? Она не молилась къ образамъ, и неужели еще ей было здороваться съ хозяиномъ въ его дому? Прошла бы она въ гостинную; но кто знаетъ, гдѣ у неженатаго человѣка положено быть его гостинной? Она видѣла двѣ полуотворенныя комнаты и боясь попасть въ ка-

бинетъ, стояла среди залы и мяла въ нерѣшительности завязки своей шляпки.

— Я все заставляю васъ ждать.... Простите, Людмила Павловна. Такая мнѣ новость — счастіе великое принимать васъ, отворилъ широко обѣ половинки двери въ боковую линію комнатъ Алексѣй Леонтьевичъ. Домъ, какъ видно, былъ довольно великъ, строенный еще прежнимъ помѣщикомъ.

Мила рада была мѣсту: опуститься на диванъ и оставаться тамъ по возможности въ тѣни, не выказываясь на глаза, и сама она не смотрѣла никуда. Показалось ей, когда она входила, что должно быть Алексѣй Леонтьевичъ большой охотникъ до картинъ потому, что стѣны будто пестрѣли ими; но надъ мѣстомъ, гдѣ она сѣла, стояло большое зеркало, она даже не замѣтила его и не посмотрѣлась въ него. Сняла свою шляпку и здѣсь же положила ее возлѣ себя на диванъ: какъ бы ей покойнѣе было окружить себя своими вещами. Но это уединеніе между шляпкою и скинутыми перчатками продолжалось всего нѣсколько минутъ.

— Какъ прикажете, Катерина Логвиновна? спѣшилъ предложить чай Алексѣй Леонтьевичъ. — Какъ вамъ угодно чай кушать? Сюда ли пусть подаютъ самоваръ, или тамъ намъ будутъ разливать?...

Пани-воеводша, однажды превозмогши странность такого положенія: быть ли, не быть ли у Алексѣя Леонтьевича, явиться къ нему съ дочерью, — и призвавъ себѣ на увѣреніе свою достаточную гордость и достоинство (что она здѣсь порока никакого не находитъ, случай такой пришелся, а случ ями Богъ владѣетъ — пусть въ Сороковкѣ хоть Лазаря поютъ) — пани-воеводша вступила въ свое полное расположеніе духа. Ея чинная свобода и важность, и веселость такая величав я просіяли въ ней. .. И въ самомъ дѣлѣ, какъ было не чувствовать удовольствія? Люди столько лѣтъ знаютъ другъ друга и отцы ихъ жили братьями, увѣрились они одинъ въ одномъ, что никому ихъ въ свѣтѣ не разъ увѣрить — и вотъ привелось такимъ случаемъ нечаяннымъ побывать у

пріятеля своего дорогаго! Катерина Логвиновна ото всѣхъ слышала (мужчины, кто изъ Сороковки бываютъ, всѣ говорятъ), что живетъ Алексѣй Леонтьевичъ прекраснѣйше и порядкомъ всякимъ у него въ домѣ не налюбуешься. Теперь пани-воеводша все увидѣла своими глазами и наиболѣе того. «Какіе покои барскіе!» осматривала она.... «Куда ни поворотись, такое тебя пріятство встрѣчаетъ. Коверъ по гостинной и занавѣски цвѣтами большими съ листьями; на картинки глаза разбѣгаются.... Умѣетъ мой пріятель родной пожить, какъ ему Богъ послалъ чѣмъ,» не завидуя, а можетъ быть, немножко вздыхая при мысли.... искренно радовалась довольству своего друга пани-воеводша. А что насчетъ чая—отвѣчала она:

— Такъ нѣтъ же, Алексѣй Леонтьевичъ! подружески вамъ сказать, какъ пріятелю: не люблю я разлитаго за глазами чая. Коли мое слово не противъ вашего станетъ, пожалуйте—велите, пусть намъ лучше сюда подадутъ. Людмила Павловна разольетъ намъ чай, и еще комната отъ самовара тепломъ пройдетъ.

— Безпокоить Людмилу Павловну.... безпокойно взглянулъ на диванъ Алексѣй Леонтьевичъ.

Разумѣется, та должна была отвѣчать: что какое же безпокойство? ей очень пріятно.

Приказано было подавать сюда чай и Мила сѣла разливать его. Она должна была пересѣсть на кресло передъ круглый столъ; мать заняла ея мѣсто на диванѣ; слѣва придвинулся понемногу къ столу Алексѣй Леонтьевичъ. Самоваръ, такъ славно примѣнившійся къ условіямъ русскаго быта, такой шипунъ, кипунъ — шипѣлъ и кипѣлъ; Алексѣй Леонтьевичъ отослалъ человѣка и взялся самъ прислуживать, что будетъ нужно. Показалось ему, что нужно опустить занавѣски, чтобы холодомъ не тянуло отъ оконъ на сидѣвшую Людмилу Павловну — и онъ опустилъ ихъ. Турка лапою отворилъ дверь изъ залы и сколько тамъ сильно ни шептали ему: «Турка! Турка! куда ты? Сюда, басурманъ!»

Но басурманъ, рослый и величавый, какъ только можетъ быть величава лягавая породистая собака, смѣло вошелъ и сталъ, поднявъ одну лапу, посреди гостинной. Онъ будто чуялъ незнакомую ему дичь.

— Ваша собака дѣлаетъ на насъ стойку, сказала Мила, находя неприличнымъ вовсе молчать и показывать хозяину, что дуешься на него въ его собственномъ домѣ.

Мила только хотѣла казаться чрезвычайно усталою, въ чемъ много было и правды — и оттого серьёзною и молчаливою; но на лицѣ само собою показывалось, что она была сильно разстроена и смущена. Она не-хотя, чуть улыбнулась своимъ словамъ.

— Вамъ, Людмила Павловна, можетъ быть непріятно? Я вышлю Турку, поднялся-было Алексѣй Леонтьевичъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, не безпокойте себя и никого изъ своихъ. Если кому не надобно здѣсь быть, то вѣрно не Турку.... Такъ его и зовутъ: Турка?—чтобы сказать еще нѣсколько словъ, спросила Мила:—Или онъ вѣроятно Турокъ?

— Нѣтъ-съ, Людмила Павловна, такъ онъ и есть Турка, отвѣчалъ Алексѣй Леонтьевичъ, чрезвычайно внимательный и какой вѣжливый! но тоже совсѣмъ серьёзный: такъ, что онъ ни подшутилъ, ни засмѣялся ни одного раза; говорилъ онъ умѣряя свой полный голосъ, и только Людмила Павловна не замѣчала, какая нѣжная забота владѣла имъ. — Видите-съ: Турка, продолжалъ Алексѣй Леонтьевичъ: когда я его досталъ, назывался Монплезиръ какой-то; а, Катерина Логвиновна, изволите помнить: когда батюшка изъ турецкаго похода пришелъ и собаку такую лягавую привелъ? Ее и прозвали Турка — вотъ, Людмила Павловна, я и своей далъ такую кличку Турка.

— Турка, машинально повторила Мила и довольна была, что могла замолчать, занявшись разливаньемъ чая.

Пани-воеводша съ Турки обратила разговоръ на своихъ овецъ, которыхъ она предполагала купить: и какъ, и почему она ихъ купила, и когда дѣло будетъ посылать за ними —

и что же вы, Алексѣй Леонтьевичъ, сигарку свою не курите? И закурилъ Алексѣй Леонтьевичъ сигарку, и затихалъ, выкипая, самоваръ. Мила разливала густой струею по чашкамъ чай и прекрасный его запахъ ласкалъ тонкое обоняньe Милы, когда она нечаянно подняла глаза и увидѣла противъ себя въ зеркалѣ всю прекрасно отразившуюся комнату съ затворенными дверьми, съ опущенными занавѣсками въ ихъ яркомъ узорѣ—чайный столъ, Алексѣя Леонтьевича, въ дыму сигары наклонившагося къ столу и себя, распоряжающуюся чаемъ, розовую, разогрѣвшуюся отъ самовара — въ маленькомъ чепчикѣ, который она, снимая шляпку, позабыла снять.... У Милы вся кровь прилила къ лицу. Вспыхнувъ, она устремила глаза на Алексѣя Леонтьевича, боясь и ожидая повстрѣчать его дерзкій взглядъ, готовая отразить его.... Мила не находила мысли на то чувство, которое волновало и оскорбляло ее.

— Вамъ что-то угодно, Людмила Павловна? съ тихой, предупредительной заботою спросилъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— Ничего.... Какъ однако становится тепло....

Мила спѣшила открыть свою молодую голову, свою дѣвичью косу и бросила чепчикъ на диванъ къ шляпкѣ.

Алексѣй Леонтьевичъ почти сейчасъ вышелъ на нѣсколько времени изъ комнаты.

— Какъ живетъ прекраснѣйше, Мила! сказала пани-воеводша.

— Я устала, маменька.

— Тебѣ говоришь одно, а ты другое.

Мила молчала.

Вошелъ Алексѣй Леонтьевичъ; приняли чай. Чтобы избавить себя какимъ-нибудь занятіемъ отъ участія въ общемъ разговорѣ, Мила подозвала Турку и начала ласкать его и разстилать у себя на колѣнахъ его атласистыя великолѣпныя уши. «Славный Турка!» говорила она, наклоняясь къ нему; но умный взглядъ животнаго искалъ ласки въ ея глазахъ и подозрительнѣе ревнивца слѣдилъ за каждымъ движеніемъ Милы.... Турка зарычалъ и отошелъ.

«Это совершенное несчастье!» думала Мила, оставаясь на краю дивана одна въ этой гостинной, гдѣ ей было тѣсно и душно, какъ никакому чижу въ его клѣткѣ. «И часа полтора ожидать ужина, ждать еще....» Но Мила не окончила мысленнаго перечня всего, что еще ей приходилось ждать.

— Людмила Павловна! всталъ къ ней на одинъ шагъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Извините меня ... смѣю предложить вамъ: вы изволили довольно устать.... Просить васъ обождать ужина — не смѣю. Какъ вамъ угодно? Можетъ быть, вамъ угодно послѣ дороги покой имѣть?

Мила обратила глаза по направленью взгляда Алексѣя Леонтьевича и встрѣтила въ противоположныхъ отъ залы дверяхъ свою Дашу, которая только что не присѣдала, рисуясь въ своемъ появленіи.

— Я вамъ благодарна, родной мой—Богъ видитъ, за безпокойствіе ваше, сказала пани-воеводша.—Она мнѣ только что жаловалась.... Поди, Мила. Здѣсь, знаете, дорога такая, съ ранняго утра ѣдемъ, дождь поливаетъ; а тутъ, помилуй Господи! перепугъ вѣдь: гайка-то наша!

— Я точно очень устала, сказала Мила, отказываясь отъ предлагаемой ей присылки ужина и она была почти за дверьми, когда пани-воеводша воротила ее и, по обычаю, перекрестила на сонъ грядущій.

— Слава Богу! Веди меня скорѣе, Даша, скорѣй! Затворяй плотнѣе за собою двери.... Куда? шепотомъ, торопливо говорила и спрашивала Мила, проходя узенькую изъ гостинной комнату. — Здѣсь, что ли?... Смотрѣла она на дверь прямо.

—Сюда-съ.... отвѣчала Даша, т. е. право, барышня-съ, мы здѣсь на удивленіе. Какія намъ, я вамъ скажу-съ, приготовленія....

— Прочь! прочь! — войдя въ комнату и сильно покраснѣвъ, заговорила Мила.—Съ чего ты взяла давать мнѣ все чужое? Подай мнѣ мое! Я не хочу другаго — слышишь? Я этого не хочу!

Дашѣ предстоялъ трудъ вновь убирать постель барышнѣ, развязывать свои дорожніе узлы; но она столько щебетала, восхваляла шелковое одѣяло, удивлялась, какъ это не хотѣть его? что надобно было удивляться, какъ Мила не отвѣчала ни слова. Но оказавъ довольно своей власти въ большемъ, она великодушно находила, что здѣсь достаточно невниманія.

— Готово-съ.

— Это еще что? спросила Мила, встрѣтивъ за легонькими ширмами на столикѣ банку съ вареньемъ и здѣсь же блюдечко и десертную ложку.

— Это-съ? спѣшила ей отвѣчать ея горничная... Алексѣй Леонтьевичъ спрашивали: можетъ быть, вы любите, отходя на сонъ, чѣмъ нибудь полакомиться? Я сказала, что очень любите-съ—что еще какъ мы у О-скихъ жили, старая барыня привезутъ, бывало, варенья или пирожковъ какихъ, я такъ приготовлю, чтобъ Англичанка рыжая своими аспидными глазками не видала и вы все съ Еленой Васильевною въ постеляхъ кушаете-съ.

— Но ты забыла вспомнить, что тамъ намъ почти ѣсть не давали? Съ ума ты сошла, Даша?

— Этого я, право, барышня, не знаю; только у насъ въ Сороковкѣ не по комъ и съ ума сойти—какъ бы здѣсь едва ли не обрѣла Даша этотъ интересный предметъ.

— Ну, Бога ради я тебя прошу, Даша! не слушала далѣе Людмила Павловна. — Если любишь меня, отдай это варенье тому, кто тебѣ его далъ; не трогай его! Пусть оно какъ было, такъ и примутъ его отъ меня. Я не хочу, чтобы думали, что я его ѣла.... Даша, пожалуйста! сдѣлай это для меня.

— И вотъ какъ-съ, барышня, сдѣлаю, отвѣчала съ паѳосомъ Даша.—Я оставлю ложку и блюдечко здѣсь, чтобы вы сами видѣли и понесу-съ банку; а уже руками, извините-съ, я по-мужичью не могу, извинялась съ достоинствомъ Даша.

Людмила Павловна хотѣла разомъ окончить всѣ эти мел-

кія тревоги, заснуть: но малѣйшій шорохъ за стѣною — что нибудь чуть уловимое слуху пробуждало все ея вниманіе. Какъ маленькія дѣти, думая избавиться отъ воображаемыхъ страховъ, натягиваютъ себѣ на голову одѣяло, такъ она прятала свою голову подъ подушку, чтобы ничего не слышать и съ этимъ вмѣстѣ напряженно прислушивалась: слышитъ ли она что-нибудь? точно ли она ничего не слышитъ? Она уловила всѣ малѣйшіе звуки, которые могли долетѣть къ ней, когда тамъ ужинали за тремя дверями: дребезжащій стукъ тарелки, металлическій звонъ ножа: одного голоса Алексѣя Леонтьевича Мила никакъ не могла различить, не подозрѣвая вовсе, что это онъ нарочно такъ умѣрялъ его, чтобы не обезпокоить сна.... И это напряженное бдѣніе почти столько же истомило Людмилу Павловну, какъ и всѣ случившіяся происшествія. Жизнь, съ недавняго времени, стала сильно сказываться ей своими мелкими волненіями, какой-то тревожащей мыслью безъ опредѣленной мысли—и Мила заснула только подъ шепотъ молитвы матери.

На другой день.... Мы такъ привыкли ко всему; а новый день? Кто можетъ сказать, что занимающійся лучезарный день вотъ *то* и *это* именно свершитъ и принесетъ намъ? Съ закатомъ солнца будемъ ли мы неизмѣнно тѣ же и все наше въ насъ то же, чѣмъ мы были и что было въ насъ при его восходѣ?...

Но новый сіяющій день довольно долго не свѣтилъ тихому пробужденью Милы. Она спала, какъ спятъ отъ усталости, послѣ дороги и безпокойствъ, не слишкомъ заботясь о наступающемъ днѣ, который что особеннаго можетъ принести имъ? Такъ думаютъ. — Но послѣднее не примѣнялось къ Милѣ. Она была очень озабочена просіявшимъ ей въ открытыя окна днемъ. «Что это? Можно ли не разбудить?» говорила она. «И маменька оставила, ушла, — гдѣ же маменька?» спрашивала она Дашу. Отвѣтъ былъ: что

онѣ накушались чаю и пошли осматривать хозяйство съ Алексѣемъ Леонтьевичемъ. «Какъ же ты не разбудила меня? спрашивала барышня. Но Даша открыто извинялась своей совѣстливостію: что Алексѣй Леонтьевичъ, уходя, такъ ее просили не безпокоить, оставить почивать, пока барышня сами проснутся, что Дашѣ совѣстно было не исполнить, когда насъ такъ просятъ. «А для меня ты забыла оставить сколько нибудь твоей совѣстливости?» спѣшила Мила одѣться, чтобы, по возвратѣ съ хозяйственнаго осмотра, не застали ее неготовою.

— Можно ли такъ заспаться? На что это похоже? Какъ будто я рада, что расположилась здѣсь? вошла она, тихая и розовая въ гостиную....

Никого не было; лежала ея шляпка на диванѣ и на столѣ готовъ былъ весь чайный приборъ, бѣлый хлѣбъ и сливки. За самоваромъ видно заботливо слѣдили, потому что онъ кипѣлъ, какъ сей часъ поданный.

— Дашенька! воротилась назадъ Людмила Павловна.—Бога ради, скажи, чтобы все принимали — я не хочу, ничего не хочу! Мила не пошла далѣе той узенькой комнаты, которая находилась передъ гостиною.

Здѣсь во всю стѣну подъ окномъ, выходившимъ въ садъ, былъ устроенъ турецкій диванъ съ подушками на обѣ боковыя стѣны, у дивана разостланъ грузинскій пестрый коверъ и два кресла по сторонамъ — болѣе и стола не было. Но еще меньшимъ въ два раза была бы совершенно довольна Мила.

Нельзя было налюбоваться ея тихой женственной прелестію. Что вчера волновало ее такъ гнѣвно, то на утро въ чувствѣ души осталось тоже. Но тонкій инстинктъ женственности, вызванный обиднымъ, страннымъ положеніемъ Милы, утративъ въ ней вчерашнюю рѣзкость и порывы, несравненно полнѣе, тонѣе, какъ бы какимъ паромъ обливалъ всю ея милую граціозную особу. Людмила Павловна тихо ступала, съ нѣжной робостію будто сторонясь отъ всего;

никуда она не смотрѣла своимъ застѣнчивымъ, не любопытствующимъ взглядомъ. Нѣжно розовенькая, съ полуоткрытыми рдѣющими губками, которыя ежеминутно какъ бы хотѣли что-то сказать и въ прозрачномъ смущеніи не сходило съ нихъ кроткое слово — Мила была, какъ никогда ей не удавалось быть милѣе. Въ простенькомъ холстинковомъ платьѣ сидѣла она на турецкомъ диванѣ, легко касаясь его, такою тихою, доброю Милою,—какъ бы она затаилась въ уголокъ ото всего міра и немножко она здѣсь размышляетъ....

Если бы окно въ садъ не было открыто, Людмила Павловна не коснулась бы его своей рукою. (Пусть все, что ни есть вокругъ нея, остается, какъ оно есть. Она не даетъ себѣ права подвинуть въ этомъ домѣ стулъ хотя на волосъ.) Но въ открытое не ею окно, на нее сильно вѣяло майское послѣднее утро, пропитанное вчерашнимъ ливнемъ, еще съ грядами тучъ, какъ рамою, по краямъ горизонта; но весь глубокій куполъ неба сіялъ своею чистотою.

Мила совсѣмъ оборотилась къ окну и подперлась на него рукой. Этотъ садъ, котораго шумъ лѣсной она вчера слышала, помятый миновавшей бурею, обронивъ нѣсколько вѣтвей и осыпавъ много листа, не колыхаясь теперь, стоялъ темный, съ просвѣтами какъ пятнами, западающими въ его глубокую сѣнь—чудо садъ! совсѣмъ задичалый, безъ изнѣженныхъ цвѣтовъ—коренастые, порѣпавшіеся стволы да пни безъ коры, да вѣтви какъ стволы и тучами листья!

«Что за видъ долженъ былъ быть вчера, подъ бурею, когда расколыхался садъ по всему своему широкому склону!» думала Мила, слѣдя за мощной игрою дневнаго лучезарнаго блеска по зазубринамъ отклонившихся вѣтвей, недвижныхъ и безшелестныхъ, какъ очарованныхъ подъ тихою красотою утра.... И это очарованіе блеска солнца вошло невыразимо въ душу Милы; задумала ее могучая игра жизни въ его лучахъ....

.....подъ яснымъ блескомъ солнца....
Здѣсь человѣкъ, живымъ влекомый чувствомъ,
Игралище всесильнаго мгновенья!

Людмила Павловна все чутко слышала въ своей душѣ и въ тихомъ домѣ, и по налегшей тишинѣ надъ мощнымъ зеленымъ садомъ — все чуть слышимое она какъ бы осязала его. Въ душѣ у нея была какая-то тихая прозрачность, какъ поверхность яснаго озера, ждущая серебрянаго удара весла, чтобы съ легкими брызгами разсѣчь ее и указать ея свѣтлую, открывшуюся глубину. Въ саду у самыхъ оконъ и совсѣмъ заплѣненнаго лѣсными кустами балкона, свиристѣли маленькія сѣренькія птички съ острыми ноготками. Цѣпляясь за молодые паросли, онѣ роняли свою меленькую живую трель; а по дому все было тихо полною жизненною тишиною рабочаго утра.... Но вотъ, наконецъ, что-то заслышала Мила, провела рукою по лбу и немножко заслонила ею глаза. Но она сейчасъ открыто смотрѣла ими съ тѣмъ же мягко застѣнчивымъ взглядомъ, но встрѣчающимъ съ достоинствомъ, что такое ему хочетъ явиться? когда на порогѣ изъ гостиной появился Алексѣй Леонтьевичъ.

— Съ добрымъ днемъ, Людмила Павловна, будьте здоровы.

— Здравствуйте... не назвала по имени Мила. — И прекрасный день послѣ вчерашняго.

— Сыро еще очень. Не вредно ли будетъ, что окно.... хотѣлъ притворить....

— Нѣтъ, оставьте; я не боюсь простуды. — Извините, что я на первомъ словѣ, сей часъ же предлагаю вамъ два вопроса.

— Сколько вамъ угодно, Людмила Павловна,—совсѣмъ вошелъ въ эту узкую комнату и сѣлъ въ кресло у дивана Алексѣй Леонтьевичъ.... Сдѣлайте ваше одолженіе.

— Первое: куда вы дѣвали мою маменьку? Я слышала, что она пошла съ вами; а потомъ—гайка Алексѣй Леонтьевичъ? смотрѣла въ окно Мила.

И Алексѣй Леонтьевичъ, кажется, радъ былъ душевно, что она на него не смотрѣла: потому что онъ самъ такъ смотрѣлъ на эту милоотворотившуюся отъ него головку, хотѣвшую немножко улыбнуться при словѣ: гайка и за-

краснѣвшуюся, поворотившую на вѣтеръ свои вспыхнувшія румяныя щечки.

Мила, не получая вдругъ отвѣта, оборотилась.

— Съ маменькою вашей, Людмила Павловна, мы обошли все мое хозяйство, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ,—были на пасѣкѣ съ (а пасѣка моя вонъ за садомъ подъ горою, гдѣ дымокъ выходитъ); я же пошелъ сюда, мнѣ нужно было распорядиться; а тамъ рой началъ выходить—маменька ваша осталася.

— А другое? тихо спросила Мила.

— Другое? Все идетъ, какъ слѣдуетъ; не безпокойтесь, куютъ. Я самъ чуть-свѣтъ былъ два раза въ кузнѣ.

— Но если вы сами рано такъ безпокоились, то уже должно быть готово?

— Не совсѣмъ, Людмила Павловна. Сдѣлаютъ одну гайку, легко можетъ быть другая спадетъ: такъ позвольте, пусть всѣ четыре сдѣлаютъ.

Замолчала Мила.

— Какъ хорошъ вашъ садъ!

— Скучный, Людмила Павловна.

— Это грѣхъ про него сказать.

— Задичалъ, какъ старый хо остякъ. Заниматься я имъ не занимаюсь, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ—не для чего. Гулять по немъ у меня некому; самъ я каждый день въ полѣ нагуляюсь. Лѣто пройдетъ, я и разъ пять въ него не загляну.

— Но не для одной прогулки—какъ отсюда далеко ваша пасѣка! не видно, чтобы маменька шла, смотрѣла Мила—развѣ здѣсь нельзя бы было почему стоять вашей пасѣкѣ?

— Не настоящее мѣсто для пасѣки, Людмила Павловна.

— Этотъ садъ не мѣсто? немножко удивилась Мила.

— Да-съ; разросся не въ мѣру, теменъ — пчела въ немъ будетъ лѣнивая: не видя солнца, засыпаться будетъ, не рано вставать и рано въ улей садиться.

— Я полагала, что я по крайней мѣрѣ одно знаю въ хо-

зяйствѣ, съ наивной искренностію сказала Мила:—что пчела уже непремѣнно любить лѣсъ; а выходитъ, что я того не знала: какой лѣсъ?

— Не знаете вы одного, такъ много знаете другаго — это все равно. Всякой свое знаетъ, что ему Богъ далъ.

— А маменьки нѣтъ.... сказала Мила.

— Я разумѣю, Людмила Павловна, въ чемъ остановка, или задержка есть: роевъ много стало выходить. Вчера былъ день пасмурный и сегодня имъ ходъ большой — такъ и занялась Катерина Логвиновна. Это же ея такое любимѣйшее занятіе.

—Кажется, оно и ваше тоже, Алексѣй Леонтьевичъ? Безъ сомнѣнія, вы желаете быть при томъ, какъ рои выходятъ и маменька тамъ.... Сдѣлайте одолженіе, не стѣсняйте себя нимало ради меня. У меня есть книга и работа, я займусь.

— То есть Людмила Павловна, это выходитъ такъ: чтобы я шелъ себѣ подальше.

Мила замялась въ отвѣтъ на минуту.

— Я не буду понимать смысла вашихъ словъ, Алексѣй Леонтьевичъ, сказала она:—и очень жаль, что вы его нашли въ моихъ словахъ. Я просто предлагала вамъ: если угодно, пойти на вашу пасѣку и маменька же тамъ — вамъ будетъ гораздо пріятнѣе. Мы васъ такъ странно, тяжело обезпокоили, что по крайней мѣрѣ въ отношеніи себя собственно, я хотѣла бы избавить васъ отъ церемоніи заниматься мной, какъ настоящей гостьей.

— Людмила Павловна! а если вмѣсто церемоніи здѣсь вся моя душа? Я Бога милосердаго не знаю, какъ благодарить, что Онъ меня привелъ видѣть васъ въ моемъ домѣ—какой же мнѣ болѣе еще дорогой гостьи ждать?

— Повѣрьте, что маменька.... я, Алексѣй Леонтьевичъ.... мы (перебирала слова, какъ клавиши, прежде нежели сказала Мила) — что въ свою очередь онѣ чрезвычайно благодарны останутся навсегда, что Алексѣй Леонтьевичъ не принялъ за большой трудъ....

— Что такое, Людмила Павловна?

— Все, чѣмъ—я говорю—мы обезпокоили васъ.

— Вамъ угодно повторять.... замолкъ на этомъ словѣ Алексѣй Леонтьевичъ.—Людмила Павловна! бываетъ такой часъ съ человѣкомъ, какъ будто самъ Богъ его за руку приводитъ на него... Такъ и меня будто Онъ привелъ къ такому великому часу.

— Я не понимаю васъ, Алексѣй Леонтьевичъ! И вамъ не зачѣмъ говорить мнѣ объ этомъ. Всякой нашъ часъ, мы знаемъ, что онъ въ рукѣ Божіей!

— Пусть же и мой будетъ въ Его святой рукѣ!.... Людмила Павловна! хотя вы изволите знать, о чемъ такомъ я говорю вамъ — думаю говорить; но мое дѣло не хорониться при такомъ разѣ, а сказать вамъ честно и прямо....

— Но это не честно и не благородно, Алексѣй Леонтьевичъ!—выросла на мѣстѣ въ пылкомъ негодованіи Мила; говорить мнѣ въ вашемъ домѣ, куда я приведена такимъ случаемъ.... Вамъ стыдно! Вы, стало, думаете, что это даетъ вамъ право—что меня можно заставить выслушивать теперь, хочу ли я, или не хочу того!

— Богъ съ вами, Людмила Павловна! Успокойтесь, родная. Ничего у меня такого и въ головѣ не было. Просто я началъ, какъ говорится: что за хозяина въ домѣ и углы его говорятъ—выслушайте меня.

Въ голосѣ убѣдительномъ Алексѣя Леонтьевича, въ чудесной простотѣ его была правдивость неотразимая, въ этомъ словѣ: *родная*—такая искренность сердца, что Мила сама не понимала, какъ это вдругъ въ ней все утихло.

— Что мнѣ выслушивать, Алексѣй Леонтьевичъ? сказала она съ застѣнчивой добротою необходимости выговорить непріятное, тяжелое слушателю.... Я уже слышала разъ. Избавьте себя и меня.

— Нѣтъ, Людмила Павловна: по воду простая женщина ходитъ въ день сколько разъ; а то человѣку не хотѣть попытать дважды своего счастья? Не стоилъ бы онъ и

счастья!.. Отказали вы мнѣ разъ и правы были;—не начинать бы было такимъ образомъ. Я все матушкѣ вашей разсказывалъ, какъ оно случилося, какъ на грѣхъ какой сталось.... но теперь—всталъ Алексѣй Леонтьевичъ—я передъ вами всей душою и своимъ лицомъ, Людмила Павловна, не посла шлю. Богъ милосердый велѣлъ человѣку искать себѣ жену по сердцу—Людмила Павловна! я человѣкъ не молодой, но и не старый—простой, не злой человѣкъ; честность и Богъ у меня въ душѣ есть—угодно вамъ пожаловать меня великимъ счастьемъ: быть мнѣ по сердцу дорогой, милой моей женою, Людмила Павловна?

— Алексѣй Леонтьевичъ! я, право.... выслушайте меня ... бралась за голову Мила, смятенная и что сказать, и какъ отказать не находила.... Благодарить васъ за честь, которую вы мнѣ оказываете, я васъ искренно, отъ души моей благодарю! Я даже готова радоваться этому случаю, что онъ мнѣ даетъ возможность извиниться передъ вами въ томъ вѣтреномъ, пустомъ словѣ, которое, я увѣрена, вы мнѣ простили: потому что я чувствую, что вы очень добры; но, Алексѣй Леонтьевичъ, чтобы вы сами увидѣли, убѣдились—позвольте вамъ немного показать... . (Мила говорила совершенно искренно, одушевленно, съ маленькой остановкою, чтобы легче выразить то, что могло быть жестокаго въ ея словѣ) тамъ ли вы ищете, Алексѣй Леонтьевичъ, гдѣ бы вы могли найти ваше достойное счастье?

— А почему же не тамъ, Людмила Павловна?

— Потому.... потому наконецъ, Алексѣй Леонтьевичъ, что вы вправѣ ожидать отъ жены, которую вы изберете себѣ, всего, чѣмъ вы богаты сами—тѣхъ положительныхъ, прекрасныхъ достоинствъ, которыхъ у меня вовсе нѣтъ.

— А развѣ я не могъ бы подѣлиться, Людмила Павловна, съ вами, коли у меня ихъ такъ много?

— Вы очень добры, немножко лукаво отвѣчала Мила. Но, безъ сомнѣнія, вы хотите имѣть очень разумную, хорошую хозяйку, которая бы вполнѣ согласовалась съ вами—

умѣла бы не только сохранять ваши интересы, но и сама еще, можетъ быть, сильно работать въ нихъ;—я вовсе не хозяйлива, Алексѣй Леонтьевичъ! У меня ничего нѣтъ такого, что вы имѣете полное право цѣнить: я не умѣю ни считать по пасмамъ талекъ, ни разбирать ихъ. Не умѣю дѣлать никакихъ настоекъ—ни сушить, ни солить грибовъ.... я даже ихъ не ѣмъ, Алексѣй Леонтьевичъ!

— Такъ я все это умѣю, Людмила Павловна, и грибы охотно ѣмъ, разсмѣялся Алексѣй Леонтьевичъ, и Мила, какъ ни силилась не улыбаться, а улыбнулась при исчисленіи своихъ несовершенствъ.... Но вамъ еще что-то угодно мнѣ сказать? Говорите же, Людмила Павловна; а послѣ уже позвольте, я буду говорить.

— Ничего, сказала Мила, я только хотѣла замѣтить на ваши слова: что тѣмъ, кажется, хуже для жены, если мужъ все будетъ знать, а она—ничего.

— А почему, позвольте спросить, хуже, а не лучше оно: что мужъ будетъ лелѣять и покоить....

— И примется учить, Алексѣй Леонтьевичъ.... Позвольте мнѣ, я немножко подумаю. Я хорошо понимаю эту мысль; но какъ бы прямѣе ее выразить?.... Будемте говорить такъ: хотя бы вы, Алексѣй Леонтьевичъ—по добротѣ своей, вы сейчасъ начнете учить меня и, безъ сомнѣнія, примитесь за это очень ревностно. Я не говорю, чтобы я вовсе не захотѣла понимать васъ; но всякій новый предметъ—его такъ трудно обнять съ перваго раза и такой еще не слишкомъ интересный—хозяйство....

.... И за чѣмъ вамъ Алексѣй Леонтьевичъ! говорила Мила такимъ прекраснымъ тономъ разсудительности и искренности, съ примѣсью немножко, вы сами увидите чего—зачѣмъ вамъ, въ ваши покойныя лѣта, хотѣть принимать на себя этотъ трудъ ученья? Вы сами создали себѣ очень выгодное, прекрасное положеніе, обладаете хорошими средствами, вамъ стоитъ только захотѣть, и вы получите все готовое и лучшее.... Вотъ, Настенька Алешкова — прекрасная хозяйка! и

она же съ дѣтства пользовалась вашимъ замѣтнымъ расположеніемъ. Что я передъ нею? Ничего болѣе, какъ слабый, изнѣженный ребенокъ и еще съ маленькимъ капризомъ, Алексѣй Леонтьевичъ: не хотѣть вовсе, чтобы взрослые считали его такимъ и думали играть съ нимъ, какъ съ своею куклой.... Алексѣй Леонтьевичъ! я должна слишкомъ уважать васъ, чтобы сказать то, что я говорю: есть пора надеждъ и стремленій сердца и пора разсудка, — позвольте мнѣ надѣяться, что я еще въ той порѣ, когда могу вступить въ домъ, не потому только, что тамъ недостаетъ хозяйки, а что меня призоветъ туда другое, болѣе высокое чувство того, кто пожелаетъ назвать меня своей женою.... Я все кончила.

— И теперь мнѣ начинать, Людмила Павловна.... Такъ это вы думаете, что я такъ только,—подперся на колѣно рукою Алексѣй Леонтьевичъ: чтобы запастися на старость женой и чтобы хозяйка у меня въ домѣ была, пристаю къ вамъ? На что мнѣ, Людмила Павловна, хозяйка, когда я самъ не лѣнивъ, не то за двухъ, за трехъ схозяйничаю, да вотъ душа счастья проситъ... Вы, можетъ быть, думаете: гдѣ ему, неучу такому, полюбить меня? Онъ и что любовь-то есть не понимаетъ!...

— Алексѣй Леонтьевичъ! я никогда такъ не думала, сказала Мила.

— Покорно васъ благодарю, коли вы не думали.

— Но развѣ вы?... Это въ самомъ дѣлѣ?... мягкимъ, неопредѣленнымъ шепотомъ выговаривала Мила....

— Людмила Павловна! спросите прямо: любилъ-ли я васъ? И я вамъ скажу: ей Богу, любилъ и по сію минуту душа моя не нарадуется на васъ.... Я вамъ все разскажу, — некуда было подвигать кресла, но Алексѣй Леонтьевичъ двинулъ его къ дивану.—Это я васъ, Людмила Павловна, въ жизнь свою—другую люблю.

— Другую! это очень любопытно, вмигъ обнаружилась

полной женщиною Мила. — Кому же это вы измѣнили, Алексѣй Леонтьевичъ, ради меня? Не Настенькѣ-ли?

— Никому я не измѣнялъ, Людмила Павловна. Вы знаете мою жизнь трудовую, какъ я начиналъ ее,—серьёзно, съ правотою мысли и чувства видно было, что говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ —Давно было, Людмила Павловна. Душа моя безъ закрышки передъ вами и посмѣетесь вы—воля ваша. Любилъ я—и какъ оно, то есть, чудно со мною сталося.... Былъ я въ первый разъ на Дону, извѣстно вамъ по какимъ своимъ причинамъ; человѣкъ новый и молодой я еще тогда былъ; ѣду степью верхомъ и самъ я, такъ сказать, не знаю, куда ѣду. Сказали мнѣ, что по хуторкамъ можно товара скупить. Забѣлѣлось мнѣ и сверкнуло озерцо вдали; выѣзжаю я широкой балкою—и домикъ стоитъ, и такой себѣ тихенькій хуторочекъ въ двѣ хатки пріютился надъ озерцомъ! Лошадь ходитъ недалеко по лужку и заржала ко мнѣ, и больше никого не вижу, ни души. Заѣхалъ я съ задней стороны поселка, подъѣзжаю къ озерцу, камень большой положенъ съ берега, лежитъ, чтобы видно хорошо было мыться; напоилъ я съ камня лошадь и здѣсь же закинулъ поводья за лозовый кустъ — иду, направился къ дому; выхожу изъ-за угла къ крылечку.... а на крыльцѣ сидитъ женщина-казачка, какъ всѣ онѣ ходятъ, въ пестромъ колпачкѣ, наклонилась, закрыла себѣ глаза бѣлой рукою и такъ она плачетъ, такимъ слезами льется, что, Людмила Павловна, я вамъ и сказать не могу!

Не говорилъ съ минуту Алексѣй Леонтьевичъ.

— Стою я передъ нею и она ничего не видитъ, не слышитъ; плачетъ, не переставая, не отнимаетъ руки отъ лица; упала она себѣ почти на колѣна; руки такія бѣлыя, на обѣихъ ихъ серебряныя, что казачки носятъ, запястья узорныя; во всемъ она шелковомъ и все-то ей не на радость, плачетъ, какъ словно съ душой разстается! Не знаю, какъ я ей то слово вымолвилъ: что нѣту ли у нихъ скота про-

дажнаго? Она, ничего не говоря мнѣ, только подняла руку и махнула ею мнѣ: «ступай дескать, иди, человѣкъ добрый! Не трогай меня!» И залилась еще пуще слезами.... У меня, Людмила Павловна, свѣтъ въ глазахъ заступился. Господи! Красота какая и слезы такія горькія—о чемъ она и плачетъ? Стою я и не знаю, куда идти; да уже конь заржалъ, такъ я будто пробудился. Иду отъ нея и ноги меня не несутъ, останавливаюсь поглядѣть—она все плачетъ, закрываясь рукою, и поѣхалъ я, гляжу назадъ — сидитъ на крылечкѣ и плачетъ; и не видать мнѣ стало ея, воротился я съ дороги, она не переставаючи, не глядитъ на свѣтъ Божій и плачетъ.... И будто всю душу мою взяли эти слезы! Разспрашивать о ней некого. Ничего я не узналъ. Годъ прошелъ, не позабуду ея; гдѣ бы я ни былъ, чтобы я такого ни дѣлалъ—сидитъ казачка передо мною и плачетъ, машетъ мнѣ рукой. На другой годъ, вошелъ я съ Скорняковымъ въ часть воловъ купить; поѣхалъ я и тянетъ меня, силою тянетъ понавѣдаться въ тѣ мѣста: что тамъ такое? «Неужто и теперь плачетъ она?» думаю, и ѣду я, Людмила Павловна, не доѣду. Пріѣхалъ на радость: пустъ хуторочекъ, не живутъ въ немъ; покинуто все. Озерцо-то будто на лужокъ расплескалося, поопросло осокой оно; изъ домика окна повынуты и аистъ на немъ гнѣздо свилъ. Въѣхалъ я въ дичь такую непочатую! лошадь моя по высокому бурьяну шерохается; прошелся я вокругъ—ни, ни, ничего! На крылечко солнце яркое свѣтитъ, да гадина степная ползетъ.... Воротился я къ своему коню, припалъ ему на гриву, распростился. Цвѣтите вы, цвѣты алые, гдѣ плакали ея слезы горькія!. Вотъ такая, Людмила Павловна, моя любовь была: безъ счастья себѣ, безъ доли, безпривѣтная, безотвѣтная! только душу молодую какъ въ полонъ заплѣнила и радостью ни единой не подарила. Тосковалъ я года три съ нею.

Многое, очень многое чувствовалось Милѣ подъ этотъ простой и сильный разсказъ любви, заронившейся въ душу слезою и ничего не принесшей, кромѣ слезы. Но между

всѣмъ этимъ у Людмилы Павловны мелькала мысль: что Сороковка же не вовсе неправа была, какъ ходили слухи; была казачка въ жизни Алексѣя Леонтьевича, только не совсѣмъ такъ, какъ о ней говорили.

— Вы кончили? тихо отозвалась Мила.

— Кончилъ, Людмила Павловна.... Заплѣнили меня эти слезы, что я за ними свѣта Божьяго не видѣлъ; работалъ и отдыха мнѣ не было. Наработался я вдоволь и нѣтъ того приволья душѣ, какъ оно думалось: какъ вотъ то и другое получу я, что то легко и хорошо мнѣ будетъ! И неправда все вышло, Людмила Павловна, и скука въ тому такая пришла! Получилъ я вчетверо больше, чѣмъ я желалъ, и всего у меня довольно стало, да счастья не попало.... И т. е. Людмила Павловна, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ: что это въ человѣкѣ дѣется такое, только Бога гнѣвить. Недовольство у меня такое зародилося, что все мнѣ и вполовину не мило. Кажется, такъ бы вотъ и воротилъ горемычные тѣ года, какъ съ одною тысячею я бился и въ степи подъ повозкою спалъ! Кажись, тамъ-то и настоящая жизнь была и счастье было, что такого теперь гдѣ-то его и взять? Смотрю я: и жениться бы мнѣ пора, волосъ сѣдой пробивается; да какъ же такъ я женюсь, мудреное дѣло: сидѣлъ человѣкъ, всталъ да и женился, какъ воды напился? Не приберу я себѣ по сердцу желанной... Что-жъ, хотя и Настенька? Всѣмъ она дѣвушка хорошая, ни въ чемъ ее покорить нельзя; какъ словно она меньшая сестра мнѣ, такъ я ее ото всей души люблю; да не то оно, не ладится къ сердцу. Ну, мы и женимся, что же здѣсь лучшаго-то, хорошаго выйдетъ? Она будетъ хозяйничать и я буду хозяйничать, и все у насъ одно и то же хозяйство—прахъ его бери, оно мнѣ и одному надоѣло!

И замолчалъ Алексѣй Леонтьевичъ; махнулъ онъ рукой задумался немного и точно будто что хорошее душу ему повеселило; такъ у него отсвѣтомъ какимъ-то радостнымъ, яснымъ заиграло лицо.

— Какъ увидѣлъ я васъ самое-первое въ церкви, Людмила Павловна, заговорилъ онъ. Вхожу въ Храмъ Божій, поютъ: *аллилуйя, аллилуйя!* помолился я святымъ образамъ... нѣтъ! такъ меня будто и тянетъ посмотрѣть въ сторону. Взглянулъ —Господи, Боже мой! думаю: что оно, такое худенькое, бѣленькое, показывается такое легонькое, что на одной рукѣ его за тридевять земель занесешь; а поглядишь — сердце не на мѣстѣ!... И глядѣлъ я на васъ, Людмила Павловна, долго глядѣлъ; глазъ моихъ не отведу и такъ оно показалось мнѣ: вотъ-то моя голубка бѣлая припорхнула! Вотъ она, суженая моя, желанная, здорова была! Стоялъ я передъ намѣстнымъ образомъ Спасителя и поднялъ къ Нему глаза, молюсь въ душѣ: «Господи, Царю мой! далъ Ты мнѣ волы и козлы, и вся скоты польскіе, возьми всего на половину, только пожалуй мнѣ эту бѣленькую»... Я бы за васъ, Людмила Павловна, и все до послѣдняго отдалъ, ъно чтобы было чѣмъ лелѣять васъ, молилъ у Бога милосердаго оставить мнѣ половинку.... А! Людмила Павловна! не переставалъ говорить Алексѣй Леонтьевичъ: человѣкъ я неученый, не могу вамъ разсказать того, какъ-то вдругъ мнѣ легко и хорошо безо всего на сердцѣ стало и все мнѣ милое такое у Бога на свѣтѣ показалось! А какъ я заговорилъ съ вами, да вы улыбнулись мнѣ, такъ мнѣ будто солнце какое другое съ неба объявилося, лучи свои показало и самъ я пріѣхалъ домой, все себѣ улыбаюсь, не знаю чего. И повидать-то мнѣ васъ, послушать, какъ вы слово тамъ ваше маленькое скажете, такъ это мнѣ счастіе полное! И сытъ я, доволенъ, какъ будто обутъ, одѣтъ имъ, весело хожу. По хозяйству всему ревность ко мнѣ такая приступила; точно будто я все вновь начинаю, готовлю; для васъ бы это я все готовилъ, Людмила Павловна; думка у меня такая жила!..

А какая думка жила у Милы, когда она, не поднимая вовсе глазъ на Алексѣя Леонтьевича, но оборотивъ къ нему

свое нѣжное лицо, разцвѣтающее краскою и живымъ волненіемъ, слушала его и не прерывала?

— Заѣзжаетъ ко мнѣ, Людмила Павловна, нашъ предводитель, истинно хорошій человѣкъ. При большомъ собраньи посмотрѣть на него, такъ видно, что—человѣкъ; а когда одинъ съ нимъ останешься, онъ еще лучше. Сидимъ мы вотъ именно здѣсь съ нимъ, сигары закурили. «Хорошо у васъ все—очень хорошо, говоритъ онъ мнѣ; да одно не хорошо,—отчего я не женюсь?» спрашиваетъ. Я ему и объявляю, Людмила Павловна, что и какъ. Все о васъ въ подробности разсказалъ ему. Выслушалъ онъ меня внимательно до конца и говоритъ: «Дай Богъ, Алексѣй Леонтьевичъ; только —говоритъ — послушайтесь моего совѣта: ведите вы это дѣло скорѣе, не откладывайте. Эти молоденькія дѣвушки (извините, Людмила Павловна), говоритъ, на первыхъ порахъ имъ только бы чепчикъ поскорѣе надѣть; но что послѣ — дѣвушки, говоритъ, не смотрятъ на насъ нашими глазами и до разныхъ нашихъ достоинствъ имъ дѣла нѣтъ»... У меня, Людмила Павловна, передъ вами и достоинствъ никакихъ нѣтъ; но, т. е. онъ меня въ такую тревогу и сомнѣніе привелъ. «Спѣшите», говоритъ... Только онъ уѣхалъ, я вслѣдъ ему велѣлъ запрягать лошадей, ѣду, совсѣмъ готовъ вашей матушкѣ предложеніе сдѣлать; но увидѣлъ я васъ, Людмила Павловна, и посмотрѣлъ на вашу улыбку, такъ мнѣ будто показалось, что я и васъ хочу украсть и улыбку эту милую у васъ украсть.... «Не хочу!» сказалъ я самъ себѣ. «Пусть будетъ, что Богъ дастъ, не хочу я неправаго счастья.» И такъ я положилъ себѣ, Людмила Павловна: коли не будетъ находиться вамъ другаго жениха, не сватать и мнѣ васъ, пока годъ минетъ: чтобы вы, моя голубка бѣлая, подъ крылышкомъ матери родной осмотрѣлися, обозналися и, коли быть счастью, чтобъ было оно вольной волею, разумомъ и охотою.

Мила тихо поднялась.

—Куда же вы это идете? Что я вамъ здѣсь разобиднаго такого сказалъ, что вы и дослушать меня не хотите? огорчился сильно Алексѣй Леонтьевичъ.

—Я васъ слушаю, тихо и внятно сказала Мила и опять сѣла на диванъ.

—Я васъ цѣлый годъ не сваталъ,—не чувствовалъ самъ, какъ пересѣлъ тоже на диванъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Вы теперь не дитя молодое; вы какъ есть въ полномъ разумѣ и въ своей волѣ, готовящаяся быть жена молодая человѣку, кому Богъ васъ судилъ на святое счастье: разсудите вы теперь долю мою. Люблю я васъ, Людмила Павловна, то есть, такъ люблю, какъ больше любить пусть любятъ васъ Божьи ангелы!... Да взгляните же вы на меня! Посмотрите вы, какъ человѣкъ на васъ не насмотрится, не налюбуется.... Людмила Павловна! мнѣ будто мой домъ просіялъ съ тѣхъ поръ, какъ вы вошли въ него, — не выходите, моя заря ясная, моя прекрасная!... Богъ вамъ судья, Людмила Павловна! а коли идти, берите за собою и мое счастье: не вы, такъ никто! Жилъ и свѣкую бобылемъ. Дорогая моя!... И словъ для васъ нѣту... полюбите вы теперь немножко меня; а послѣ, я знаю, вы меня полюбите... Людмила Павловна! разсудите же вы судьбу мою...

Мила почти вздрогнула; и тогда, когда она поднялась съ дивана, она вовсе не хотѣла уходить, а это было внутреннее сильное движеніе, невольно сказавшееся движеньемъ наружнымъ. Мила какъ бы ступила шагъ впередъ по невидимому пути и послѣ, можетъ быть, во избѣжаніе, чтобы ея руки не очутились неожиданно въ жаркой сильной рукѣ, она оперлась ими обѣими на подоконникъ и скрыла въ нихъ свое лицо, когда вопросъ Алексѣя Леонтьевича раздался у нея почти надъ самымъ ухомъ.

Мила осталась, какъ бы неподвижною, прижимая сильнѣе руки къ своей головѣ.

Проходила не одна минута, а двѣ, три... пять минутъ проходило нерѣшительности и полнаго молчанія.

— Людмила Павловна, разсудите же вы судьбу мою.

— Алексѣй Леонтьевичъ! у меня все звенитъ въ ушахъ; я едва ли что понимаю,—почти сквозь слезы проговорила Мила.... Я слышу, къ вамъ ѣдутъ.... къ вамъ кто-то пріѣхалъ, живо сказала она.

И точно съ двора пронесся стукъ колесъ и громко заржала лошадь.

— Это я знаю: Скорнякова лошадь ржетъ. Что же, Людмила Павловна? говорите, рѣшайте.

Мила сжала руки, такъ что онѣ у нея слегка по суставамъ хрустнули.

— Къ вамъ идутъ, Алексѣй Леонтьевичъ.... пришли въ залу. Подите.... дайте мнѣ.... я подумаю.... послѣ....

— Не пойду, Людмила Павловна!—Алексѣй Леонтьевичъ притворилъ дверь изъ гостинной въ комнатку.

Напрасно посѣтитель въ залѣ легонько покашливалъ и мѣрно расхаживалъ, видимо вызывая къ себѣ хозяина. «Не пойду, Людмила Павловна», говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ. «Пока не узнаю судьбы своей, не пойду!»

Мила, припавъ у окна на одну руку, хотѣла было что-то сказать; но сильная краска, жарко выступающая, и слезы не давали ей вымолвить слова. Алексѣй Леонтьевичъ, вставшій, чтобы затворить дверь, сѣлъ къ ней на диванъ.

— О чемъ же вы плачете? отъ какого горя? взялъ онъ другую ея руку.—Мнѣ горе, Людмила Павловна,—поднесъ онъ ея руку къ своимъ влажнымъ глазамъ;—а вамъ то что? Не плачьте; сердца не надрывайте.

Мила сильнѣе плакала.

— Грѣхъ, Людмила Павловна, томить человѣка между жизнью и смертью, говорите!

Мила блѣдная встала. Ея живая краска сбѣжала съ лица и только на немъ слезы остались не стертыя.

— Спрашивайте, сказала она.

Кажется, Алексѣй Леонтьевичъ былъ остановленъ этой рѣшимостію.

— Что мнѣ у васъ спрашивать, Людмила Павловна? Я все уже переспросилъ.

— Спрашивайте, тише сказала Мила.

— Сядьте, Людмила Павловна! не стойте такъ, будто предо мною.... Простите меня. Я будто чѣмъ огорчилъ васъ! самъ былъ огорченъ и въ сильномъ смущеніи, необъяснимо чѣмъ-то растроганъ Алексѣй Леотьевичъ.

— Отчего вы меня не спрашиваете? почти шепотомъ проговорила Мила.

Ея рѣшимости не ставало отъ этого замедленья, и она сѣла на диванъ.

— Не буду спрашивать, Людмила Павловна! сильно, взволнованно отвѣчалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Скажите мнѣ, что вы сами скажете.... Вы чѣмъ-то мнѣ какъ огнемъ разжигаете душу. Коли вы мнѣ счастье даете, такъ дайте же, дайте! отворотилъ онъ въ сторону голову, чтобы стекли его горячія слезы, и протянулъ обѣ руки.

Мила смотрѣла ему въ лицо....

— Не дѣлайте такъ, какъ дѣти, тихо сказала она, что просятъ и не берутъ.

Алексѣй Леонтьевичъ всталъ, какъ выросъ. Смотрѣлъ онъ на Милу съ такимъ восторгомъ, съ такимъ невѣрящимъ себѣ безмолвнымъ счастьемъ, что она, краснѣя, улыбнулась, и слезы у нея наступили въ глаза; наконецъ она протянула ему свою ручку.

— Голубь мой бѣлый! первое слово, которое выговорилъ Алексѣй Леонтьевичъ, и затѣмъ это былъ цѣлый потокъ простыхъ, нѣжныхъ наименованій.... Алексѣй Леонтьевичъ сѣлъ возлѣ Милы, взялъ обѣ ея руки и сильно прижалъ ихъ къ своей головѣ. «Вѣдь она сѣдая, Людмила Павловна, какъ же ты будешь ласкать ее своей молодою ручкой?» былъ онъ осиленъ своимъ волненьемъ, растроганъ, умиленъ несказанно.... «Ласкай ее, голубка моя, горлинка моя тихая!» ласкалъ онъ у себя на головѣ руки Милы, пожимая ихъ. «Моя сѣдина честная, не позорная; честь твоя—моя тру-

довая сѣдина.» И Мила тихо приласкала поцѣлуемъ эту сѣдую голову, которая впрочемъ вовсе не была такъ сѣда, а только на вискахъ съ маленькою просѣдью. «Но маменька! маменька!» какъ бы спрашивая, повторяла Мила....

А между тѣмъ посѣтитель въ залѣ, не болѣе громкимъ, но болѣе частымъ покашливаньемъ и постукиваньемъ сапога-о-сапогъ, выражалъ ясно, если не нетерпѣніе, то свое довольно долгое терпѣніе.

— Васъ ждутъ, Алексѣй Леонтьевичъ, краснѣя замѣтила Мила, и кромѣ того, ей хотѣлось немного остаться одной.

Алексѣй Леонтьевичъ шелъ и не шелъ изъ комнаты; глаза его оставались назади; но проходя еще гостинную, онъ громко заговорилъ:

— А! Матвѣй Ивановъ Скорняковъ! добро пожаловать! Большимъ гостемъ будешь.... Ну, извини, братъ! радостно, откровенно, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ уже въ залѣ: —извини, не погнѣвайся, что маленько прождалъ. Такое. другъ, дѣло кончалъ, что, не то тебя, пріятеля дорогаго, и отца роднаго не грѣхъ заставить подождать.... Обнимемся-ка, да поцѣлуемся: Богъ счастье человѣку далъ; да такое счастье, что и не угадать твоей бородѣ, будь она и подлиннѣе какъ есть!

Обнялся, поцѣловался Алексѣй Леонтьевичъ; обѣ свои руки положилъ на плеча Матвѣя Иванова и усадилъ его.

Въ немъ, какъ говорится, душа расходилась. Радости его нуженъ былъ широкій русскій просторъ и открытое, ея полное выраженье. Но Матвѣй Ивановъ Скорняковъ не удовлетворялъ въ этомъ случаѣ Алексѣя Леонтьевича и они заговорили о дѣлахъ.

А Мила! Вставши притворить дверь, она и не садилась, стояла посреди комнаты, смутно рѣшая: точно ли все то съ нею случилось, что случилось? Въ этомъ не было ни раскаянія, ни сожалѣнія; но такая неносящая имени, захва-

почти упала въ кресло. Свѣжій вѣтерокъ помогъ ей. Какъ

почти упала въ кресло. Свѣжій вѣтерокъ помогъ ей. Какъ

сознательно-тихо принимала она на умиленное сердце свершившуюся судьбу свою! Мила чувствовала, что она увлечена живымъ чувствомъ и это увлеченье покоряло ее. эти простыя слова, голосъ ихъ; эта прямота, сила, — и Мила, нѣжно-стыдливая, находила, что не можетъ противиться этой силѣ. Она почти протянула руки къ начинавшему шумно шелестить своей густой зеленой листвою саду, какъ-бы прося принять ее, такъ неожиданно вступающую подъ его могучее осѣненье.

У двери появился Алексѣй Леонтьевичъ.

Хотя онъ вовсе не зналъ обычая легонькимъ стукомъ предувѣдомить о себѣ, прежде нежели войти, но собственное чувство почтительной нѣжности остановило его у порога притворенной двери, за которою была его милая голубка невѣста.

— Вы затворились, Людмила Павловна. Позволите войти къ вамъ?

Мила дала свое маленькое, односложное согласіе. Алексѣй Леонтьевичъ вошелъ. Онъ уже вполнѣ совладалъ съ восторженнымъ, смятеннымъ состояніемъ своихъ чувствъ и былъ обычнымъ Алексѣемъ Леонтьевичемъ; только сіянье глазъ, широко раскрытые зрачки, какъ у сокола, и на лицѣ эта полнота жизни, проведенная кистью великаго художника — счастья, сказали бы всякому, что съ этимъ человѣкомъ совершилось что то очень прекрасное.

— Людмила Павловна! я къ вамъ за дѣломъ.

— А маменька? Пошлите, я прошу васъ, немного застѣнчиво попросила Мила.

— Сейчасъ, сію минуту! — воротился въ залъ Алексѣй Леонтьевичъ и отдалъ приказаніе человѣку пойти на пасѣку и отыскать, просить пожаловать Катерину Логвиновну. — За дѣломъ, Людмила Павловна, — шелъ онъ назадъ, поспѣшая. — А вѣдь вы были правы не на шутку, говоря, что я сейчасъ примусь ревностно учить васъ. Пожалуйте-ка въ залъ похозяйничать.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ? Пусть будетъ это шуткою. Увольте меня, Алексѣй Леонтьевичъ.

Но Мила оказалась совершенно слабою, не энергической женщиною, которая не умѣетъ поставить на-своемъ — и вошла въ залу объ руку съ Алексѣемъ Леонтьевичемъ.

— Людмила Павловна! покорнѣйше прошу васъ полюбить и жаловать пріятеля моего большаго. — Это Скорняковъ, Матвѣй Ивановъ.

Матвѣй Ивановъ раскланялся разъ и въ другой, отступая назадъ.

— Прикажите ему, Людмила Павловна, сѣсть. Онъ поклонами испишетъ всю залу. Садись, садись, сдѣлай одолженіе.

— Пожалуйста, сядьте, съ застѣнчивой привѣтливостію сказала купцу Мила.

Но сидѣть было некогда. Алексѣй Леонтьевичъ провелъ Милу въ свой кабинетъ и Скорняковъ вступилъ туда за нею.

Ничего не могло быть милѣе и граціознѣе ея бѣленькой стройной фигурки между двухъ довольно суровыхъ, по виду, загорѣлыхъ мужчинъ, обступившихъ ее въ этой дѣловой комнатѣ, гдѣ стоялъ большой темный шкафъ, висѣли по стѣнамъ сѣти на куропатокъ; лежалъ, растянувшись на окнѣ, Турка и сидѣла Мила въ большомъ кожанномъ креслѣ. Алексѣй Леонтьевичъ просилъ ее записать въ его книги вотъ только что проданные ленъ и пшеницу и на столько вступить въ права полновластной хозяйки, чтобы получить слѣдуемыя деньги.

— Давай, Матвѣй Ивановъ, давай, братъ! говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ: да не засаленными ассигнаціями, а давай чистымъ золотомъ—чтобы въ золотыя ручки не обидно было взять. .. Больше! сколько есть, сыпь: ты у меня еще овецъ возьмешь.... Золото, золото!... Людмила Павловна, можетъ быть, только свое первое золото я получалъ съ такимъ удовольствіемъ — и золото будто подорожало, какъ перешло черезъ ваши ручки.

А оно переходило такимъ образомъ, что Мила едва видѣла, что̀ было передъ нею и отодвигала отъ себя обѣими руками звонко падающіе червонцы на уголъ стола, гдѣ присѣлъ на широкомъ диванѣ Алексѣй Леонтьевичъ. Червонцы слагались въ неправильную разсыпную кучку и, казалось, одинъ Скорняковъ, если и считалъ ихъ, то считалъ про себя и никому другому не было до нихъ дѣла. Алексѣй Леонтьевичъ говорилъ то, что онъ говорилъ—душа его говорила и бѣлая ручка заступила ему глаза.

— А! маменька идетъ! чрезвычайно краснѣя, поднялась съ мѣста Мила.

Но это была большая ошибка. Входила ключница мѣрными шагами въ кабинетъ; взяла связку ключей и вышла.

— Счастливо вамъ оставаться, Алексѣй Леонтьевичъ! откланивался Скорняковъ.—Ваша милость про овечки проговорить изволили-съ?

— Продаю, продаю.... готовить завтракъ! приказывалъ ключницѣ Алексѣй Леонтьевичъ.... Бери, Матвѣй Ивановъ! Потрудился я, поработалъ для-ради денегъ; пришла и ихъ пора — пусть же онѣ позабавятъ мое счастье! Обѣ отары хоть сейчасъ бери, т. е. до осени пусть у меня походятъ, взглянулъ на Скорнякова Алексѣй Леонтьевичъ....

— Оно-съ ничего.... Отчего бы не взять? Наше дѣло, почему не взять-съ?... не улыбался, а съ прищуринкою утиралъ свои губы Скорняковъ; да,—Алексѣй Леонтьевичъ, нагульцу-съ на овцахъ маленечко не будетъ-съ.

— А! поднесъ руку ко лбу Алексѣй Леонтьевичъ.—Ну, братъ, послѣ потолкуемъ.... Борода! улыбался Алексѣй Леонтьевичъ.—Довольно съ тебя, что прежніе разы съ нагульцемъ бралъ, и безъ нагульцу возьмешь.

— Просимъ прощенія,—прощенія просимъ, низко раскланялся Скорняковъ и вышелъ.

Надобно было видѣть, когда въ тиши, оставшись одинъ съ нею въ кабинетѣ, какимъ онъ долгимъ взглядомъ задумавша-

гося въ себѣ самомъ счастья и нѣжности тихой и свѣтлой смотрѣлъ на нее! То Алексѣю Леонтьевичу показалось будто въ комнатѣ душно (Мила немножко неровно, прерывисто дышала)—онъ отворилъ окно, то будто опять вѣтеръ сильно потянулъ—хотѣлъ онъ затворить его....

— Нѣтъ, оставьте, прошу васъ.... А маменьки все нѣтъ!

— Позвольте, Людмила Павловна; не безпокойтесь. Я пойду, еще пошлю, вышелъ и скорыми шагами назадъ вошелъ Алексѣй Леонтьевичъ.... Людмила Павловна! — сѣлъ онъ такъ на диванъ, что могъ положить на спинку ея креселъ свою мужественную руку. — Вы думаете: куда это вы въ такую комнатку зашли, гдѣ вы вѣкъ не бывали? А вы, повѣрьте мнѣ, здѣсь годъ цѣлый живете, и дня того, Людмила Павловна, не проходило, чтобы вы, ровно какимъ воздухомъ, не провѣялись здѣсь? Вотъ сѣти, что я куропатокъ ловлю, и нѣтъ той клѣточки въ старыхъ сѣтяхъ, изъ которой бы не глядѣли на меня ваши ясные глазки! Бывало, зимой, запропащусь сюда на цѣлый вечеръ, забьюсь какъ кротъ въ свою нору и огня себѣ не велю давать; а вы мнѣ будто свѣтомъ какимъ по стѣнамъ отражаетесь, радость моя отъ Бога взятая!

— Дайте мнѣ воды....

Милѣ почти становилось дурно отъ глубокаго волненья.

Алексѣй Леонтьевичъ, подавая воду, нечаянно толконулъ столъ, и нѣсколько червонцевъ, звеня и прыгая, скатилось на колѣна къ Милѣ.

— Вотъ еще! весело обрадовался онъ. — Не съумѣли побольше упасть, захватилъ Алексѣй Леонтьевичъ полную руку....

— Что вы дѣлаете? Я не хочу, не возьму....

Мила поднялась съ мѣста, и червонцы, упавшіе ей на колѣна, покатились по полу.

— Людмила Павловна! да чего вы будто испугались? гнѣваетесь будто чего?

— Ничего.... Дайте мнѣ лучше ту руку, которой вы держите деньги. Бросьте ихъ!

— Хорошо; да что же это такое?.. Что, моя желанная? И Богъ нашими приношеньями Ему, копѣечной свѣчкой не пренебрегаетъ; а здѣсь человѣкъ трудился отъ молодости до сѣдыхъ волосъ въ головѣ, показывалъ съ улыбкою свои сѣдые волосы Алексѣй Леонтьевичъ; — дождался человѣкъ того счастья, чтобы отъ своего труда подѣлиться ему съ милой своей, дорогою; а милая, невѣста дорогая на полъ бросаетъ и глядѣть не хочетъ.... Не обижай меня, дитя мое! тихо сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ, наклоняясь на ухо къ Милѣ.

Она не знала, что отвѣчать ему.

— Вамъ и не надобно самимъ безпокоиться. Еще протягивать ручку и брать.... Вотъ у васъ въ платьицѣ кармашекъ раскрылся немного....

И горсть червонцевъ сыпнулась въ кармашекъ Милы, прежде чѣмъ она успѣла тому воспротивиться.

— Людмила Павловна! сейчасъ же заговорилъ онъ:—знаете ли вы, что вѣдь не васъ однѣхъ тамъ у васъ, по сосѣдству, призываетъ Господь къ великому дѣлу замужства. Вѣдь и Настенька выходитъ замужъ.

— Не за Гальченка ли? спросила Мила.—Такъ часто объ этомъ говорили.

— За него, и это теперь навѣрное. Люблю я этого Гальченка, Людмила Павловна.

— И они, кажется, давно любятъ другъ друга, замѣтила Мила.

— Очень; да недостаточность такая горькая по рукамъ и ногамъ связываетъ. Ни съ той, ни съ другой стороны не за что взяться.

— А теперь какже? съ участіемъ спросила Мила.

— Все также, махнулъ рукою Алексѣй Леонтьевичъ.—Онъ при казначействѣ служитъ.... Ума-разума много, да денегъ нѣтъ. — Надобно было конецъ какой положить этому дѣлу: вѣдь оно лѣтъ пять ведется. Голубушка моя, Настенька! что она сердцемъ переболѣла!... Я вамъ, Людмила Павловна, разскажу, какъ я первое-на-перво узналъ этого Гальченка,

—и какая-то забавная нечаянность начинала рисоваться въ чертахъ у Алексѣя Леонтьевича.

....Ѣду я изъ города; а надобно вамъ сказать, говорилъ онъ, что тамъ въ городѣ я слышалъ, смѣхъ такой по людямъ ходитъ: что не старый молодаго, а молодой да повезъ стараго сватать въ нашу Сороковку и еще на своей невѣстѣ. Ничего я не знаю, кто это? какъ? Тогда еще я не очень былъ въѣзжъ въ нашу Сороковку; ѣду и забылъ про все, вдругъ послышалъ я, кто-то поетъ.... Ни впереди, ни позади по дорогѣ никого нѣту; а чудно поетъ! Въ сторонѣ ярушка небольшая съ кустами — показывается, будто тамъ поетъ. «Стой, Самсонъ!» говорю: «пойду».—Даже идучи, я останавливаюсь—чудно человѣкъ поетъ! Вижу: на кустахъ чернѣетъ что-то развѣшанное; подхожу ближе—сюртукъ, какъ служащіе носятъ съ выпушкою, брошенъ, повисъ полами.... Удивленіе меня беретъ. Сидитъ человѣкъ въ ярушкѣ и какой малый славный! молодой да черные кудри сами завиваются; наклонилъ онъ голову безъ шапки, подперся рукою и вѣдь какъ онъ плачетъ и эту пѣсню поетъ:

Ой у поли крыныченька
Обрубленная—

(и самъ Алексѣй Леонтьевичъ немного запѣлъ)

Е у мене дивчинонька
Возлюбленная.

— Полуштофъ передъ нимъ и стаканчикъ на травѣ стоятъ.... Увидѣлъ онъ меня — указываетъ молча на полуштофъ: пей, дескать! а самъ плачетъ и поетъ:

Ой у поли крыныченька
Дэ голубъ купався:
Е у мене дивчинонька,
Що я женихався.

Я зная то, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ, не перерывать же стать человѣку пѣсню, чтобы меня подчивать? Налилъ я себѣ стаканчикъ и выпилъ. Онъ не переставая, поетъ:

Ой у поли крыныченька
Волы воду пьють;
Уже жъ мою дивчиноньку
Къ винчанью ведуть....

— И опять указываетъ мнѣ на полуштофъ.... Я и то-таки знаю, что у насъ въ Малороссіи по первой ничего не дѣлается—налилъ я себѣ другую чарку, выпилъ. «Къ винчанью ведуть,» заливается онъ горькими слезами, поетъ:

Одинъ веде за рученьку,
Другій за рукавъ;
Третій стоитъ, сердце болитъ—
Любывъ та й не взявъ!...

Т. е. какъ души своей онъ въ это слово не положитъ! Жаль мнѣ его крѣпко стало.—«Горе поетъ, горе и плачетъ,» сказалъ я ему. «Оно же, проклятое горе, и скачетъ,» вдругъ какъ поднимется онъ—«танцуй!».... Что жъ, Людмила Павловна? Смѣхъ сказать: пустились мы съ нимъ въ плясъ. Кусты вокругъ насъ ломятся, листья летятъ; а мы носимся другъ передъ другомъ. Сначала подъ пѣсни, а потомъ поумаялись, только — ту, ту, ту! ту-ру-ру! ру-ру-ру, наигрываемъ на губахъ. Утомились мы до послѣднихъ силъ; повалился онъ на траву, говоритъ: «Будетъ! Наплясалось чертово горе.» Вотъ это, Людмила Павловна, былъ Гальченко.— Видѣвши, что нѣтъ ему способовъ жениться на Настенькѣ и мать ея плачетъ, говоритъ ему: чтобы онъ не томилъ бѣдную, не клалъ напрасно на дѣвушку худой славы — рѣшился онъ пріискать ей жениха. «Отдамъ свою Настеньку,» сказалъ онъ: «своими руками отдамъ. Пусть живетъ покойна при достаткѣ.» И отыскалъ онъ ей какого-то богатенькаго старичка, вотъ-то и повезъ его, чтобы свадьбу сейчасъ сыграть и музыку самъ нанялъ, хотѣлъ онъ отплясать Настенькину свадьбу на славу. Распоряжался на сговорахъ всѣмъ, подчивалъ гостей и будто ничего ему, и весело; но когда посадили Настеньку за столъ и съ нею рядомъ сѣлъ женихъ.... то не стерпѣлъ Гальченко. Ушелъ онъ, куда глаза

глядятъ и не помнилъ, какъ изъ Кутковъ вышелъ и это онъ верстъ шесть по дорогѣ прошелъ; зашелъ къ шинкаркѣ, она повѣрила ему въ долгъ—чтобы съ горя напитися и не журитися; такъ, нѣтъ! лютое горе и хмѣль не беретъ — Вотъ я его и взялъ къ себѣ, т. е. не горе, Людмила Павловна—помилуй Богъ! а Гальченка.

— А Настенька?

— А съ Настенькой милость Божія вышла, разсказывалъ Алексѣй Леонтьевичъ. — И Настенька еще крѣпилась, пока на глазахъ Гальченко былъ. Можетъ и не вѣрила, глядя на него, что съ нею такое совершается? А какъ увидѣла, что Гальченка нѣтъ и ищутъ его, не отыщутъ—не смогла она; залилась слезами, и она плачетъ, и мать, глядя на нее, плачетъ; подчуютъ жениха. «А что-то вы мнѣ горькое даете,» сказалъ онъ, прямо—честная душа. «Не пьются мнѣ, пани-матерь, ваши слезы...! Люди добрые!» говоритъ гостямъ: «не хочу я заступать свѣтъ молодой дивчинѣ. Пусть ей Богъ помогаетъ на ея счастье! Отступаюсь я, и все, чѣмъ издержался, всѣ мои подарки пусть ей на веселье.... Музыка, играй! Потанцуемъ, любые братья, что не загубили молодой дивчины.» Старикъ, какъ пустился въ плясъ и притопываетъ! да вѣдь пиръ какой пошелъ, куда веселѣе, чѣмъ на сговорахъ былъ! Осталась Настенька опять своему Гальченкѣ.

Помолчалъ немного Алексѣй Леонтьевичъ и Мила молчала.

— Вотъ это безъ васъ, Людмила Павловна, пріѣзжаетъ онъ ко мнѣ. «Дядя!» говоритъ: «дай денегъ на свадьбу.» «А, племянникъ! чѣмъ отдавать будешь?» спрашиваю я. Мать смотрѣла, смотрѣла на нихъ—на ихъ любовь да на безпомощье, и говоритъ: «Бери ты у меня ее, чтобы она мнѣ пѣсенъ жалобныхъ не пѣла.» Людмила Павловна!... (Алексѣй Леонтьевичъ взялъ со стола полную горсть.) Настенька отъ васъ не далеко. Позолотите ея и наше счастье! Откройте вашъ кармашекъ.

Мила открыла его — и ни слова болѣе не было сказано между ними.

Алексѣй Леонтьевичъ постукивалъ въ маленькомъ раздумьи ногою; потомъ взялъ одну ручку Милы и другую, сложилъ ихъ у себя на ладони, прикрылъ другой своей рукою и началъ разсказывать Милѣ свои предположенія, какъ онъ поведетъ дѣла: что теперь онъ опять живо примется за нихъ и о Гальченкѣ мысль ему приходитъ: взять его къ себѣ, пустить въ эти дѣла: голова не плохая и можно поручиться, что человѣкъ пойдетъ.... Но далѣе пани-воеводша шла, поспѣшая къ дому.

Теперь, смотря, какъ высоко было солнце, она и сама видѣла, что позамѣшкалась она и не примѣтила, какъ время ушло. Но причина къ тому была слишкомъ уважительная. Въ первый еще разъ пани-воеводша видѣла богатое степное хозяйство, которое ей извѣстно было въ мелочи, маленькое, недостаточное, а здѣсь въ полномъ довольствѣ и полнотѣ всего—не вымѣренное на нѣмецкую нитку, а простое, широкое русское хозяйство. Пасѣка почти въ тысячу ульевъ, раздѣленная на три пасѣки съ образами Зосима и Савватія, даже съ костью лошадиной головы при входѣ и съ дѣдами одинъ другаго хмурнѣе и бородатѣе, привела пани-воеводшу въ несравненное состояніе удовольствія и веселости духа. А когда пригрѣло солнце и зашумѣли рои, пошла играть пчела и надъ пасѣками синій воздухъ помутился, и слившійся гулъ пошелъ по окрестности, когда живые золотистые комы осѣвшихъ роевъ разгнѣздились по вѣткамъ и началась, ни съ какой утѣхой несравнимая для пчеловода, забота убирать рои, тогда пани-воеводша, по собственному ея выраженію, встала бы и легла здѣсь! Но явился первый посланный звать ее. Оставивъ его при себѣ, она, по его же приглашенію, зашла и на другую пасѣку, гдѣ пасѣчникомъ сидѣлъ дѣдъ посланнаго и тамъ немного позамѣшкалась. Затѣмъ еще въ кузницу завернула пани-воеводша и своими глазами удостовѣрилась, что гайки всѣ го-

товы; потомъ она шла въ гору между разсыпанными стадами овецъ; проходила гумно — поставленные въ рядъ амбары, и такая мысль сильно расходилась въ ея головѣ и замедляла ея шаги: «Господи, Боже мой! все это могло бы быть ея, принадлежать ей! Куда ни взглянешь.... Дитя мое, дитя мое? межъ пальцевъ упустила ты свое счастье!»

Должно быть, въ разсѣяніи отъ этой мысли, пани-воеводша зашла въ домъ съ задняго крыльца. Прошла скорѣе въ комнату, гдѣ ночевали—нѣтъ дочери, и въ гостиной—нѣту; входитъ пани-воеводша въ залъ.

— Мила! гдѣ ты, что тебя нигдѣ нѣту? Алексѣй Леонтьевичъ!

Дверь изъ кабинета немного только не была притворена; Алексѣй Леонтьевичъ, поспѣшая, отворилъ ее.

— Здѣсь, Катерина Логвиновна. Пожалуйте.

Пани-воеводша, съ яркаго свѣта, не совсѣмъ зорко обозрѣвала предметы въ комнатѣ, гдѣ на половину была спущена стора.

— Маменька! съ робостію подошла Мила, цѣлуя руку матери и по какому-то безотчетному чувству положила ее себѣ на голову.

— Что ты, дитя мое?—здравствуй! — будто нездорова? Я велѣла сейчасъ запрягать, ѣдемъ.... Ну, Алексѣй Леонтьевичъ, можно вамъ честь такую отдать: хозяйство, такъ хозяйство! Пасѣка—кажись я бы сама у васъ на пасѣкѣ пасѣчницей сѣла.

— Милости просимъ, Катерина Логвиновна! съ непонятной для нея улыбкою говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ, усаживая ее на диванъ.—Вотъ и хорошо выходитъ: пока вы на пасѣкѣ были, а мы здѣсь медъ сварили.

— Продали что? сказала пани-воеводша, видя на столѣ деньги.—Мила, ты бы пошла, дружечекъ, чтобы Даша поживѣй тамъ собиралась, пора.

Мила и пошла было; но только ступила разъ и стала, не двигаясь, у конца стола.

— Какой же вы это, Алексѣй Леонтьевичъ, медъ сварили? съ своей отмѣнно-чинной, деликатной шутливостію спросила пани-воеводша. — Не будете ли и насъ на сливанье звать.

— По пословицѣ, Катерина Логвиновна: что на сливаньи и медъ пьютъ. Истинно такъ: запьемъ и ворота забьемъ... нѣтъ! мы еще лучше сдѣлаемъ: растворимъ ихъ на весь міръ, на всю нашу Сороковку!

— Да что же это у васъ за пиръ такой великій, Алексѣй Леонтьевичъ?

— Истинно великій, Катерина Логвиновна. Людмила Павловна мнѣ свое слово дала.

— Что-о? Алексѣй Леонтьевичъ? во весь свой большой ростъ поднялась пани-воеводша.—Мила, что̀ такое?

— Исполнилось то, Катерина Логвиновна, что мы съ вами желали; слово мнѣ дала Людмила Павловна.

Мила робко, смущенно приблизилась. Она было хотѣла сказать матери почти то же, что сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ: что она исполнила ея желаніе; но чувствуя, что въ минуту исполненія у нея не было о томъ мысли, она не умѣла солгать.

— Да, маменька.... одно сказала она.

— Да, дитя мое. Твоя добрая воля.

— Но ваша, маменька, ваша воля?...

Этотъ жаркій, повторенный вопросъ былъ вызванъ нотою сильнаго огорченія въ голосѣ пани-воеводши и такой кроткой, задушаемой скорби сердца, что Мила подняла на мать слезами наполнившіеся глаза и сложила передъ нею руки, какъ на молитву.

— Катерина Логвиновна! подступилъ встревоженный Алексѣй Леонтьевичъ — что это такое? Скажите, Катерина Логвиновна, что вы съ нами дѣлаете?

— Скажу, Алексѣй Леонтьевичъ.—О чемъ вы меня спрашиваете?

— О томъ, Катерина Логвиновна: вы мнѣ свое согласіе

оказали, лишь бы была воля Людмилы Павловны; а теперь....

— Теперь я, Алексѣй Леонтьевичъ, не оказываю вамъ своего согласія. Коли вамъ нужда какая до моего согласія, такъ у меня свой домъ, хотя не великъ, да есть... Не хочу я, Алексѣй Леонтьевичъ, чтобы вамъ во снѣ то невзначай приснилося: что до вашего порога приходила я къ вамъ называться моей дочерью....

— Катерина Логвиновна! пани-воеводша! —

— Такъ, Алексѣй Леонтьевичъ. Хотя вы и богаты, да наша честь при насъ и дочь мнѣ моя замѣсто богатства.... Чтобы вы подъ иной часъ не подумали, Алексѣй Леонтьевичъ: что осмотрѣлись мы больно скоро, что вамъ отказъ дали и, не дожидаясь, вторично будетъ ли отъ васъ искательство объявлено — на что вамъ труды задавать? мы и сами къ вамъ явилися. Гайка у насъ сломалася или потерялася; такъ-то ей и потеряться пришлось у воротъ вашего дома! Мать дочку переночевать завезла; а дочка безъ матери слово дала.

Это было единственное жесткое слово, которое пани-воеводша вымолвила противъ дочери.

— Алексѣй Леонтьевичъ! всѣ мы грѣшные люди,—всѣ называемся человѣки. И на меня случись подобное послышать и я бы своимъ языкомъ не умолчала, сказала — и въ Сороковкѣ всѣ вольны говорить. Такъ уже, государь мой, будетъ съ насъ одной Сороковки.... Мила, бери свою шляпку; я слышу, лошадей подаютъ.... Уже сдѣлайте одолженіе, примите нашу чувствительную благодарность за безпокойствіе ваше.

— Катерина Логвиновна! что же это такое? Вы мнѣ отказъ даете, что ли?

— Благодарность мою вамъ, Алексѣй Леонтьевичъ, приношу за гостепріимство, что вы оказали.... Ты готова, Мила? Счастливо вамъ съ Богомъ оставаться.

— Нѣтъ, Катерина Логвиновна, позвольте.... Людмила

Павловна! развѣ я отступлюсь отъ васъ?... Такъ когда же мнѣ, пани-воеводша, прикажете пріѣхать въ вашъ домъ?

— Гости у меня, Алексѣй Леонтьевичъ, завсегда бываютъ, когда ихъ благорасположеніе ко мнѣ есть.... Идемъ, Мила. Кланяюсь вамъ, государь мой.

— Хорошо, сударыня; такъ я же буду завтра съ зарею.... Извините, пани-воеводша; я знаю, что не могу обезпокоить васъ: вы встаете раньше зари.

И пани-воеводша не сказала даже обычнаго: «милости просимъ.» Мила была уничтожена словами матери—огорчена, оскорблена; она садилась въ брику и почти не видѣла брики, не подняла глазъ на Алексѣя Леонтьевича и уѣхала такъ.

Какъ выросла хорошая пани-воеводша! Низкій верхъ стародавней брики не могъ, казалось, вмѣстить высоко поднятую голову, и гордыя, черныя брови дугою выставлялись наружу — впередъ вся повыдвинулась пани-воеводша. Кто бы встрѣчный сказалъ, что подъ этой осанисто-гордой посадкою затаилась скорбная печаль сердца, огорченье невыдаваемаго, про себя захороненнаго чувства: что дочь, дитя родное, не утѣшила, а дважды на томъ же оскорбила мать! и того мало: слухъ какой межъ народа пойдетъ; вольны люди всего надуматься....

Такое горькое горе горевала пани-воеводша и ни слова она не сказала дочери. Кончено. Она уже говорила и разсужденье долгое вела, совѣты свои материнскіе изъявляла; а теперь замолчала пани-воеводша. Мила не могла оцѣнить того, не знакомая существенно съ окружающей ее дѣйствительностію, какихъ пожертвованій и усилій, мелкихъ назойливыхъ хлопотъ по хозяйству стоила она матери—стоили ея красивыя ленточки, башмачки, перчаточки. А чего стоили эти заботливыя крѣпкія думы съ подушкою! Что не досыпала мать, гадая сердцемъ о судьбѣ ея! Какъ она клала земные поклоны!... Ничего того не разсуждала, къ лицу приче-

санная, къ лицу одѣтая Мила, читая французскую книжку. И одной той награды ждала себѣ пани-воеводша — и даже не награды, а просто материнскаго счастья: когда придетъ судьба ея дочери, посудить-порядить, какъ говорится — совѣтъ благой раздѣлить: что вотъ такъ-молъ и такъ, дитя мое; замужство—великое дѣло, и прочее другое.... И ничего того не вышло!

Осиливая свою скорбь, не желая выдать тѣни горделиваго огорченія, пани-воеводша, обыкновенно молчаливая въ дорогѣ, теперь заговорила съ дочерью: что вотъ и мужикъ ѣдетъ, и мельница стоитъ, и луговина какая большая....

Грустно, трогательно было на нее смотрѣть, когда она пріѣхала домой и хотѣла бы озаботиться чѣмъ къ завтрашнему дню—и заботы никакой не оставалось ей! Въ ихъ отсутствіи домикъ былъ выбѣленъ и полы чисто вымыты; заказала на завтра пироги пани-воеводша и вотъ ея все попеченье о сговорахъ дочери! Но дочь?...

Чего она до сихъ поръ не понимала, на чемъ не останавливала легкой молодой мысли, то все она теперь больно почувствовала. Какія крупныя слезы въ глазахъ замѣтила бы пани-воеводша, если бы она не въ сторону глядѣла, а посмотрѣла бы въ лицо своей Милы! Новость ощущеній сердца вноситъ большое измѣненье въ самую глубину насъ, и какъ ново представляются намъ, въ просвѣтленьи новыхъ чувствъ, знакомые, вовсе не новые предметы! Это колыханье большихъ Вербовскихъ вербъ невыразимымъ чувствомъ умиленія всколебало грудь Милы—родной, уютный домикъ, отъ крова котораго она уже отказалась!... Другой домъ и не эти, ея отцомъ и матерью, всѣмъ родомъ взлелѣянныя, вербы наклонятся надъ нею, и другихъ деревьевъ листъ густой зашумитъ надъ головой ея! Мила была въ слезахъ. Но другая тягость еще томила ее: это—золото въ карманѣ.

Слова матери трубою звучали въ ушахъ у ней — и сказать ей, что у дочери есть деньги—что ей дали ихъ и она ихъ взяла.... У Людмилы Павловны словъ не находилось.

Вышла она изъ дому и пошла. — Рѣшимость сосредоточеннаго въ себѣ самой чувства и дѣйствія шла съ нею ея легкой, непріостанавливаемой походкою. Мила не оборачивалась и не видѣла, какъ долго, съ безмолвнымъ, скорбнымъ вопросомъ: куда идетъ она? провожала ее глазами пани-воеводша.

Перешла она Лисью-балку и скрылась за нею. Идти одной, день вечерѣетъ, собаки за каждымъ возомъ возвращаются съ поля... но Мила шла, не останавливаясь, и шла прямо въ Кутки. Она знала Настеньку потому только, что нельзя было въ Сороковкѣ не знать другъ друга; но она никогда не была у нея, и Настенька только въ церкви подходила, краснѣя, поклониться панѣ-воеводовнѣ. Въ своемъ полузабытьи, сосредоточивая вниманіе на томъ, что внутренно занимало ее, Мила прошла и не замѣтила мало проторенную дорожку, поворачивавшую въ Кутки. Она шла далѣе низомъ по-надъ ихъ огородами и вишневыми садиками, когда заунывная протяжная пѣсенка остановила ее. «Настенька!» сказала Мила себѣ самой. Она перешла черезъ заросшій земляной окопъ и, раздвигая вѣтви и кусты, пробиралась на голосъ пѣсенки. «Думаетъ ли Настенька, что я иду къ ней? что я несу ей?» подумала Мила. И эта мысль заронила въ ней другую: подкрасться къ Настенькѣ и посмотрѣть издали: нѣтъ ли на лицѣ у человѣка какой примѣты близкаго, подходящаго къ нему счастья? Не просіяваетъ ли оно въ невольной улыбкѣ, или въ чемъ нибудь свѣтломъ въ глазахъ?... Судя по Настенькѣ, кажется, нѣтъ.

Три повислыя вѣтвями, понаклонившіяся вербы стояли въ затишьи неподвижномъ; четвертая отломлена была отъ нихъ бурею и лежала поперегъ чистой полянки. На стволѣ ея сидѣла Настенька. Не отводя глазъ отъ работы, видно поспѣшая окончить ее, пока догарала заря, Настенька шила воротъ мужской рубашки.... Въ темномъ ситцевомъ платьѣ, съ позавявшими пунцовыми маками въ черныхъ волосахъ— простая, милая дѣвушка — красавица на зоркіе молодецкіе

глаза, сидѣла Настенька, задумчивая безъ печали и счастливая безъ большой радости — и привычка ли къ безвеселью, къ тоскливой жалобѣ сердца выводила эту заунывную, все на долю плачущуюся тихую пѣсенку? Мила сама не зная, чѣмъ растроганная, зашла со стороны и прижала Настенькѣ на плеча обѣ свои руки. Настенька живо оборотилась. Можетъ быть, и не того рода поцѣлуй она ожидала встрѣтить и приняла его въ несказанномъ удивленіи.

— Панна-воеводовна! не вѣря себѣ, проговорила она.

Она хотѣла-было встать, но Мила не допускала. Перевѣсясь Настенькѣ черезъ плечо, она ей улыбалась своей хорошенькой улыбкою.

— Настенька милая! заговорила она.—Я не хочу васъ томить; не буду заставлять васъ угадывать, какъ и зачѣмъ я пришла? Вы поцѣлуйте меня. Я вамъ радость большую принесла.

Сама цѣловала Настеньку Мила, обвивая ей шею нѣжной рукою.

— Вы, безъ сомнѣнія, слышали, Настенька, разсказъ Алексѣя Леонтьевича: «какъ Богъ дастъ, то и въ окно подастъ?» Посмотрите, какая правда! Господь прямо въ руки даетъ вамъ,—опустила Мила свою руку въ карманъ и посыпала на колѣна къ Настенькѣ жаркое, яркое, засверкавшее золото.

— Еще! вотъ и еще, берите все. .. Я не сама себѣ, Настенька, сыпала это золото: но съ какимъ удовольствіемъ я обѣими руками достаю его вамъ! Берите все, чтобы у меня ничего не осталось.... Я не хочу! оно все ваше....

Можно судить, до чего разросталось изумленіе Настеньки; но безмолвная, никакимъ рѣзкимъ жестомъ или словомъ не выражая, что чувствовала, она только поперемѣнно быстро взглядывала на увеличивающуюся у себя на колѣнахъ пригоршню золота и переводила взглядъ большихъ страстно-нѣжныхъ глазъ на лицо Милы. Когда Мила передала все и, обыскивая у себя въ карманѣ, нашла еще одинъ

червонецъ и положила его въ колѣна Настенькѣ, та, какъ ребенокъ, заплакала навзрыдъ.

— Настенька моя дорогая! о чемъ же плакать?... и къ чему плакать?... Мила рада была случаю самой поплакать...

И я не передамъ вамъ граціозной нѣжности двухъ молодыхъ дѣвушекъ, въ слезахъ и улыбающихся другъ другу! Мила цѣловала Настеньку въ лобъ и поправляла ей, ея красные маки.

— Вы посмотрите на меня, сказала она съ плѣнительной стыдливостію. —Не кажусь ли я вамъ, Настенька, такой же невѣстою, какъ и вы?

— Алексѣй Леонтьевичъ! угадала Настенька. Какъ я рада! слегка прихлопнула она въ ладоши и, наклоня къ себѣ на грудь Милу, молча цѣловала ея полузакрытые глазки, ея пахучіе волосы; съ улыбкою посмотрѣла—и поцѣловала ея улыбающіяся губки.

— Это *онъ* черезъ меня переслалъ вамъ; а вашъ Гальченко, Настенька? Покажите мнѣ его.

Но Гальченка не было въ Сороковкѣ.

Мила не совсѣмъ связною, ласкающей рѣчью объяснила Настенькѣ предположенія Алексѣя Леонтьевича насчетъ Гальченка; просила отъ нея поклониться Гальченку, сказать ему, что она знаетъ его пѣсенку: *Ой, у поли крыныченька* и попроситъ его спѣть ей—и затѣмъ обѣ дѣвушки видѣли, что имъ пора разстаться—что *у поли* уже совсѣмъ потемнѣло. Не успѣла одна изъ нихъ подумать, какъ ей будетъ идти, какъ другая собралась провожать ее. Чтобы не брать съ собою сокровища, онѣ захоронили его въ кусты и рука въ руку, бѣгомъ, пустились черезъ лугъ и на Лисью-балку. Въ виду своихъ вербъ Мила остановилась и игривымъ, летучимъ поцѣлуемъ разсталась съ Настенькою. Оглянувшись, она увидала, что Настенька стоитъ на томъ же мѣстѣ, чтобы видѣть, какъ дойдетъ Мила—и Мила побѣжала домой, чтобы не заставлять долѣе ждать Настеньку.

— А гдѣ-съ это вы, барышня, были?

Но вопросъ остался безъ отвѣта. Барышня входила въ домъ и къ ней возвращалось тяжелое чувство ея положенія въ отношеніи къ матери.

Не зная, чего можетъ ожидать она и что ее встрѣтитъ, Мила медленно, тихо ступая, вошла въ комнату.

Самоваръ на столѣ уже совсѣмъ потухалъ; давно прошла обычная пора чай пить—объ этомъ только здѣсь вспомнила Мила. Пани-воеводша пасмурная сидѣла за самоваромъ и при входѣ дочери подняла руку къ чайнику—только, ничего болѣе. Мила сѣла къ столу.

— Маменька! сказала она, не вынося молодымъ, пылкимъ сердцемъ этого молчанія.... Маменька! и вы не спрашиваете, гдѣ я была и откуда пришла такъ поздно?

— Не зачѣмъ, дитя мое. Была ты, гдѣ хотѣла—не надо. Когда дѣти малыя, мать за руку водитъ; а выростутъ дѣти—сами пойдутъ.

— Но, маменька! спросите меня, гдѣ я была....

Мила съ слезами на глазахъ готова была стать на колѣна.

— .... Спросите меня только—и я вамъ все разскажу! Я все сдѣлаю, что вы хотите.... Маменька! скажите мнѣ.

— Кушай свой чай, дитя мое.... сказала пани-воеводша.

На утро Мила почти бѣжала изъ дома. Ей было тяжко, невыносимо. Никогда она не вставала такъ рано и опять, хотя неумышленно, а жестоко оскорбила мать. Когда та готовилась, какъ чинъ велитъ, къ пріему жениха; думала на послѣ-обѣда посылать гостей звать и чахлы съ креселъ снимала, Мила одѣлась просто во всегдашнее свое будничное платье. «Будто ей мать ничего лучшаго доставить не могла!» горько себѣ подумала пани-воеводша; но не сказала дочери, чтобы она переодѣлась. А у дочери такой туманъ налегъ на молодые глаза, что она не видѣла, куда она шла, и не думала, за чѣмъ она шла? И остановилась только тогда, когда ее придержало что то: это въ Лисьей-балкѣ терновый сучекъ

зацѣпилъ ей за платье. Въ маленькой тѣни и въ цвѣтахъ кругомъ увидѣла себя Мила. Ея любимый синій барвинокъ— наклонилась она къ нему, протянула руку, чтобы сорвать и не сорвала цвѣтовъ, а заплакала Мила. Долго ли, коротко ли, да она наплакалась; а тѣмъ временемъ птичка напѣлась въ кустарникѣ. Птичку вспугнуло ржанье съ звонкимъ топотомъ бѣгущаго коня; Мила сама встрепенулась и стала къ сторонѣ за терновый кустъ, полагая, что возможно будетъ проѣхать и не разглядѣть ее. Лошадиный топотъ настигалъ и въ одиночку запряженный конь на-рысяхъ внесся въ Лисью балку.

— А, а, а! Стой, буланый, стой!

Алексѣй Леонтьевичъ ѣхалъ одинъ на бѣговыхъ дрожкахъ. Бросивъ возжи, онъ потянулся обѣими руками за терновый кустъ.

— Людмила Павловна, пожалуйте! Что такъ рано встали? Цвѣточки рвали?

Мила съ невольной улыбкою показала свои пустыя руки, въ которыхъ ни одного цвѣточка не было.

— Такъ чтожъ такое? Вы сами цвѣточекъ, зорко вглядывался въ нее Алексѣй Леонтьевичъ—на что вамъ цвѣточки? Добрый день, Людмила Павловна, хорошій день!

Будь Алексѣй Леонтьевичъ болѣе свѣтскій человѣкъ, онъ бы давно соскочилъ съ дрожекъ; но онъ только свѣсился съ нихъ и протягивалъ руки.

— Позвольте, Алексѣй Леонтьевичъ, съ граціозной серьезностію сказала Мила. — Я была вчера у Настеньки.

— Были? спросилъ Алексѣй Леонтьевичъ. Хорошо-съ, Людмила Павловна. И вы сами были?

— Сама и одна была.

— Прекрасно! Т. е. такъ оно хорошо, Людмила Павловна, что—или вы меня поцѣлуйте, или я васъ на старости лѣтъ поцѣлую.

Мила уклонилась отъ обоюднаго предложенія.

— Я все отдала, Алексѣй Леонтьевичъ, сказала она.

— Все? Многонько немножко, остановился Алексѣй Леонтьевичъ. — Ну, да какая нужда? У васъ, Людмила Павловна, больше осталось.... Ваша воля; вы, какъ хотѣли, такъ и распорядились — какая нужда! Пошли вамъ Богъ здоровья — и только. Что объ этомъ и говорить нечего!... А о чемъ другомъ вы мнѣ не скажете? засматривалъ Алексѣй Леонтьевичъ въ недавно плакавшіе глазки Милы и ближе, потихоньку приводилъ ее къ своимъ дрожкамъ и положилъ ея руку къ себѣ на плечо.... И спрашивать, Людмила Павловна, не надобно?

— Не надобно, съ улыбкою сказала Мила.

Помолчали они немного.

— Что-жъ? сядете, Людмила Павловна? ѣдемъ. Заросите вы ваши ножки по дорожкѣ.

Милѣ не пришло въ голову отказаться. У благодѣтелей она ѣздила немного верхомъ и припомнила эту штуку, чтобы съумѣть легко и ловко присѣсть на узенькой досточкѣ, которая предлагалась ей.

Алексѣй Леонтьевичъ былъ чрезвычайно доволенъ.

— Веселье мнѣ какое, Людмила Павловна! Я провезу васъ.... Эхъ, ты, буланый! чувствуешь ли, честь какая тебѣ оказывается?... Садитесь же, Людмила Павловна, хорошохонько — вотъ передо мною. Мѣстечко вамъ есть. Милости просимъ.

Мила весело улыбалась веселой улыбкѣ Алексѣя Леонтьевича и своей мысли ѣхать на бѣговыхъ дрожкахъ.

Сѣла она.

— И прекрасно! безподобно оно. Словно птичка легонькая, вспорхнули.... вотъ только бы платьеце ваше—сборочки, эти оборочки не попали въ колесо; ну, да мы ихъ уладимъ, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ: присоберемъ немножко — можно?

— Можно.

— Ну, и ладно; хорошо теперь. Слава Богу.... Поставьте ваши ножки на мой сапогъ; повѣрьте ему, не тяжело бу-

детъ. — Ей, ей, Людмила Павловна! Говорятъ, что люди есть—будто имъ міръ тѣсенъ; а мнѣ, ей Богу! не надо міра шире теперешняго.

— Ѣдемте же, Алексѣй Леонтьевичъ.

— Да куда намъ спѣшить, Людмила Павловна? вѣдь это я въ другой разъ наѣзжаю на Лисью-балку. Наѣхалъ въ первый — тишь такая кругомъ стоитъ! только перепела по степи проснулись. Думаю: пріѣду я, поднимется суета; неравно разбудятъ васъ, Людмила Павловна—нѣтъ! поворачивай, буланый, назадъ! Пустились мы съ нимъ маяться въ степь; исколесили ее вдоль и поперегъ ... Мудренъ тотъ будетъ, забавно качнулъ головою Алексѣй Леонтьевичъ — кто бы захотѣлъ распутать мои слѣды. Будь въ лѣсу, сказали бы: лѣшій кружилъ человѣка туда и сюда.

Смѣялся Алексѣй Леонтьевичъ.

— Вѣдь такая оказія, Людмила Павловна — Богъ васъ люби! что вы мнѣ надѣлали. Не спится мнѣ цѣлую ночь, я жмурю глаза, а они не жмурятся. Совѣстно передъ людьми. Брожу, какъ словно я деньги по ночамъ караулю. Вышелъ на дворъ; Самсонъ мой непробудно спитъ и еще изъ особеннаго усердія отворилъ конюшню и прямо на дверяхъ легъ, чтобы кто не вывелъ лошадей; а я въ конюшню вошелъ и лошадь вывелъ безъ того, чтобы Самсонъ мой рукой ворохнулся! Запрягъ я самъ и поѣхалъ.

Алексѣй Леонтьевичъ увидѣлъ маленькій сухой листокъ, занесенный какимъ-то случаемъ на волосы Милы — онъ не посмѣлъ рукою его снять и съ какой нѣжностью и заботой, подувая тихонько, онъ сдулъ его! Солнце взошло и начинало уже ударять; но Мила не чувствовала того: потому что Алексѣй Леонтьевичъ наклонялся немного и приводилъ свою голову въ то и другое положеніе, чтобы тѣнь отъ него защищала Милу.

— Нѣтъ, ѣдемъ, Людмила Павловна! сказалъ онъ. Здѣсь на васъ и листъ падаетъ, и солнце васъ сжетъ, ѣдемъ.... Съ Богомъ! Трогай, добрый конь!

Конь тронулъ; но дорога въ ярочкѣ, между кустарниковъ, была выѣзжена большими колеями и еще необходимо попорчена недавнимъ дождемъ. Узенькій ходъ бѣговыхъ дрожекъ не приходился по широкому, выѣзженному слѣду воловьяго воза. Заскочивъ однимъ колесомъ въ глубокую колею, дрожки поднимались другой своей стороною и совсѣмъ становились на бокъ.

— Ай! легонько, вскрикнула Мила.

— Ничего, Людмила Павловна, не безпокойтесь. Эта дорога такая. Вотъ мы сейчасъ переѣдемъ.

— Ай, ой! Алексѣй Леонтьевичъ! повторила Мила.

Лошадь стала.

Усмѣхаясь этой пріостановкѣ, Алексѣй Леонтьевичъ опять потронулъ лошадь.

На этотъ разъ Мила рѣшилась не вскрикивать, чтобы тамъ ни было, чтобы лошадь болѣе не останавливалась; но лошадь стала.

Случилась маленькая исторія, бывающая на узкихъ дорогахъ нашихъ проселковъ.

На поворотѣ изъ-за кустовъ, лошадь, голова на голову, столкнулась съ другою лошадью. Ѣхалъ на встрѣчу мужичекъ.... Обнюхавъ нежданную сосѣдку, буланый гордо, какъ бы съ презрѣніемъ, тряхнулъ своей львиной гривою и подался назадъ. Разъѣхаться было бы довольно мудрено, если бы лица были не уступающія другъ другу; но хохолъ хотя медленно, а своротилъ свою лошадь на терновый кустъ, и такимъ образомъ очистился маленькій проѣздъ для пана. Но разстояніе было черезчуръ не велико, и встрѣтиться такъ близко съ человѣкомъ, и не заговорить съ нимъ и еще на зарѣ такого счастливаго дня, было дѣломъ совершенной невозможности для Алексѣя Леонтьевича.

— Здоровъ бувъ, человѣкъ добрый! сказалъ онъ.

— Здоровы булы, пане.

— Промѣняй намъ—спасибо тебѣ—кукушку на ястреба.

— А можетъ, пане, еще придачи дадите?

— Дадимъ. .. Людмила Павловна, какъ вы скажете? старался съ улыбкою заглянуть ей въ глаза Алексѣй Леонтьевичъ... Вотъ промѣняй намъ человиче, свою лошадь, на нашу.

Чтобы понять забавную остроту этого предложенія, надобно было видѣть, что за кляча предстояла на вымѣнъ гордаго буланаго коня!

— Что-жъ, человиче? не везетъ, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Все шла моя лошадь хорошо; а вотъ—показывалъ онъ обѣими руками — и немного будто тягости взялъ, да не везетъ. Вотъ хоть самъ посмотри, не везетъ.

Алексѣй Леонтьевичъ пустилъ лошадь. — Держа обѣ возжи раздѣльно, онъ протягивалъ руки довольно далеко впередъ, представляя тѣмъ вѣрную опору для Милы. Куда бы ни пошатнулась она — назадъ, или впередъ — готова была сильная рука поддержать ее; но при этомъ Алексѣй Леонтьевичъ, сводя руки, долженъ былъ неминуемо притянуть возжи и лошадь останавливалась.

Такъ было и теперь

Лошадь, порываясь, подалась впередъ. Изъ колеи въ колею ее должно было поворотить, чтобы миновать заднія колеса тѣлеги, не вошедшія въ кустарникъ. При этомъ толчокъ былъ такъ силенъ, что Мила въ испугѣ искала рукою ухватиться за руку Алексѣя Леонтьевича и онъ тихонечко придержалъ ее за талію; лошадь стала.

— Людмила Павловна, извините! послѣдній толчокъ. — Что жъ, человиче? обратился Алексѣй Леонтьевичъ.—Видишь, не везетъ!

— Не везетъ же, пане, не везетъ.... Она счастье ваше, великое везетъ—не хай съ Богомъ везетъ!

И повезъ буланый....

Пани-воеводша, совсѣмъ припараженная, въ чепцѣ, распоряжалась при старой «бабусѣ» (мыли тамъ какую-то посуду), когда топотъ буланаго коня заставилъ ее поворотить голову—у нея руки опустились.... Дочка ея, Людмила Павловна! воспитанная! на бѣговыхъ дрожкахъ съ мужчиной сидитъ!...

Еще Одарья и Наталья, съ открытыми ртами, смотрѣли на эту невидаль; а уже Катерина Логвиновна ея не видѣла. Отворотясь, она глубоко смотрѣла въ глубь темнаго колодезя, и на отражающіеся тамъ трепетные листья старой бабуси пала не Божья ранняя роса, а горькая человѣческая слеза оскорбленной матери.

Пани-воеводша подняла голову. Времени прошло достаточно для того, чтобы дочкѣ встать съ бѣговыхъ дрожекъ и не позорить въ лицо своей матери. Пани-воеводша направилась медленно къ своему бѣленькому, тихому домику.

Еще въ сѣняхъ она заслышала звучную веселую походку гостя, быстро ходившаго по ея пріемной комнаткѣ. «Хотьбы *ея* на первую минуту тамъ не было!» даже сама себѣ сказала шепотомъ пани-воеводша. И Милы точно не было. Алексѣй Леонтьевичъ одинъ весело шагалъ по небольшой комнаткѣ. Но слухъ его былъ на сторожѣ. Едва взялась за дверь Катерина Логвиновна, какъ уже Алексѣй Леонтьевичъ послышалъ ея приходъ и стоялъ передъ нею и передъ дверью, раскланиваясь одной и притворяя рукой другую.

— Что вамъ, Алексѣй Леонтьевичъ, безпокойствіе такое принимать? замѣтила по своей обычной вѣжливости пани-воеводша на счетъ притворенной двери.

— Нашли нѣженку! также съ своей всегдашней веселостію отвѣчалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Совсѣмъ выбился изъ силъ человѣкъ, что пошевелилъ двумя пальцами! Да я теперь, Катерина Логвиновна, въ такой силѣ, что мнѣ хоть сто пудъ на плеча давайте—понесемъ съ Богомъ.

— Оно, конечно, все съ Богомъ, подтвердила пани-воеводша.—Прошу милости садиться, сказала она. Вотъ и весна у насъ; истинно сказать, Божія: майской золотою капелькою не обидѣлъ насъ Господь. И теперь день-другой лѣта, а роса, какъ колодезь, стоитъ.

— Стоитъ, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.

— Почитай, люди добрые, благословясь, черезъ недѣльку

сѣнокосы начнутъ.... Вы, Алексѣй Леонтьевичъ, по лугамъ вашимъ, какъ рано думаете?

— Извините, пани-воеводша! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ. —Благодарить Бога, я уже наговорился о своемъ хозяйствѣ; а теперь Господь Богъ дастъ мнѣ великую милость поговорить съ вами о чемъ другомъ, получше хозяйства.

Алексѣй Леонтьевичъ всталъ.

— Пани-воеводша! дорогая пани-матерь — какъ Господь Богъ приводитъ меня называть васъ, поцѣловалъ Алексѣй Леонтьевичъ руку у Катерины Логвиновны и сѣлъ близко возлѣ нея.

— Вы помните, моя матерь, какъ недѣли двѣ тому назадъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, мы съ вами горе горевали, что не приходится намъ подѣлиться великимъ счастьемъ: вамъ дочку вашу въ замужство мнѣ отдать, а мнѣ ее въ жену себѣ дорогую взять. И вы еще, пани-матерь, такъ мнѣ вашимъ словомъ сказали: пусть мнѣ Богъ помогаетъ на мое счастье! И помогъ мнѣ Господь Богъ вчера, велико помогъ, пани-матерь! Началъ я говорить—слово такое глубокое отъ сердца сказалъ, что оно доступило къ самому сердцу Людмилы Павловны—и она мнѣ согласье свое дала. Дайте же намъ, пани-матерь, ваше материнское согласье на то, въ чемъ насъ Господь Богъ согласилъ на вѣки вѣчные ненарушимо намъ быть.

Катерина Логвиновна не смотрѣла на Алексѣя Леонтьевича. Кажется, слезы сердечнаго умиленія дрожали въ ея потупленныхъ глазахъ; но тѣ двѣ слезы, упавшія въ глубь темнаго колодезя, камнемъ легли на материнское сердце Катерины Логвиновны и не дали этимъ слезамъ проступить наружу.

— Алексѣй Леонтьевичъ! сказала пани-воеводша, на всѣ его сердечная наименованія «матери и пани-матери», не отвѣтивъ ни однимъ словомъ, не назвавши Алексѣя Леонтьевича «родной мой», какъ часто, прежде того, называла пани-воеводша.—Алексѣй Леонтьевичъ!—помолчавши, повторила

она.... Коли пришелъ часъ воли Господней, нашему человѣческому хотѣнью или нехотѣнью не слѣдъ тамъ быть. Я, Алексѣй Леонтьевичъ, ни вамъ, ни дочки моей въ вашемъ дѣлѣ не помѣха. Боже васъ благослови въ житьѣ и въ добрѣ, во всякомъ его благословеніи!

Всталъ Алексѣй Леонтьевичъ. Грустно ему было.

— Покорно васъ благодарю, пани-матерь! сказалъ онъ, низко кланяясь Катеринѣ Логвиновнѣ.—Такъ если вы насъ благословили Божьимъ благословеніемъ совмѣстнаго добра и житья, пани-воеводша, — на какой же часъ опредѣлите вы принять намъ то Божье благословеніе отъ лица самого Господа Бога, во святомъ Его храмѣ, пани-матерь?

Катерина Логвиновна, кажется, не ожидала такого положительнаго вопроса.

Она помедлила немного.

— Извѣстно вамъ, Алексѣй Леонтьевичъ, — сказала она: что эти дѣла не дѣлаются скоро. По осени.

— Извините, пани-воеводша. Божье дѣло не за печкой лежитъ, а въ міръ глядитъ. Осени долго ждать, пани-матерь.

— Подождете, Алексѣй Леонтьевичъ. Сами вы изволите знать, какая пора идетъ. Съ полей Божью благодать принимать и вмѣстѣ свадьбу играть—суетно и намъ, и вамъ будетъ.

— Пани-матерь! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—А что Божью благодать вы отъ моего сердца отрѣете,—это вамъ не грѣхъ будетъ? Долго я ждалъ и молилъ у Бога милосердаго счастья и теперь еще вы мнѣ велите три мѣсяца ждать? Нѣтъ, пани-воеводша! съ веселой рѣшимостію сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Извините, не погнѣвайтесь: на такія рѣчи у вашего сына ушей нѣтъ. Суетно, вы говорите? Такъ дайте мнѣ, пожалуйте: я всю эту суету на себя возьму... И Катерина Логвиновна, пани моя дорогая! пани хорошая! началъ той простой, открытой рѣчью, въ которой такъ хорошъ былъ Алексѣй Леонтьевичъ.—И вы думаете, что это вамъ хозяйливѣе будетъ, какъ ни у васъ, ни у меня сердце

не на мѣстѣ? Какое намъ хозяйство на умъ пойдетъ? Вѣдь уже вы меня не выгоните; а я что день, то буду толочься у васъ. И самъ ничего не сдѣлаю, и у васъ всякое дѣло отобью. Да если уже на хозяйство помолвка пошла, улыбался Алексѣй Леонтьевичъ: такъ прямымъ путемъ слѣдуетъ, пани-воеводша: что я хочу взять, а вы мнѣ изволите дать хозяйку на сѣнокосы да на рабочую пору. Вѣдь оно извѣстное дѣло: коли нашъ братъ, хлѣбопашецъ, прозѣвалъ, не женился въ рождественскій мясоѣдъ—такъ онъ спѣшитъ теперь поправиться и на рабочую пору въ домъ себѣ хозяйку-работницу взять.

Даже Катерина Логвиновна будто улыбнулась тому, что ея Мила могла хозяйкой-работницею у мужа-хлѣбопашца стать! Алексѣй Леонтьевичъ открыто смѣялся.

— Такъ вотъ какъ, пани-матерь! сказалъ онъ.—Это дѣло у насъ съ вами порѣшеное; а что другое-прочее, что приданымъ зовутъ — Христосъ съ нимъ со всѣмъ! Мнѣ за нею и солнца краснаго въ приданое не давайте. Она сама мнѣ красное солнце... И дочка у васъ, пани-матерь, не за горами будетъ. Почитай можно сказать: и дома, и за мужемъ. Нѣтъ! вы другой намъ судъ судите, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ, цѣлуя руку у Катерины Логвиновны—такой судъ, пани-матерь— не подъяческій; а чтобы онъ былъ покороче воробьинаго носа, да побыстрѣе соколинаго лета.

— Скоро вы гоните, Алексѣй Леонтьевичъ, — замѣтила пани-воеводша... Но что-жъ мы это вдвоемъ съ вами принялись судъ судить — не привелось бы разсуживать... Дочка моя, Людмила Павловна! возвысила голосъ пани-воеводша, пожалуйте на совѣтъ къ намъ.

Въ комнатѣ стало такъ тихо—такъ напряжено было вниманіе услышать, что вотъ сейчасъ отворится дверь, — что когда она отворилась и тихій шелестъ пошелъ отъ нея—въ ушахъ у присутствующихъ словно встали гремучіе звуки и вся звономъ дрогнула прежняя тишина. Мила, не доходя двухъ шаговъ до матери, остановилась противъ нея. Она

всѣмъ неотступнымъ взглядомъ молодыхъ, видно опять плакавшихъ глазъ—приковалась къ лицу матери. Мила смотрѣла такъ на мать, что не видѣла никого болѣе. Но въ замѣнъ того мать вовсе на нее не смотрѣла.

— Людмила Павловна! сказала пани-воеводша, прозирая куда-то въ даль своими карими недвижными глазами.—Алексѣй Леонтьевичъ проситъ, чтобы свадьбѣ скорѣй быть; я, мать, говорю: чтобы обождать до осени; а вы, дочка, что скажете?

Мила ничего не говорила. Она смотрѣла и смотрѣла, выжидая на себя взгляда матери—и съ той же напрасной томительной тоскою,—какъ если бы она стала выкликать лучъ дневной на мглу и высоту полуночнаго неба.

Пани-воеводша не пошевелила одной зѣницей глазъ.

— Что-жъ, Людмила Павловна! какъ же вы скажете? Когда свадьбѣ быть?

— Завтра! сказала Людмила Павловна. Мать, въ непобѣдимомъ изумленіи, всѣми глазами взглянула на свою дочь. Но теперь уже дочь не смотрѣла болѣе на мать. Ея молодые глаза, полные томительнаго жара молодой души и полные слезъ, отворотились, чтобы поискать себѣ другаго отвѣтнаго взгляда, и нашли его.

Молчаніе на минуту было до того полное, что о немъ мало сказать: безвучно; оно, казалось, было бездыханно.

— На завтра, такъ и назавтра,—сказала пани-воеводша, и въ убитомъ силою воли голосѣ даже не слышалось—ничего не слышалось.

Катерина Логвиновна взглянула на Алексѣя Леонтьевича. Какая-то ѣдкая полоса, какъ бы горькой иронiи, прошла надъ высокими бровями пани-воеводши. Казалось, глядя на завтрашняго зятя, она хотѣла сказать ему: «вотъ же вамъ, сударь мой, Алексѣй Леонтьевичъ, по вашему сказанному слову вышло: что короче воробьинаго носа» — но не сказала пани-воеводша.

А помедля, Катерина Логвиновна произнесла такъ:

— Коли оно на завтра, такъ, можетъ быть, сегодня благословеніе нужно дать—священника позвать.... Людмила Павловна! вы, Алексѣй Леонтьевичъ! судомъ своимъ разсудите какъ? А мой судъ, про меня, такой,—сказала пани-воеводша: что хотя оно дѣло спѣшное, да все же не краденое, и хоронясь отъ добрыхъ людей, я такого дѣла зачинать не стану. Завтра завтремъ; а сегодня я пошлю гостей на сговоръ звать.

Алексѣй Леонтьевичъ всталъ и взялся за картузъ.

— Вы это куда, Алексѣй Леонтьевичъ?

— За священникомъ, пани-матерь. На мое счастье никто не работникъ. Я самъ поѣду.

Въ слѣдъ за Алексѣемъ Леонтьевичъ вышла и пани-воеводша изъ комнаты, и Мила осталась одна сидѣть подъ клѣткой съ канарейкою. Канарейка пѣла и высвистывала, полоскалась въ водѣ, разбрызгивая мелкія капли; а Мила все неподвижно сидѣла съ поникшей головою, и не будили ее малые брызги.

Алексѣй Леонтьевичъ болѣе часу проѣздилъ за священникомъ. Не засталъ его дома; батюшка былъ на пасѣкѣ. Нужно было отыскать его пасѣку; потомъ еще отыскать дьячка, который уже былъ на своемъ сѣнокосѣ, и только послѣ всѣхъ этихъ розысковъ, Алексѣй Леонтьевичъ воротился, усталый до пота лица, везя на своихъ бѣговыхъ дрожкахъ батюшку съ его широкополой шляпой и съ большимъ узломъ церковныхъ вещей; между тѣмъ какъ дьячекъ и пономарь пѣшеходомъ старались догнать могучую рысь буланаго коня.

Начались приготовленія къ молебну. По указанію матери, Алексѣй Леонтьевичъ снялъ со стѣны древнюю икону Пресвятой Богородицы Озарянской съ Христомъ младенцемъ и съ символическими звѣздами, разсыпанными въ серебряныхъ лучахъ вѣнца и въ складкахъ древней потускнѣвшей ризы. Начали пѣть молебенъ съ радостнымъ акаѳистомъ Божіей Матери. Катерина Логвиновна клала земные поклоны за всѣми «кондаками» и «икосами.» Кажется, она

усиливалась не плакать и сдерживала слезы почти до самаго конца; но когда священникъ началъ повторительное: *О всепѣтая Мати!* пани-воеводша припала головою къ землѣ, и когда она поднялась, — на томъ мѣстѣ, гдѣ склонялась Катерина Логвиновна, остались на полу большія влажныя пятна отъ слезъ, и слезы у нея ручьями катились изъ глазъ. Мила стояла на колѣнахъ на порогѣ отворенной двери изъ своей комнатки въ эту большую комнату, гдѣ пѣли молебенъ. И это раздѣльное ея положеніе какъ бы указывало на внутреннюю раздѣльность молитвеннаго состоянія ея души. То Мила горячо молилась; губы ея, шептавшія тихую молитву, даже какъ бы улыбались отъ внутренней сладости ея и вѣры умиленнаго сердца; то мало-по-малу жаркій свѣтъ молитвеннаго одушевленія сходилъ съ лица и молодое лицо, блѣдное и унылое, наклонялось къ груди, пока опять сила благодатнаго внутренняго движенья не шевелила души. Но Алексѣй Леонтьевичъ молился такъ, какъ привыкъ русскій человѣкъ, въ горѣ ли, въ его ли сердечной радости, молиться одинаково милосердому Богу: все тѣмъ же большимъ крестомъ отъ чела до груди, отъ одного плеча до другаго и съ тѣмъ же смиреніемъ, поминающимъ свои людскіе грѣхи и неправды передъ Создателемъ Богомъ.

По окончаніи молебна началось благословеніе жениха и невѣсты. Здѣсь была минута, когда дочь могла безъ словъ, безъ всякихъ объясненій примириться съ матерью въ одномъ жаркомъ обоюдномъ объятьи. Но робость Милы помѣшала тому. Стѣсняемая новостью своего положенія, чувствуя на себѣ неудовольствіе матери—смятенная и запуганная имъ, Мила не дала воли своему чувству и робко едва осмѣлилась поцѣловать мать. Пани-воеводша такимъ же, глубоко сдержаннымъ поцѣлуемъ поцѣловала дочь—и раздѣленіе, шире прежняго, залегло между ними.

Когда все это грустно окончилось, Катерина Логвиновна не рѣшала, что велѣть прежде подавать: чай ли, пироги ли,

или и самый обѣдъ? Потому что и пироги были готовы, и обѣдъ поспѣлъ и уже солнце почти прямо стало въ окна пріемной комнаты, что означало полдень, и если бы кто подумалъ усомниться въ этомъ, то знаменитые часы пани-воеводши, начиная шипѣть и хрипѣть, приступали къ великой натугѣ ударить двѣнадцать.

Пани-воеводша рѣшила такъ: что чай таки чаемъ и батюшка не откажется выкушать; а пироги чтобы были къ обѣду. Они и безъ того слывутъ: «пироги—обѣду враги» — такъ пусть уже не спорятъ межъ собою.

И вотъ отлично помиривши пироги съ обѣдомъ, батюшка посадилъ дьячка за кучера и думалъ было не менѣе отлично прокатиться на буланомъ Алексѣя Леонтьевича. Но едва только непривычныя руки тронули возжи буланаго, какъ онъ поднялъ такую кутерьму, что Алексѣй Леонтьевичъ, волею и неволею, а долженъ былъ везти батюшку въ такомъ же точно порядкѣ, какъ онъ привезъ его.

Поджидала ли Мила своего нареченнаго жениха, безпокоилась ли она объ его отсутствіи? Только Алексѣй Леонтьевичъ какъ поѣхалъ и проходилъ часъ, другой и третій, а онъ все еще не пріѣзжалъ. У пани-воеводши шли большіе сборы и приборы къ пріему гостей; Мила, затворившись отъ грусти и суеты, сидѣла въ своей комнаткѣ и, кажется, что она забылась короткимъ сномъ, склонясь себѣ на руки. И вотъ въ подобныхъ обстоятельствахъ бойкія и назойливыя горничныя, въ родѣ Даши, получаютъ высокую цѣну. Даша, не дожидаясь приказаній барышни и не спрашивая о нихъ, сама сообразила, что невѣстѣ приличнѣе всего быть въ розовомъ (что когда сама Даша будетъ невѣстою, она тоже непремѣнно надѣнетъ розовое) — и на этомъ основаніи Дарья Самсоновна приготовила для барышни розовое кисейное платье и все необходимое, что шло къ нему, разгладила все отличнѣйшимъ образомъ и такимъ же точно образомъ Дарья Самсоновна перебранилась со всѣми въ кухнѣ будто бы за утюги. Наконецъ Даша явилась передъ

Людмилой Павловною и объявила ей голосомъ, не принимающимъ возраженій: «Вамъ-съ, барышня, пора одѣваться.» Можно бы было подумать, что барышня съ горничною — помѣнялись ролями, слыша кроткій и почти робкій отвѣтъ Милы: «А когда пора, Даша, то и пора.»

Но процессъ туалета мало по малу возбудилъ въ Людмилѣ Павловнѣ ея женственную энергію и быть хорошенькой для нареченнаго повѣяло такимъ живительнымъ обаяніемъ, что тоска и томленье Милы гдѣ дѣлись? Молодые глаза свѣтло сіяли въ старомъ зеркалѣ и полуобнаженная рука легко и ловко свивала и подвивала локонъ... Но вдругъ обѣ руки, какъ мраморныя, недвижно легли на колѣна у Милы—полные звуки мужскаго полнаго голоса раздались въ смежной комнатѣ, и подъ ихъ мощную, захватывающую душу, полноту—поднялась грудь и опустилась головка Милы.

— Я право не понимаю-съ, барышня, о чемъ вы все задумываетесь?—желала знать Даша.

Но, по крайней мѣрѣ, барышня поняла, что задумываться такъ нѣжно и трепетно, какъ задумалась она, нельзя и не должно при назойливыхъ горничныхъ. Мила стала поспѣшно одѣваться. Гости прибывали. Полнота мощныхъ звуковъ не доходила уже во всей чистотѣ; къ ней примѣшивались разные. не ей принадлежащіе тоны, и мало-помалу она совсѣмъ стихла. Но въ замѣнъ ея другой строй отдающейся музыки шаговъ сталъ все ближе и ближе подходить къ затворенной двери и неотступно чѣмъ-то вызывающимъ отдаваться въ ушахъ... Людмила Павловна вышла.

— А!.. встрѣтило ее одно короткое восклицаніе...

И за тѣмъ оно разомъ покрылось привѣтствіями и поздравленіями пани Швачки и Сухомлички пани, Додуленковъ и Процѣнковъ; панъ Триль всталъ изъ подъ канареечки; барышни Петренковы обступили Милу. Матѳій Тимоѳіевичъ Мокрый, скрыпя своими сапогами, шелъ быстро навстрѣчу и, прихлопывая по рукамъ, повторялъ: «похвально! по-

хвально! За таковое похвальное дѣло позвольте вамъ, Людмила Павловна, ручку поцѣловать» и поцѣловалъ панъ Мокрый. Но Мила, отвѣтивъ маленькою улыбкою свѣтлой широкой улыбкѣ, которая всюду провожала ее и глядѣла ей прямо въ лицо, Мила протянула обѣ руки къ Настенькѣ. Та стояла не вдалекѣ отъ дверей и, въ своей застѣнчивости, медлила приблизиться и сказать что нибудъ своей вчерашней подругѣ. Но Мила не медлила. Она подошла къ Настенькѣ и поцѣловала ее точно такъ, какъ вчера цѣловала подъ вербами. «А вашъ Гальченко?» шепнула Мила, чтобы на робкую застѣнчивость Настеньки вызвать веселую улыбку — и вызвала ее. За тѣмъ дѣвушки сѣли рядомъ и едва только пани-воеводша, можетъ быть, успѣла спросить себя: «что это? Откуда эта дружба съ Алешковой? Вчера, можно сказать, въ глаза ее не знала,»—какъ въ глаза Милы смотрѣлись зоркіе проницающіе глаза и самымъ лукавымъ взглядомъ.

— Людмила Павловна! Побойтесь вы милосердаго Бога! говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ, становясь прямо передъ нею.

— Это же по какому случаю вы меня призываете, Алексѣй Леонтьевичъ, ко страху Божію? спрашивала Мила, немного смѣясь и будто рѣшительно не понимая, въ чемъ дѣло, ни изъ глазъ Алексѣя Леонтьевича, ни изъ его словъ, ни изъ самой улыбки.

— А вы не знаете? качалъ онъ головою. — Такъ поглядите на себя въ зеркало.

Мила осталась очень довольна этой своеобразной пенею.

— А я вамъ скажу, гдѣ я пропадалъ, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Спалъ, Людмила Павловна.

— И хорошо спали? спрашивала она.

— Отлично—какъ человѣкъ, который ночь не спалъ. Ѣду съ батюшкою — жаръ, сонъ меня клонитъ и къ тому еще подумалъ: все же я пока лишнее бревно здѣсь. Матушка будетъ суетиться да прибираться гостей ждать; а я буду только помѣха ей. Заѣхалъ вотъ я къ нимъ, говорю: «На-

стенька, дорогая душа! лайте что нибудь въ головы. Пойду къ вамъ подъ вербы спать. Настенька подушку мнѣ принесла, да еще *въ головы* разсказала мнѣ все, какъ вы были у нея: такъ я, Людмила Павловна, такъ сладко заснулъ— будто васъ во снѣ видѣлъ! заключилъ Алексѣй Леонтьевичъ.

И это былъ его единственный разговоръ во весь вечеръ съ дорогою нареченной невѣстою. Радость Сороковки о женитьбѣ Алексѣя Леонтьевича была такъ велика, многопытлива и по малороссійски лукаво-шутлива; столько возбуждала толковъ, подразумѣній и многообразныхъ недоразумѣній, что Алексѣй Леонтьевичъ со всѣмъ его веселымъ умѣньемъ долженъ былъ управляться здѣсь, давать всему свой разумъ и пуще огня беречься, чтобы то или другое слово веселыхъ гостей не показалось какимъ нибудь непріятнымъ словомъ пани-воеводшѣ. Но, кажется, не уберегся Алексѣй Леонтьевичъ и Мила съ своей Настенькою не порадовала матери. «Всѣ другія барышни, хоть бы и Мокраго и Петренковыхъ, сидятъ; а она нашла какіе длинные разговоры съ Алешковой вести!» Катерина Логвиновна перестала удивляться всему; но это еще не значило, что она перестала огорчаться всѣмъ.

Наконецъ гости разъѣхались. Небольшія комнатки, передъ тѣмъ туго набитыя пьющимъ, жующимъ и смѣющимся веселымъ народомъ, казались совершенно пустыми; особливо, когда взглянуть было на три лица, которыя оставались въ нихъ и до того чувствовали крайнюю стѣсненность своего положенія, что боялись заговорить другъ съ другомъ.

Алексѣй Леонтьевичъ всталъ.

— Матушка! сказалъ онъ: вы намъ ничего не изволили приказать о завтрашнемъ днѣ, и я полагаю лучше всего, чтобы намъ изъ церкви, когда благословитъ Господь, отправиться прямо ко мнѣ. Тамъ и народу этого никакого нѣтъ и всякихъ сборовъ и суеты меньше.

— Это какъ вамъ угодно, Алексѣй Леонтьевичъ, и Люд-

милѣ Павловнѣ—въ этомъ ваша воля, а не моя. Какъ вамъ угодно, отвѣчала пани-воеводша.

Алексѣй Леонтьевичъ, прощаясь, поцѣловалъ у нея руку и таковъ былъ гнетъ, который несли на себѣ женихъ и невѣста, что, разставаясь до завтрашняго великаго дня, они не посмотрѣли другъ другу въ лицо. Алексѣй Леонтьевичъ даже не поцѣловалъ руки у Людмилы Павловны; онъ только крѣпко сжалъ ее и будто потянулъ слегка за собою. Мила приняла этотъ знакъ и вышла въ темныя сѣнички за Алексѣемъ Леонтьевичемъ.

— Вы, Людмила Павловна? — спросилъ онъ, нѣсколько минутъ ожидая ея прихода, и улучивъ одну ея руку, онъ просилъ, чтобы она подала ему другую.—Людмила Павловна! сказалъ онъ, крѣпко сжимая обѣ ея руки вмѣстѣ: — горько вамъ далось это дорогое мнѣ: *завтра*! И только развѣ завтра я буду смѣть поблагодарить васъ за него... Но Господи! Какая здѣсь темень! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ. Я не вижу васъ, Людмила Павловна. Надобно поискать свѣту.

Но его трудно было найти. Отворить маленькую дверь на дворъ нельзя было никакъ, потому что прямо въ нее билися сильный порывистый вѣтеръ, обѣщая къ завтрему едва ли не надуть дождя. Впустить немного свѣта изъ комнатъ, гдѣ сидѣла сумрачная пани-воеводша—ну, нѣтъ! Алексѣй Леонтьевичъ лучше соглашался оставаться въ совершенномъ мракѣ. Но однакоже лучъ свѣта нашелся.

Въ сѣничкахъ, въ самомъ верху, было вмазано стеклышко какъ разъ надъ тѣмъ примосточкомъ, гдѣ обыкновенно у малороссійскихъ хозяекъ ставится кадочка съ водою и накрывается кружкомъ или полотенцомъ. Алексѣй Леонтьевичъ поставилъ на примосточекъ одну ногу, подняль съ земли Людмилу Павловну и посадилъ ее къ себѣ на колѣно. Такимъ образомъ все, что только проходило въ стеклышко свѣта отъ мерцающаго мѣсяца, пало на лицо Милы.

— Я боюсь, Людмила Павловна, чтобы вы не сосколь-

знули и буду придерживать васъ, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ—и въ самомъ маленькомъ свѣтѣ различая, какъ зардѣлось нѣжное молодое лицо и къ землѣ опустились ясные глазки.—Гнѣвается на насъ наша матушка, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ. Что будемъ дѣлать? Перетерпимъ, Людмила Павловна. Материнскій гнѣвъ, что весенній снѣгъ: и много его нападетъ, да скоро потаетъ... Взгляните на меня, моя дорогая.

Но Алексѣй Леонтьевичъ долженъ былъ самъ наклонить ниже свою голову, чтобы поискать взгляда, о которомъ просилъ онъ.

— Такъ какъ же, Людмила Павловна? Вы изволили слышать: изъ церкви—и прямо домой... *Домой*, Людмила Павловна? — наклоняясь поближе, спросилъ онъ. — Скажите словечко.

— Домой, чуть слышно сказала Мила. Алексѣй Леонтьевичъ взялъ и поцѣловалъ ея руку.

— Такъ поговоримъ же о домѣ, моя дорогая... Извините, Людмила Павловна! я такъ васъ въ домѣ принимаю, какъ вы мнѣ съ неба даръ внезапно даетесь. Ничего у меня ни приготовленнаго, ни принаровленнаго къ вашему пріему нѣтъ. Т. е. всякого дрому я, пожалуй, и много натаскалъ къ себѣ, какъ грачъ въ гнѣздо; но чтобы этого пріюту пріятнаго, пуху мягкаго, какъ въ ремезиномъ гнѣздышкѣ, гдѣ бы вы могли расположиться, успокоиться, ничего этого у меня нѣту. Снесите его вы мнѣ сами на вашихъ голубиныхъ крылышкахъ; больше и снести его было бъ некому! Извините меня, Людмила Павловна, не погнѣвайтесь.

Мила и совсѣмъ было хотѣла что-то сказать; но слова не сказались. За то рука ея поднялась и тихо легла на плечо Алексѣя Леонтьевича.

Алексѣй Леонтьевичъ сильнѣе прижалъ ее къ себѣ.

— Благодарю васъ, моя дорогая... Такъ стало, Людмила Павловна,—помолчавши сказалъ онъ: я завтра съ утра пришлю къ вамъ подводу и за Дашей особо пришлю. Вы уже

сами потрудитесь тутъ распорядиться, какія вамъ нужно вещи — не забудьте чего, дорогая! И Даша пускай не медлитъ, а ѣдетъ пожившѣе — *домой*, Людмила Павловна, какъ только она вамъ здѣсь не подъ нужду станетъ....

— Теперь еще вопросъ, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ. Мой экипажъ въ починкѣ, какъ вы знаете. Прикажите взять коляску по сосѣдству, или какъ, Людмила Павловна?.. Не лучше ли мы въ своихъ пролеткахъ и на нашихъ буланыхъ, Людмила Павловна? Богъ не безъ милости: не все же будетъ бушевать этотъ вѣтрище... Такъ какъ вы скажете?

— На нашихъ, сказала Мила.

— Отлично! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—И какъ я васъ, Людмила Павловна, Богъ дастъ, прокачу степью! Не хочу пыльной дорогой везти. Мы лучше степью возьмемъ. Оно хоть и дальше версты на четыре, да за то степь родная! Небо звѣздами, а степь цвѣтами будутъ встрѣчать и провожать насъ... Прощайте, Людмила Павловна! Я бы этакъ всю ночь продержалъ васъ и пробесѣдовалъ съ вами, да нельзя— некогда. Надобно еще въ ночь за колечкомъ на эту ручку посылать. Прощайте!.. повторилъ Алексѣй Леонтьевичъ медленно и пріостановился на одну тихую минуту... Людмила Павловна! сказалъ онъ: мы, слава Богу, благословленные женихъ и невѣста, и завтра, милостію Божіею, будемъ уже и повѣнчанные мужъ и жена: такъ тутъ вовсе грѣха великаго нѣту—Людмила Павловна, поцѣлуйте вы на дорогу меня.

Алексѣй Леонтьевичъ приблизилъ свое лицо—и трепетный, мимолетный поцѣлуй не то коснулся, не то не коснулся его.

— Благодарю васъ, сказалъ онъ взволнованно.. Но знаете, Людмила Павловна, это—забава, а не поцѣлуй... А вотъ этотъ, Мила, беретъ и отдаетъ душу...

Алексѣй Леонтьевичъ слегка приклонилъ къ себѣ Милу и поцѣловалъ ее мощнымъ, долгимъ поцѣлуемъ. Когда онъ отнялъ свое лицо, Мила осталась у него на плечѣ и онъ изъ устъ и рукою навѣвалъ ей прохладу на закрывшіеся глаза и хотя немного открытыя, но не дышавшія губы.

— Теперь ты моя! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ, слегка цѣлуя лобъ Людмилы Павловны, когда она открыла глаза... Отдохни еще у меня... не поднимай головки. Пусть еще она полежитъ у меня,—приникая близко къ Милѣ, смотрѣлъ на нее Алексѣй Леонтьевичъ.—Ну, теперь пора, Мила! загорѣлись румянцемъ щечки... Когда бы ты знала, какъ мнѣ трудно оставлять тебя! Но дѣлать нечего — пора. Прощай, Мила!..

Алексѣй Леонтьевичъ спустилъ съ колѣна Людмилу Павловну и перекрестилъ ее.

— Христосъ съ тобою! почивай здорова... Не выходи провожать меня — вѣтеръ! быстро сказалъ онъ, захлопывая за собою дверь.

И Мила не вышла, послушная сказанному слову; но она дождалась въ темныхъ сѣничкахъ, пока звонкое ржанье и топотъ рьянаго коня перестали проноситься даже въ порывахъ вѣтра, и тогда Мила вошла въ свои материнскія комнатки. Пани-матерь сидѣла у открытаго окошка. Вѣтра съ той стороны не было; но большія Вербовскія вербы, сбитыми комами закрученныхъ и перепутанныхъ вѣтвей и разсыпчатыхъ листьевъ, мигали въ темнотѣ и словно заглядывали въ окошко. Но Катерина Логвиновна того не видѣла — не видѣла и того, что дочь, въ красотѣ и силѣ новоданной души, пришла и стала въ двухъ шагахъ отъ матери. Вся озаряясь тихой улыбкою, постояла Людмила Павловна и тихо пошла къ себѣ... Заколыхайте вы, Вербовскія вербы, думу пани своей!

Богъ не безъ милости, какъ сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ— тому, кто просто, всѣмъ сердцемъ уповаетъ на Его милость. День на утро вышелъ чудеснѣйшій, что лучшаго и желать было нельзя. Ночью полоснулъ дождичекъ, буря опала и утро съ своимъ краснымъ солнышкомъ вышло, какъ женихъ изъ чертога...

Но наша невѣста спала, спала подо всѣми тихими обаянь-

ями дѣвственнаго сна и прикоснувшагося поцѣлуя жениха, и мирной тишины роднаго домика, лелѣявшаго въ послѣднее ея утренній сонъ.

— Не стучите, родныя! не разбудите мнѣ ее! всѣмъ одно говорила пани-воеводша, ходя не слышно и, въ тоскливой заботѣ, все что-то собираясь дѣлать и не дѣлая, а только поводя руками.

Наконецъ такъ дорого лелѣемый сонъ все-таки снялся съ молодыхъ рѣсницъ. Порханье и щебетанье у окна бьющихся воробьевъ привычно наполнило слухъ Милы. Съ улыбкою она поднялась было... Но вся память сегодняшняго дня — все, что въ немъ ожидало ее, прилило къ ней нахлынувшей волною и Мила опять упала на свою подушку, закрывая глаза прижавшимися къ лицу руками. Часы начали бить разъ и два, и до десяти—и каждый ударъ ихъ, тяжело замедляющійся, какъ бы послѣдній и опять—и снова возстающій, билъ въ самое сердце Милы. Еще бы три, или четыре, такихъ удара и она бы не выдержала; Милѣ сдѣлалось бы дурно. Она поспѣшно встала... Въ домикѣ у пани-воеводши окна не растворялись, а поднимались, какъ въ избахъ у нашихъ поселянъ. Мила подняла окно и оттолкнула ставень .. И свѣтъ, и воздухъ животворно теплый, и жаркій разсыпчатый лучъ въ капляхъ росы и оглушающее щебетанье веселаго народа пташекъ, напрасно все это вмѣстѣ прилило и дышало, какъ дышетъ животворное міровое счастье въ молодое лицо! Мила не лицо, а свою наклоненную голову отдавала подъ привѣтъ этому счастью.

— Пойду, сказала она съ той томительной тревогою, которая заставляетъ наше сердце живымъ словомъ нашихъ собственныхъ устъ говорить съ нами. И Мила пошла, т. е. она стала на стулъ и черезъ окно переступила въ садъ.

Полянки по саду уже обсохли; на нихъ по травѣ не стояла роса; но въ тѣни она стояла колодеземъ. Мила шла въ тѣни и по полянкамъ... Поперемѣнно то жаркій лучъ всю обнималъ ее, то задѣтая вѣтка встряхивалась и осыпала ее

каплями росы. Но скоро это безцѣльное блужданье нашло себѣ чудно-умиряющій исходъ. Въ глаза Милѣ засіялъ крестъ Сороковской церкви и вся тоскливая тревога молодой души прилилась къ нему въ жаркомъ молитвенномъ пылѣ. Напрасно отдѣляли ее широкій лугъ и безъименная рѣчка Сороковки, и густо сплошныя тѣни сада пана Мокраго,—все проницая собою и возносясь поверхъ всего—святой крестъ сіялъ и сіялъ золотыми лучами на склоненную голову Милы...

Она встала съ травы. Что-то промелькнуло мимо густыхъ вербъ; но Мила не обратила на это вниманіе. Она шла по дорожкѣ къ дому. Отворяя калитку, она, вмѣстѣ со скрыпомъ ея, послышала лошадиный топотъ — оборотилась... и подводы, присланныя Алексѣемъ Леонтьевичемъ, взъѣзжали на дворъ. Съ минуту Мила стояла, держась за калитку, не идя впередъ и не подаваясь назадъ. Люди Алексѣя Леонтьевича ее замѣтили и та поспѣшность, съ какою они сняли шляпы и соскочили съ повозокъ, чтобы издали поклониться ей, говорила ясно Милѣ, что они видятъ въ ней не чужую барышню... Она быстро прошла, почти не отвѣтивъ поклономъ на эти знаки смущавшаго ее вниманія. Но другая встрѣча ожидала Милу при самомъ ея входѣ въ домъ. На порогѣ стояла пани-воеводша. Ничего не зная о присылкѣ подводъ и удивляясь: что это за крашеная хорошенькая таратайка съ ковромъ, съ франтовски-запряженной лошадью и кучеръ не менѣе франтъ: молодой красивый парень въ синемъ армякѣ на распашку и въ красной александринковой рубашкѣ. Пани-воеводшѣ и въ умъ того не приходило, чтобы эта таратайка назначалась для Даши—чтобы эти прибывшія подводы должны были забрать и увезти вещи ея дочери... Мила стала передъ лицомъ матери. Въ живомъ, непередаваемомъ чувствѣ любви и трепета, прощальной тоски, порывомъ охватившей душу, Мила всѣмъ лицомъ припала къ рукамъ матери, цѣлуя ихъ; взяла ихъ вмѣстѣ, прижала къ своей груди; но прежде, чѣмъ опомнилась пани-воеводша, дочери уже не было.

— Барышня-съ? за нашими вещами Алексѣй Леонтьевичъ прислали-съ! — ворвалась въ комнату Даша, позабывъ открыть ставни и не помня того, что это она такимъ вихремъ вносится въ комнату барышни, которая, по ея понятіямъ, должна была еще почивать... «Ахъ, вы уже встали!» какъ бы въ свое извиненіе добавила Даша.—И какой-съ, право, Алексѣй Леонтьевичъ внимательные! скажу вамъ, барышня. Прислали-съ за мною таратайку, и Даша начала трещать о таратайкѣ.

Мила, блѣдная и спокойная, сидѣла у окна.

— Когда же Алексѣй Леонтьевичъ прислалъ за вещами, то надобно собирать вещи, Даша. Начнемъ, — сказала она.

И можно навѣрное сказать, что Людмила Павловна сама уложила свои вещи; а Даша только помогала ей неумолкаемымъ трещаньемъ. Наконецъ все было уложено. Мила нѣсколько разъ останавливалась и ей припоминались слова: «не забудьте чего, дорогая!»

— Кажется, я ничего не забыла, сказала она и вышла изъ своей комнатки, вышла даже совершенно изъ дому, чтобы дать людямъ Алексѣя Леонтьевича войти и вынести ея вещи. Было уже два часа... Какъ грустна и пуста, какъ велика показалась Милѣ ея опустѣлая комната, когда она опять вошла въ нее—та маленькая комнатка, которая такъ часто давила ее своею тѣснотою! Ни комода, ни рабочаго столика не было; гардеробный шкафъ стоялъ растворенный и пустой; одно подвѣнечное платье лежало на кровати, на которой уже подушки не было... Не знаю, какимъ бы знакомъ безмолвнаго томленія выразилась эта грусть отлетающей изъ родимаго угла на новую жизнь пташки, если бы Даша не явилась тотчасъ съ своимъ заливнымъ щебетаньемъ, неся на тарелкѣ, обложенный льдомъ, зеленый вѣнокъ изъ свѣжихъ барвинковъ — вѣнокъ для подвѣнечнаго наряда Людмилѣ Павловнѣ. Мила занялась вѣнкомъ, занялась своимъ предстоящимъ нарядомъ. Сама подметала къ бѣлому платью съ короткими рукавами другіе рукава подлиннѣе и

охорашивая ихъ, закладывая маленькія складочки, которыхъ изящная тайна доступна только очень изящной молодой дѣвушкѣ,—Мила не вспомнила того, что это бѣлое платье, которому такъ неожиданно выпадала доля быть ея подвѣнечнымъ нарядомъ, это платье было то самое, въ которомъ Мила, вмѣстѣ съ Леною, подносила лавровый вѣнокъ сыну Татьяны Николаевны.

А между тѣмъ лошадь въ таратайкѣ, оставаясь одна, безъ своихъ сотоварищей, увезшихъ вещи, порывалась на привязи и громко ржала, выбивая подъ собою землю. Даша сердечнымъ нетерпѣньемъ отвѣчала ржанію лошади. Ѣхать одной, прибыть въ домъ къ Алексѣю Леонтьевичу, распоряжаться тамъ, быть главной—у Дарьи Самсоновны духъ занимался и выгнутыя брови ея еще болѣе выгибались. «Барышня! извольте одѣваться,» объявила она. «Мнѣ, право, некогда ждать. И Алексѣй Леонтьевичъ просили и сами вы, барышня, понимаете, что мнѣ надобно спѣшить, чтобы тамъ хоть что-нибудь на что-нибудь было похоже!» разводила руками Даша. И Людмила Павловна принуждена была согласиться съ доводами своей горничной. «Давай одѣваться,» тихо и медленно сказала она. И Мила совсѣмъ одѣлась; только не надѣла на голову своего свѣжаго вѣнка, чтобы онъ не завялъ немного—да и увядать ему было уже некогда. Било пять часовъ.

Гости начали съѣзжаться и всѣ съѣхались; не было только жениха. Невѣста тоже не выходила изъ своей затворенной комнатки, и какой тяжелый получасъ пережила она, сидя совершенно одна въ своемъ полуразоренномъ гнѣздушкѣ дѣвичьей жизни! Въ шесть часовъ пріѣхалъ Алексѣй Леонтьевичъ съ Гальченкомъ. По суетѣ, поднявшейся вокругъ, Мила догадалась о его пріѣздѣ; хотѣла было встать и не могла. Блѣдная и не трогаясь съ мѣста, она слушала, какъ входилъ Алексѣй Леонтьевичъ, какъ начиналъ говорить онъ... И никого не было, кто бы на этотъ голосъ улыбнулся съ дружеской ласкою Милѣ! Кто бы сказалъ ей тихо и нѣж-

но: «пора, наша Мила!» и подалъ бы ей ея свѣжій зеленый вѣнокъ... Мила сама взяла его. Отряхнувъ нѣсколько капли воды, она надѣла вѣнокъ влажный и холодный на свою голову, и этотъ холодъ дрожью прошелъ по ней по всей. Низко, къ самой землѣ наклонилась передъ Богомъ своей увѣнчанной головкою Мила и когда она поднялась, крестясь,—на мѣстѣ остались капли... отъ слезъ ли, отъ тѣхъ ли капель воды, которыя кое-гдѣ стояли на листкахъ и цвѣткахъ свѣжаго барвинка.

Алексѣй Леонтьевичъ за обѣ руки принялъ Милу, когда она вышла, и представилъ ей Гальченка, какъ своего шафера.

— Въ такомъ случаѣ я знаю, кого мнѣ просить принять эту обязанность у меня,—сказала Мила Гальченку и вмѣстѣ съ нимъ и Алексѣемъ Леонтьевичемъ она подошла къ Настенькѣ и, на удивленіе всей Сороковки, попросила ее подержать ей въ церкви вѣнецъ.

За тѣмъ жениха и невѣсту, по обычаю, посадили за убранный столъ; но это сидѣніе продолжалось не долго. Изъ за стола мать благословила ихъ хлѣбомъ-солью и тѣмъ же благословеннымъ образомъ Озарянской Божіей Матери, и такъ какъ молодые не должны уже были возвращаться, то пани-воеводша передала образъ Алексѣю Леонтьевичу, а благословенный хлѣбъ — дочери: женихъ тотчасъ уѣхалъ съ шафером къ церкви и вслѣдъ за нимъ невѣсту начали готовить и собирать къ отъѣзду. Пани Швачка везла ее на своихъ лошадяхъ и въ своемъ экипажѣ; Настенька ѣхала вмѣстѣ съ нею и все ѣхало, оставляя пани-воеводшу одну въ ея опустѣломъ домикѣ. По обычаю ли, или по закону, но только извѣстно, что у насъ ни мать, ни отецъ не бываютъ въ церкви при вѣнчаніи дѣтей. Мила переступила за порогъ материнскаго домика и вдругъ сказала пани Швачкѣ: «позвольте!» и воротилась къ матери. «Перекрестите меня, матушка!» проговорила она глубоко взволнованно. «Хотя вы благословили насъ; но перекрестите меня! повто-

рила она: «какъ вы всегда меня крестили отпуская отъ себя.»—И пани-воеводша три раза перекрестила дочь.

Вѣнецъ прошелъ глубоко просто, т. е. онъ совершился глубоко торжественно. Панъ Триль и панъ Мокрый пѣли на клиросѣ. У невѣсты не было ни обморока, ни слезъ, ни улыбокъ; а взамѣнъ всего этого, у жениха и у невѣсты было одно глубокое, сосредоточенное вниманіе къ таинству. Когда оно совершилось и священникъ подалъ новосочетавшимся мужу и женѣ—вино вкусить имъ въ знакъ ихъ духовной радости, у Алексѣя Леонтьевича губы нервически дрожали и вся грудь колыхалась, какъ со дна моря движимая волна. Людмила Павловна вкусила уже не одно вино, а оно было растворено слезою умиленія ея мужа. Когда вышли изъ церкви, Алексѣй Леонтьевичъ провелъ свою молодую жену къ одному мѣсту въ углѣ церковной ограды. «Людмила Павловна!» сказалъ онъ: «Это могила моей матушки. Поклонимся ей, нашей родной, и тутъ же батюшка по близу лежитъ», и молодые вмѣстѣ поклонились три раза могиламъ родителей. За тѣмъ они сѣли въ свои пролетки. Людмила Павловна не помнила, кто надѣлъ на нее бурнусъ и кто ей положилъ на колѣна благословенный хлѣбъ; но всѣ люди долго помнили, какъ Алексѣй Леонтьевичъ привсталъ на дрожкахъ, оборотился—назадъ къ церкви, перекрестился на нее и потомъ поклонился народу на всѣ стороны—«Съ Богомъ, Самсонъ! пошелъ!»—проговорилъ онъ.

Но напрасно Алексѣй Леонтьевичъ говорилъ вчера Милѣ и обѣщалъ себѣ великое удовольствіе прокатить ее степью. Они и ѣхали степью; но другое, сладчайшее удовольствіе захватило всю глубину души Алексѣя Леонтьевича. Безмолвный, онъ держалъ на колѣнахъ—благословенный образъ и какъ захватилъ руку Милы, такъ и не выпускалъ ее, прижимая вмѣстѣ съ своей рукою къ образу. Людмила Павловна тоже всеполно молчала и они неслись. Степь разступалась передъ ними. Вчерашняя буря полосами понаклонила по ней траву и теперь эти полосы, подъ росой и отъ свѣ-

та мѣсяца, лучисто расходились по землѣ и тусклыя звѣзды на ризѣ Богоматери загорались отъ блеска небесныхъ звѣздъ, и серебряный вѣнецъ ея обливался свѣтомъ. Этотъ часъ времени, который необходимъ былъ для переѣзда по степи, промелькнулъ совершенно незамѣтно, неощутимо ни для Людмилы Павловны, ни для Алексѣя Леонтьевича. Она даже слегка вздрогнула, когда не смѣлый, почти не узнаваемый голосъ мужской силы и звучности, сказалъ ей трепетно нѣжно: «Вотъ и нашъ домъ, Людмила Павловна!» Она невольно подняла глаза, и домъ всѣми своими освѣщенными окнами глянулъ прямо въ лицо прибывшей хозяйки.

— Прочь собаку! — сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ, неся въ одной рукѣ образъ, а другою вводя въ свой домъ молодую жену себѣ, молодую госпожу своему дому.

Въ залѣ, подъ образами, накрытъ былъ небольшой столъ и на немъ горѣла восковая свѣча. Алексѣй Леонтьевичъ на этотъ столъ положилъ образъ, принялъ отъ Людмилы Павловны благословенный хлѣбъ матери и здѣсь же положилъ его. За тѣмъ молодые супруги поклонились три раза въ землю, поцѣловали образъ, поцѣловали и хлѣбъ святой, и оборотились лицомъ другъ къ другу.

Наконецъ нужно было излиться той затаенной силѣ чувства, которая, не все же нѣмѣя, могла оставаться въ нихъ.

— Здравствуйте, Людмила Павловна! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ, обѣими своими руками принимая за обѣ руки Милу и, во взаимномъ соединеніи, руки ихъ одинаково трепетали.—Здравствуйте же, молодая хозяйка, въ вашемъ дому.... О, благодарю васъ, что вы захотѣли быть ею! О, Людмила Павловна! благодарю васъ, припалъ Алексѣй Леонтьевичъ всѣмъ лицомъ къ рукамъ Милы и не цѣловалъ ихъ; онъ прижимался къ нимъ и плакалъ навзрыдъ.

— Алексѣй Леонтьевичъ!... въ любви и въ тревогѣ, въ непередаваемомъ волненіи души, одно это:—Алексѣй Леонтьевичъ!—произносила Мила.

Но онъ едва ли могъ слышать этотъ трепетный голосъ.

Крестъ-на-крестъ сложившимися руками, онъ продолжалъ прижимать къ груди руки Милы и она слышала, какъ его сильное мужское сердце трепетно билось и на мгновенія замирало подъ ея рукой.

Мила совсѣмъ изнемогла.

— Алексѣй Леонтьевичъ, наконецъ взгляните на меня! почти тихимъ воплемъ произнесла она.

И одного взгляда было достаточно, чтобы собственная тревога Алексѣя Леонтьевича вся перешла въ заботу и въ тревогу о ней, о молодой хозяйкѣ, которая, сама вся въ слезахъ, стояла предъ нимъ и потому только стояла, что онъ сильно прижималъ ея руки къ своей груди.

Алексѣй Леонтьевичъ отвелъ Милу и посадилъ на диванъ. Онъ совершенно былъ несвѣдущъ во всѣхъ этихъ заботахъ и попеченіяхъ, которыя неминуемо требовались для Милы. Но онъ любовью, инстинктивно понималъ ихъ. Алексѣй Леонтьевичъ не обременялъ Милу ни распросами, ни какими успокоивающими словами; онъ только молча, не выпуская, держалъ одну ея руку; а другою Мила оперлась на подушку дивана и, склонясь на нее, тихо плакала.

Но самое это молчаніе, эта страдательная покорность нервамъ Милы дала ей силу преодолѣть ихъ.

— Алексѣй Леонтьевичъ! сказала она, поднимая къ нему заплаканные глаза:—я, или сама плачу, или васъ заставляю плакать—простите меня.

— О, Людмила Павловна! Богъ васъ проститъ! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ со всею улыбкою своего счастья, и онъ, долго и нѣжно цѣлуя, потихоньку сжалъ и поцѣловалъ обѣ ея руки.—Теперь что будемъ дѣлать, Людмила Павловна? Я хочу васъ напоить чаемъ. Вотъ и готово все, показалъ Алексѣй Леонтьевичъ на приготовленный въ гостинной столъ съ чайнымъ приборомъ.—Вы ли сами захотите разлить, или я налью вамъ; только, Людмила Павловна, надобно чай кушать.

Алексѣй Леонтьевичъ вышелъ, и это дало Милѣ возмож-

ность совершенно оправиться; но она все не имѣла силы взглянуть прямо въ лицо своему мужу и когда онъ вошелъ— слегка зардѣвшееся личико Людмилы Павловны было обращено къ нему, но глаза потуплены.

Алексѣй Леонтьевичъ и самъ казался въ немаломъ затрудненіи.

— Не знаю, какъ вамъ сказать, Людмила Павловна, началъ говорить онъ:—и отказать тоже нельзя. Люди наши просятъ— комнатная прислуга, чтобы вы дозволили имъ явиться къ вамъ. Поздравить они насъ хотятъ....

—Ахъ, да! отчего же?... встала Мила, протягивая руку къ Алексѣю Леонтьевичу, и они вышли въ залу.

Тамъ, выглядывая изъ полуотворенныхъ дверей, ожидали съ нетерпѣніемъ этого появленья, и Даша, во главѣ десятка и болѣе лицъ, выступила передъ господами.

— Поздравляю васъ, барышня, вѣнца принявши, сказала Даша, не смотря на свое велико-свѣтское образованіе, сохраняя форму Сороковской рѣчи:—и желаю-съ вамъ, барышня, счастья, здоровья и всякого что ни есть на свѣтѣ благополучія-съ.

Даша хотѣла было поцѣловать руку Людмилы Павловны, хотя хорошо знала, что ея барышня ни кому не давала цѣловать рукъ; но барышня отвела свою руку назадъ и сама поцѣловала Дашу, какъ цѣлуютъ сестру.

—И васъ, баринъ Алексѣй Леонтьевичъ, тоже поздравляю-съ...

Но Алексѣй Леонтьевичъ не далъ излиться поздравленіямъ Даши; а взялъ обѣими руками ея голову и тоже крѣпко поцѣловалъ ее.

За тѣмъ приступила вся новая прислуга Людмилы Павловны. Смущеніе съ той и съ другой стороны было обоюдное. «Здравствуйте!» говорила Мила и слегка кланялась своей милою головкою, и цѣловала всѣхъ; но она почти не видѣла никого. За то какимъ широкимъ объятьемъ обнимался Алексѣй Леонтьевичъ съ своими домашними! «Кажется, вамъ грѣхъ ска-

зать,» въ радости и въ умиленіи говорилъ онъ. «Вы отъ меня ни въ чемъ обижены не были и эта нѣжная ручка, не бойтесь, не обидитъ васъ. Прежде жили хорошо; а теперь, Богъ дастъ, заживемъ въ десятеро лучше.... Спасибо, друзья. Ступайте съ Богомъ. Марья!» махнулъ рукою Алексѣй Леонтьевичъ.... И ключница Марья хорошо поняла, какимъ обиліемъ водки и наливки, и всякихъ закусокъ долженъ былъ сказаться людямъ этотъ выразительный знакъ.

— Но давайте же намъ чаю, чаю! повторялъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Самоваръ! живѣе, други!

И живо все было принесено, подано, поставлено. — Спасибо, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ. Теперь намъ никого не нужно здѣсь. Ступай себѣ. Не стой, молодецъ. Затворяй за собою дверь.

И въ то время, когда человѣкъ притворялъ за собою дверь изъ гостинной въ залу, Алексѣй Леонтьевичъ широко распахнулъ другую дверь на балконъ.

Ночь любопытно глянула своею незрячею темнотою въ уютную озаренную комнату съ шипучимъ блистающимъ самоваромъ, съ молодою хозяйкою въ зеленомъ вѣнкѣ—и любопытно поглядѣла ночь на этого счастливаго человѣка, полной грудью выдыхавшаго въ прохладу ея сладостный жаръ и полноту своего человѣческаго счастья.

Алексѣй Леонтьевичъ оборотился и увидѣлъ Милу занятую чаемъ. Онъ молча придвинулъ къ столу кресло, и сѣлъ въ него молча. Рука его, лежавшая на столѣ, оставалась въ совершенномъ покоѣ и все лицо, одухотворенное выраженіемъ чего-то всеполнаго, вседовольнаго, все заключавшаго въ себѣ — лицо Алексѣя Леонтьевича было прекрасно.

— Людмила Павловна! сказалъ онъ такимъ чистымъ голосомъ равноты звуковъ и ихъ музыкальнаго покоя—позвольте мнѣ говорить вамъ, Людмила Павловна.

— Я васъ слушаю, Алексѣй Леонтьевичъ! сказала Мила и она истинно слушала зардѣвшимися нѣжными ушами эту

знакомую звучность мужскихъ тоновъ его голоса, никогда не доходившую до такой музыкальной полноты.

— Людмила Павловна! мнѣ представляется, что до сихъ поръ я все шелъ и шелъ тяжело въ гору, а теперь я взошелъ на нее и отдыхаю—какъ я, Людмила Павловна, отдыхаю! вздохнулъ переполненной грудью Алексѣй Леонтьевичъ.—Я не пилъ, не ѣлъ сегодня, не курилъ сигары, чтобы мнѣ достойно, постомъ и молитвою, принять, Людмила Павловна, святое таинство, которое отдало васъ мнѣ и меня вамъ....

— И я тоже, тихо проговорила Мила, здѣсь только вспомнивши, что и она въ свою очередь не пила, не ѣла, хотя и не думала о постѣ.

— Начнемъ же съ перваго куска хлѣба все пополамъ, разломилъ Алексѣй Леонтьевичъ пополамъ ломоть бѣлаго хлѣба и подалъ одну половину его Милѣ, другую оставилъ у себя.

.... Все пополамъ, Людмила Павловна!... Чудно, какъ Господь Богъ устроилъ судьбу человѣка въ великомъ таинствѣ брака! Вѣдь три дня, Людмила Павловна, — бралъ Алексѣй Леонтьевичъ руку Милы въ обѣ свои руки,—всего три дня тому назадъ, вы точно также сидѣли здѣсь и разливали чай. Душа моя умирала за вами. Я не смѣлъ не то, чтобы приступить— я не смѣлъ поглядѣть на васъ. Я, Людмила Павловна, изнылъ ту ночь; Богу высказалъ мое сердце, говорю Господи! Ты—мой, а я — Твой: да будетъ воля Твоя! И тому прошло только три дня, Людмила Павловна, и вотъ вы опять сидите у меня—и какое съ нами великое чудо сталося! Уму непостижимое, Людмила Павловна! прикрылъ себѣ Алексѣй Леонтьевичъ глаза рукою Милы и замолчалъ на минуту.

.... Истинно непостижимое.... То, что было мнѣ далеко какъ небо, стало для меня близко—такъ близко, что ближе ничего мнѣ на землѣ и во всемъ мірѣ нѣтъ и не можетъ быть—вы, моя голубка Людмила Павловна! Сочеталъ насъ

Господь на крѣпкую любовь и на вѣрную душу другъ другу. Вы —мнѣ, я—вамъ, Людмила Павловна — и вся жизнь наша въ томъ! поцѣловалъ Алексѣй Леонтьевичъ руку Милы, нѣжно, долго ее поцѣловалъ.

— Да, Людмила Павловна! теперь ни моего, ни вашего отдѣльнаго счастья нѣту для насъ. Все, что мнѣ Господь Богъ благоволитъ послать радости и счастья, онъ пошлетъ мнѣ въ васъ и черезъ васъ. Минуя васъ, нѣтъ для меня и не хочу я никакого счастья! Также и для васъ, Людмила Павловна, моя дорогая—вѣдь я для васъ ваше счастье?

— Да, Алексѣй Леонтьевичъ! тихо сказала Мила и, впервые касаясь руки мужа, она подняла ее и тихо прижала ее къ своему лбу.

Алексѣй Леонтьевичъ медленно наклонился и тоже впервые поцѣловалъ склоненную къ своей рукѣ головку жены.

— Мы, Людмила Павловна, велимъ сюда, на этотъ столъ, подать намъ и ужинъ, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ по окончаніи чая.

И ужинъ подали. Наливъ рюмку вина, Алексѣй Леонтьевичъ предложилъ ее Милѣ. Та обмакнула губы и хотѣла было возвратить.... А все пополамъ? замѣтилъ онъ съ улыбкою. Нѣтъ, я вашей половины не пью.

Мила отпила половину и подала рюмку мужу. — Вотъ и прекрасно! а я ее, Людмила Павловна, долью и полную за ваше здоровье выпью, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ, доливая рюмку и выпивая ее.

— А за ваше?... отозвалась Мила....

— Нѣтъ-съ,Людмила Павловна, не безпокойтесь! остановилъ Алексѣй Леонтьевичъ ручку, потянувшуюся къ бутылкѣ.—На что мнѣ вино? Здоровьемъ я, благодарить Бога, здоровъ и нынѣ радости у меня — Господи! сколько... Не хочу я, Людмила Павловна, къ этой моей радости примѣшивать опьяненье вина! всталъ изъ-за стола Алексѣй Леонтьевичъ.

— Позвольте благодарить васъ, хозяюшку, сказалъ онъ,

помолясь Богу, и не то, чтобы въ этомъ слышалась шутка—вовсе нѣтъ. Алексѣй Леонтьевичъ приблизился къ Милѣ и поблагодарилъ ее съ улыбкою любви и счастья, но вовсе не шутки.

Мила вышла на балконъ. Столъ прибирали и убрали его; Алексѣя Леонтьевича не было. Въ домѣ стало все тихо до замиранья сердца... Людмила Павловна сошла ниже по ступенямъ балкона и прислонилась въ первому дереву.

— Гдѣ же вы, Людмила Павловна? пришелъ Алексѣй Леонтьевичъ... Вы свѣтитесь въ темнотѣ! увидѣлъ онъ и сошелъ къ Милѣ.—Сыро, моя дорогая! и роса вамъ съ дерева будетъ падать на головку.

Мила молчала.

— И уже не рано, Людмила Павловна, сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ: двѣнадцатый часъ, а намъ еще надобно помолиться вмѣстѣ. Угодно вамъ пожаловать мнѣ вашу ручку и пойдемъ.

— Пойдемте, Алексѣй Леонтьевичъ! сказала Мила, въ его спокойной простотѣ, въ его простой почтительности находя силу идти за нимъ, куда бы онъ ни велъ ее.

Алексѣй Леонтьевичъ привелъ Милу въ ту комнату, гдѣ она ночевала. Благословенный образъ ихъ стоялъ въ кивотѣ и передъ нимъ горѣла лампадка. Алексѣй Леонтьевичъ затворилъ за собою дверь.—Читайте вы, Людмила Павловна, молитвы, сказалъ онъ. Ваши уста чище и святѣе моихъ. — Мила начала читать молитвы—тотъ неизмѣнный тысячелѣтній рядъ молитвъ, которыя читаются нами утромъ и вечеромъ, отъ отрочества и до гроба. Голосъ ея, поднятый до полутона, тихо будилъ комнату и неслышный шопотъ устъ Алексѣя Леонтьевича вторилъ ему. Мила прочитала *Достойную*, опустилась на колѣна и не поднималась. Алексѣй Леонтьевичъ приблизился и склонилъ свою голову надъ ея склоненной головою.

«Господи, Отецъ нашъ Небесный! приведый насъ къ сему великому часу... Дай же ей, чтобы она любила меня и что-

бы я любилъ ее, какъ я люблю ее — и чтобы Ты, нашъ Господи, принялъ насъ въ Твое общеніе Божественной любви!»

Алексѣй Леонтьевичъ съ минуту стоялъ въ молчаніи съ наклоненной головою; но эта минута прошла.—Вставайте же, Людмила Павловна! сказалъ онъ, протягивая къ ней обѣ руки... Вставай, моя богоданная, дорогая жена! полнымъ, широкимъ объятьемъ обнялъ жену Алексѣй Леонтьевичъ, поднялъ ее съ колѣнъ и сильно прижалъ къ своей груди. Головка Людмилы Павловны искала схорониться, припадая къ его плечу... Нѣтъ, Мила! поцѣлуй мужа ждетъ тебя, поднялъ ея лицо Алексѣй Леонтьевичъ.—Принимай его въ радости... Бери мою душу, Мила, и отдай мнѣ твою! отдающимъ душу поцѣлуемъ приникъ Алексѣй Леонтьевичъ къ устамъ жены, и, насладившись ихъ, онъ прижалъ свой лобъ къ ея молодому увѣнчанному лбу и двѣ крупныя слезы скатились на лицо Милы. Посадивъ въ кресло жену, Алексѣй Леонтьевичъ тихими шагами вышелъ изъ комнаты и послалъ горничную къ Людмилѣ Павловнѣ.

Но что подѣлывала пани-воеводша? Не легко сказать. — Когда сосѣди и знакомые, провожавшіе къ вѣнцу молодыхъ и во главѣ ихъ пани-Швачка, явились обратно и всѣмъ міромъ доложили матери: поѣхали же наши молодые — пусть имъ Богъ помогаетъ! пани-воеводша, конечно, приняла эту вѣсть и гостей своихъ, какъ подобало: со всякимъ достоинствомъ и угощеніемъ и всѣмъ ея благодареніемъ ко всѣмъ гостямъ. Но когда уѣхали гости и кончилась эта, какъ законъ, непреложная забота домовитой хозяйки: убрать серебро послѣ гостей, пересчитать салфетки, узнать, не разбита ли какая заповѣдная чашка? — когда все это окончилось и погашены были, въ немаломъ количествѣ зажженныя свѣчи — и вербовскія вербы безшелестно встали въ ночной тиши, и затихала сама Вербовка, упокоиваясь обычнымъ сномъ, послѣ необычно проведеннаго дня,—когда ярче вспыхнула лам-

падка въ ночной глуши, озаряя уголъ святыхъ иконъ,—тогда материнское сердце пани-воеводши исполнилось такой скорбью и мольбою, еще не пережитой борьбою ея души, что съ паней-воеводшею сдѣлалась нервическая дрожь, о которой и понятія не имѣла Сороковка.

Воображая, что это лихорадка, пани-воеводша думала укрыться подъ одѣяломъ; но, въ самомъ сердцѣ потрясенные, всѣ фибры крѣпкаго огранизма дрожали и трепетали вмѣстѣ съ сердцемъ. Какую силу воли надобно было имѣть, чтобы въ одинъ—въ два дня перенести столько огорченій и ни упрекомъ, ни намекомъ не облегчивши души отъ гнетущаго груза!...

Но на утро какъ была грустна, какъ одинока въ своемъ опустѣломъ домикѣ пани-воеводша! Дочь у нея какъ въ воду упала. Ни мать надумалась, ни нагоревалась сердцемъ о разлукѣ съ нею: такъ все оно, Богъ вѣдаетъ какъ, спѣшно сталося! Даже ни одной свадебной пѣсни Людмилѣ Павловнѣ не было пропѣто! Сороковскія дѣвушки не успѣли разу повеличать невѣстою дочку пани-воеводши! И пани-воеводша, все чего-то смутно ища и не находя, вошла въ свои кладовыя и глянула по нимъ — все, чѣмъ она озабочивалась рано и поздно, что издавна берегла и откладывала въ приданое — все ея заповѣдное добро было съ ней и при ней, только дочери у нея не было... Но вѣдь она будетъ сегодня, думала пани-воеводша и, судя по старинному, какъ бы, казалось, не быть молодымъ у матери?—Но молодые не были. Перетерпѣвъ въ этотъ день, какъ сама знала, пани-воеводша тѣмъ съ большею вѣроятностію ждала дѣтей на другой день; но и на другой день ихъ не было. На третій день шелъ дождь и около обѣда прибылъ посланный отъ Алексѣя Леонтьевича сказать, что господа, слава Богу, здоровы, приказали кланяться—баринъ и барыня. «Они сегодня безпремѣнно хотѣли быть, да дождь помѣшалъ.» Пани-воеводша угостила посланнаго, какъ отца роднаго. Перетерпѣла и этотъ день; но на завтра вѣтеръ ли, сыро ли—только молодые у матери не были. Наступилъ

пятый день — пани-воеводша ходила какъ потерянная. Ей совѣстно было на своихъ домашнихъ взглянуть. Отдала дочь за мужъ, и дочь не хочетъ ногой ступить къ матери! Всѣ Одарьи и Натальи съ сожалѣніемъ посматривали на пани-воеводшу. Бѣдная старая барыня! качали онѣ головами. «Грѣхъ Людмилѣ Павловнѣ забывать матушку родную.»—Но наконецъ сердце матери нестерпѣло ждать. «Ерёма!» выглянула изъ окна пани-воеводша.—«Запрягай, малый!»—«Запрягать, значитъ? «спросилъ Ерёма и, не получая подтвержденія, ушелъ живо запрягать. «Ѣдетъ! значитъ, сама ѣдетъ!» толковалъ домашній людъ, въ умиленіи простыхъ сердецъ, сказывая великую истину. «Что-то значитъ мать родная! Солнышко свѣтитъ да померкаетъ; а мать свое дитя родное ни въ горѣ, ни въ счастьи не забываетъ.» И поѣхала пани-воеводша. Она не приказывала, куда ѣхать, Ерёма не спрашивалъ ее; а между тѣмъ пани-воеводша ѣхала, куда сердцемъ хотѣла и старый Ерёма везъ ее, куда самъ зналъ.

Вечерѣло. Алексѣй Леонтьевичъ былъ на гумнѣ, гдѣ у него перечищали и перевѣвали пшеницу, проданную Скорнякову.

— Живѣе, ребята! говорилъ онъ, похлопывая руками и, чтобы придать дѣлу болѣе живости, онъ самъ взялся за метлу и началъ счищать и подгонять къ вороху пшеницу.

Хотя ее насыпали двумя мѣрками, но, для большей скорости, Алексѣй Леонтьевичъ послалъ еще къ ключнику за третьей. Молодой малый, который самъ вызвался идти, возвращался съ мѣркою и несъ ее надъ головою, подкидывая и ловя руками.

— Что ты это няньчишься, какъ мамка съ лялькою! въ нетерпѣніи замѣтилъ Алексѣй Леонтьевичъ.... Живѣй, ребята! повторилъ онъ.—Молодая жена ждетъ чай пить.

— *Эге, пане!* такъ бы вы и давно сказали, обозвался одинъ изъ чистильщиковъ пшеницы.

— *Що-сь ійде*, замѣтилъ другой.

Алексѣй Леонтьевичъ оборотился и ему не нужно было долго смотрѣть, чтобы узнать, кто это такой ѣдетъ?

— Ну, ребята! сказалъ онъ—оставайся сами. Гдѣ токовой? махнулъ рукою токовому Алексѣй Леонтьевичъ, указывая ему на свое мѣсто и живо отправился на перерѣзъ приближающемуся экипажу.

Алексѣй Леонтьевичъ не вошелъ въ домъ; но подойдя къ окну въ одной комнатѣ, онъ постучалъ въ стекло рукою. —Людмила Павловна! матушка жалуетъ, сказалъ онъ.

И пани-воеводша въ это самое время пожаловала къ крыльцу: такъ, что Алексѣй Леонтьевичъ въ самую пору нашелся тутъ, чтобы принять и встрѣтить матушку.

Онъ еще держалъ ее подъ руку и начиналъ говорить ей: какую вы это, пани-матерь, милость намъ вашу оказали—какъ что-то стремительное метнулось съ ступеней крыльца и къ груди матери припала дочь безъ словъ, все сказывая однимъ жаркимъ, не отрывающимся объятьемъ.

— Людмила Павловна! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ: что жъ мы это матушку у крыльца держимъ? пусть она къ намъ пожалуетъ въ домъ. На то вы и хозяйка мододая, чтобы просить матушку.

— Пожалуйте, матушка! сказала Людмила Павловна, все еще на груди матери исполняя свою обязанность молодой хозяйки.

И наконецъ пани-воеводша, провожаемая съ одной руки зятемъ, а съ другой дочерью, вступила въ домъ. Она была до того взволнована, что только сказала:—здравствуйте! и ничего не говорила болѣе. Сѣла на диванъ.

Людмила Павловна опустилась передъ нею на колѣна. Обѣими руками она, на сколько могла, обнимала мать и смотрѣла ей въ лицо такими глубоко нѣжными, задумавшимися глазами.—Мама! мама! тихо шептали ея тихія уста. Кажется, все, что было пережито непонятаго, не раздѣленнаго въ ихъ короткой жизни матери и дочери — вся эта дробная нить мелкихъ недоразумѣній проходила передъ памятью

живаго чувства Людмилы Павловны и уже ни дочь только, а любящая и любимая жена, Людмила Павловна, въ ея разширившемся сердцѣ, давала миръ всему, и никогда она такъ не любила и не чтила матери!

— Позвольте-ка, Людмила Павловна. Приподнимитесь немножко.

Алексѣй Леонтьевичъ приподнялъ немножко съ колѣнъ жену и подложилъ ей съ дивана подушку.

— Вотъ теперь стойте передъ матушкою, коли вамъ сладость такая въ душу вошла, чтобъ постоять такъ.... А я вамъ, дорогая пани-матерь, опять свое начну: какую вы это намъ милость вашу великую оказали, что пожаловали вы къ намъ! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ, садясь къ матери и цѣлуя ей руку. — Мы передъ вами въ великой винѣ показываемся, а коли вы насъ да вашимъ материнскимъ сердцемъ разсудите, то и вины тутъ ни яковой нѣтъ. На другой день, пани-матерь, намъ было самимъ до себя. Насъ Господь Богъ такъ нежданно свелъ, что мы еще учились смотрѣть другъ на друга и называть-то себя мы едва умѣли. Ну, поприсмотрѣлись къ себѣ въ этотъ денекъ, и на завтра надобно было подумать Бога поблагодарить. Послалъ я священника позвать, молебенъ отслужили; на новосельѣ молодой хозяйкѣ домъ святою водой окропили; тутъ вмѣстѣ и люди поздравить сошлись.... Сами изволите знать, какъ надобно привѣтить народъ. Спасибо еще, на счастье молодой барынѣ, подоспѣлъ къ намъ въ обѣды разнощикъ. Пошла наша барыня дары дарить, покупки людямъ покупать... улыбался Алексѣй Леонтьевичъ и протянулъ руку съ видимымъ желаніемъ, чтобы барыня взялась за нее и поднялась съ колѣнъ.

Но барыня не поднималась. Взявъ руку мужа, она оставила ее у себя и все смотрѣла на мать тихимъ, глубоко задумавшимся взглядомъ.

—Встань, дитя мое! надрывающимся шопотомъ проговорила пани-воеводша и, не сдерживая болѣе порывъ души, она обняла обѣими руками голову дочери и припала къ ней.

Слезы, какъ зерна, падали на шею, на плеча, на лицо Людмилы Павловны.

— Мама, мама! чуть слышалось изъ этого порывистаго объятья, полнаго обоюдныхъ слезъ:—мнѣ теперь этого мало, мама! Чтобы вамъ приласкать меня, приласкайте *его*, мама!

Алексѣй Леонтьевичъ слышалъ это.

—Позвольте, матушка! сказалъ онъ глубоко растроганно: я вамъ приподниму ее и посажу рядомъ... Коли я и въ смертной какой винѣ виноватъ передъ вами, то не ради меня, а ради этого голубя чистаго приголубьте меня.

Пани-воеводша тихимъ порывомъ встала.

— Прости меня ты, Алексѣй Леонтьевичъ! сказала она.— И пусть тебя и меня Богъ проститъ, и коли ты взялъ ее у меня... не окончила пани-воеводша к всею силою своихъ бѣлыхъ рукъ обняла зятя и замолкла она.

— Ну, слава Богу! вотъ и конецъ всему. Распуталась наша путаница; а куда она, пани-матерь, и намъ, и вамъ— Христосъ съ нею! не къ ладу была,—сказалъ Алексѣй, Леонтьевичъ, цѣлуя одну и другую руку пани-воеводши, и чтобы заговорить эту свѣжую смуту, онъ продолжалъ:— А я вамъ, пани-матерь, все таки кончать буду, какъ и что мы подѣлывали это время безъ васъ.— Вотъ-то и другой день прошелъ. Нашей молодой хозяйкѣ и оглянуться некогда было. Зацѣловали ее бабы и мужики. «Да ну-те васъ къ Богу,» даже вступился я. «Этакъ, говорю, вы и мнѣ у барыни поцѣлуя не оставите.» Насилу отвоевалъ я свою барыню! Народъ куражный, отступу мнѣ не даетъ. На третій день мы непремѣнно хотѣли быть, да дождь помѣшалъ... А я, хорошъ муженекъ! говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ. Взять-то жену взялъ да и лапки склалъ: и думать забылъ, что не въ чемъ жену къ родной матери повезти: экипажа нѣтъ. Волею и неволею остались мы дома сидѣть; вотъ-то я послалъ сказать вамъ... А дальше, пани-матерь, т. е. вчера — какъ вамъ и доложить? Всего съ нами случилось по немножку.— Немножко у Людмилы Павловны головка болѣла, и съ утра

немножко на дворѣ сыро было. Подъ обѣдъ времени пошла Людмила Павловна въ свой старый садъ проходиться, чтобы по немъ цвѣты молодые по слѣдамъ ея поросли—и слышу, зоветъ меня. Иду я—и Людмила Павловна мнѣ свою затѣю милую сказываетъ: что вотъ такъ бы отъ балкона вкось провести на-сторону дорожку, такъ и этакъ поворотить ее, и вотъ тамъ, подъ кленомъ да подъ яблонью, устроить намъ бесѣдку на славу: и чай пить, и въ жаръ отдохнуть, и чтобы тамъ—когда новое фортепіано поставить и васъ, пани-матерь, первую дорогую гостью принять... Взялись мы сгоряча за работу. Людмила Павловна показываетъ, я размѣчаю; самъ съ топоромъ, гдѣ нужно, просѣку рублю... Кликнулъ я кличъ: что-молъ молодая барыня работу даетъ. Явились къ намъ кучера и лакеи, весь дворовый людъ, старый и малый. Барыня, какъ водится, на починъ поподчивала; грянули пѣсни, а мы, пани-матерь, не оглянулись, какъ и день прошелъ. Сегодня и такъ и сякъ мы рядили: и къ вамъ-то намъ хочется, и работа наша подъ конецъ не подошла. И захотѣлось намъ такъ: чтобы нынче, пани-матерь, окончить намъ свою работу; а завтра безотлагательно быть къ вамъ (я и за коляской послалъ) и упросить, умолить васъ, родную нашу матерь, вмѣстѣ съ нами пожаловать къ намъ, и чтобы т. е. Людмила Павловна похвалилась передъ вами своимъ хозяйствомъ... Вотъ полюбуйтесь, посмотрите, родная!—поднялся Алексѣй Леонтьевичъ, подавая руку матери и другую съ улыбкою отдавая молодой женѣ... Я десятокъ лѣтъ жилъ здѣсь, считался хозяиномъ и ничего мнѣ такого въ голову не приходило; а она пяти дней не прожила, а вы извольте повидѣть, что она за рай душѣ устроила!..

Всякой изъ насъ хорошо знаетъ: что будь только у человѣка на душѣ рай, то ему, что хотите, покажется за рай! Но здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, мѣсто было очень хорошо. Свѣжій уютный уголокъ въ мощной лѣсистой глуши. Старая яблонь, расколовшаяся на двое, вся мшистая и позеленѣлая красивою лѣсною плѣсенью, опрокинулась одною половиною на мощ-

ный раскидистый кленъ; а другою почти легла къ землѣ, образуя кривыми перепутавшимися вѣтвями родъ натуральнаго свода, подъ который, чтобы пройти, слѣдовало очень и очень наклонить голову, особливо такую высокую и радостно поднятую, какою являлась голова Алексѣя Леонтьевича.

Мѣстечко было совсѣмъ убрано, усыпано пескомъ, дерновый полукруглый диванъ обхватывалъ расколовшуюся яблонь и былъ зеленъ и свѣжъ въ прохладной тѣни.

— Вотъ здѣсь садитесь-ка, матушка, приглашалъ Алексѣй Леонтьевичъ.—Да сами вы, старая хозяйка, полюбуйтесь-ка... Повелъ онъ руками вокругъ.

Пани-воеводша то же самое сдѣлала своими карими проницательными глазами.

— Ахъ, Милочка! ахъ, Алексѣй Леонтьевичъ! заговорила она... Это вамъ хорошо! Оно, Богъ знаетъ, какъ вамъ хорошо... Рой, рой!

И пани-воеводша показала густой золотистый рой, который, осѣвши шапкой, повисъ межъ листвой яблони и прямо спускался надъ ново-устроеннымъ диваномъ.

— Ахъ, мои дѣтки дорогія! въ восторгѣ говорила мать, —это вамъ счастье какое! Лучше такой примѣты и на свѣтѣ нѣтъ, какъ прилетный рой. Ласточки да рой, это Божья благодать и благословеніе видимо себя являетъ! Миръ и счастье дому приноситъ.

— Еще бы! сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ. Когда въ домъ слетѣлъ такой ангелъ—показывалъ онъ — и чтобы не было счастья и благословенія?.. Рой-то мы съ вами, пани-матерь, отряхнемъ; и благодать Божія и благословеніе пусть надъ нами стоятъ до-вѣку!

И рой отрясли, огребли роя; помѣтили улей именемъ Людмилы Павловны и она сказала, что это будетъ ея рой и она разведетъ отъ него цѣлую пасѣку.

Въ этой маленькой суетѣ и чай былъ забытъ; но скоро чайный столъ вступилъ въ свои неотъемлемыя права и на дворѣ, въ тѣни, въ зелени, въ проступающемъ ночномъ

ароматѣ лѣсныхъ травъ и въ новоустроенномъ раѣ! Чай пили; но пани-воеводша не отводила глазъ отъ дочери. Она наблюдала ее съ возростающимъ, внутреннимъ, непобѣдимымъ изумленіемъ. Мила ли это передъ нею, или другая какая Людмила Павловна?—Что въ ней новаго? что въ ней показывается такого, чего прежде не замѣчала въ дочери пани-воеводша? И будто новаго на взглядъ и нѣтъ ничего... Платье знакомое материнское, еще голубенькая кисейка цвѣточками, которую пани-воеводша сама у разнощика купила и даже ей цѣну вспомнила — и новаго ничего на Людмилѣ Павловнѣ надѣтаго нѣтъ, даже прическа ея дѣвичья; локонами къ лицу вьется; а между тѣмъ.... Новая сила жизни проступила новой нѣжной красотою во всѣ, такъ сказать, поры существа Людмилы Павловны. Она будто и выросла; шире раскрылись и потемнѣли глаза, потемнѣли не цвѣтомъ, а глубиною взгляда, которымъ они смотрѣли вокругъ. И пани-воеводша точно не видала въ дочери ничего подобнаго тому, что показывалось передъ нею теперь, когда эти свѣтлые глазки недавней Милы, съ медленнымъ, глубокосдержаннымъ вниманіемъ самосознающей любви, обращались на мужа и темнѣлъ отъ глубины чувства взглядъ ихъ, и все розовѣло тихо приподнятое въ нѣжной улыбкѣ лицо и вся Людмила Павловна, облитая свѣтомъ какого-то полузабытья думы, сидѣла въ кроткомъ покоѣ; а старая яблонь склоняла надъ нею пуки зеленыхъ вѣтвей...

Чай кончился. Перешли сидѣть на балконъ, на этотъ старый, заплѣненный кустами балконъ — на его старыя ступени, кой-гдѣ проросшія травой. Людмилу Павловну вызвалъ за чѣмъ-то лакей. Не теряя съ лица своей свѣтлой думы, она переговорила съ нимъ и пришла, сѣла о бокъ матери. Не много погодя, Даша вызвала ее опять, махая рукой. И съ своей Дашею переговорила молодая хозяйка о комнатѣ для ночлега матушкѣ, пошла взглянуть на приготовляемую постель и, воротясь, застала разговоръ о сѣнѣ, о пшеницѣ, о благодати лѣта...

— Вотъ мы съ матушкою забрались въ свою степь на сѣнокосы—милости просимъ къ намъ, Людмила Павловна, кашу кушать.

— Что косарямъ варятъ, добавила пани-воеводша.

Улыбаясь, Людмила Павловна пріостановилась въ маленькой нерѣшительности гдѣ присѣсть ей? И къ мужу тянуло, и мать тоже не хотѣлось оставить въ сторонѣ.

— А мы этому дѣлу пособимъ, Людмила Павловна, сказалъ съ улыбкою Алексѣй Леонтьевичъ. — Сердце-то ваше дорогое, какъ ласточка, прибивается; чаетъ разорваться пополамъ... Садитесь-ка вы, ласточка, на колѣни къ мужу! вотъ и матушка поблизу, и всѣ мы втроемъ—собьемся въ одну кучку... Пожалуйте-ка къ намъ.

Алексѣй Леонтьевичъ протянулъ обѣ руки и усадилъ къ себѣ на колѣна жену.

— Вотъ такъ оно и всѣмъ хорошо, коли только вамъ не плохо, замѣтилъ онъ. — А я вамъ, пани-матерь, одно скажу, продолжалъ говорить онъ: — такой силы травы, какъ нынѣшнее лѣто, Господь Богъ даетъ, я съ десятокъ годовъ не запомню. Вотъ то, какъ я ранымъ-рано прибивался къ вамъ и самъ увидѣлъ, что попалъ черезъ чуръ рано. Поворотилъ я коня въ степь и, хоть мнѣ не до травы было, но я просто диву дался! Завезъ меня буланый въ какую-то лощину-луговину, что я и мѣста того не опозналъ. Трава на меня живой силой наступила. Конь ее мнетъ, чуть не грудью буланый на прорѣзъ беретъ; нѣтъ! она, густая да не проёмная, изъ подъ копытъ, изъ-подъ колесъ встаетъ—ни ходу не даетъ... Такъ-то, Людмила Павловна! заключилъ Алексѣй Леонтьевичъ, по видимому совершенно занятый травою, а между тѣмъ уловившій то легкое, несмѣлое движеніе, какимъ Людмила Павловна искала тихо приподнять руку и положить ему на плечо.

Алексѣй Леонтьевичъ самъ взялъ эту робко нѣжную ручку, наклонилъ подъ нее свою голову, и когда рука жены

обвилась и легла кругомъ его шеи, онъ поцѣловалъ жену съ тихимъ задушевнымъ счастьемъ.

— Можетъ быть, Людмила Павловна, и вы бы немножко прилегли—склони-ка, Мила, свою головку, примолвилъ онъ шепотомъ — а мы васъ нашей зеленой травою, Людмила Павловна, какъ пологомъ прикроемъ. Не даромъ и въ пѣсняхъ поютъ: «трава шелковая.»

Мила склонила свою головку и совсѣмъ прилегла къ плечу мужа. Принявъ на себя это легкое бремя, Алексѣй Леонтьевичъ, кажется, заговорилъ еще бодрѣе и веселѣе.

— Такъ вотъ, пани-матерь, трава-то какова! Да вѣдь это еще восемь дней назадъ было, да за это время дождикъ немалый перешелъ; а что пало въ эту траву, то не даромъ пропало. Солнце изъ нея влаги не пьетъ. Она теперь взросла да взбатѣла, гляди куда! Только что на пологъ Людмилѣ Павловнѣ; а съ дрожками да съ буланымъ не повоюешь этой травы. Она и дрожки по осямъ повьетъ, и доброму коню чуть не путы сплететъ...

И Алексѣй Леонтьевичъ къ слову припомнилъ: какія онъ еще по Черноморью травы-то видалъ! Тамъ еще какую силу износитъ изъ себя земля! И разсказъ, и разговоръ о томъ пошелъ литься, какъ живая струя.

Но въ полусумракѣ замѣтно, какъ, въ переливахъ этого разсказа, тихо и волнообразно иногда колебалась рука Алексѣя Леонтьевича, какъ бы убаюкивая по временамъ этимъ мѣрнымъ движеньемъ и не устающею течь—заливной струею жизненныхъ, простыхъ, могучихъ рѣчей. Но голосъ Алексѣя Леонтьевича замѣтно слабѣлъ въ силѣ и сходилъ все ниже и ниже, пока наконецъ остановился на полусловѣ...

— *Започивала!* сказалъ Алексѣй Леонтьевичъ, и всѣ рѣчи смолкли.

Мать не говорила и мужъ молчалъ, и только на краю сада поздній ночной соловей начиналъ урчать и свистать, пробуя затихающими, отрывчатыми нотами свое начальное соловьиное пѣнье.

— Что жъ мы, матушка, только будемъ смотрѣть на нее?— Такъ мы никогда не насмотримся. Пусть она привыкаетъ почивать подъ голосъ мужа, какъ вѣдь она засыпала же, пани-матерь, подъ вашу колыбельную пѣсенку.

Голосъ Алексѣя Леонтьевича былъ не то, чтобы утишенный до шепота голосъ, нѣтъ! Онъ былъ почти весь разговорный голосъ; но въ его звуки вплась такая сердечная мягкость, что онъ показывался тихимъ, какъ самый нѣжный ласкающій шепотъ.

— Пусть почиваетъ... Вѣдь она сегодня, пани-матерь, встала на равнѣ со мною, говорилъ Алексѣй Леонтьевичъ этимъ мягкимъ голосомъ.—За чѣмъ это? говорю я. На какую заботу поднялась Мила? О чемъ нужно, я позабочусь. Спи, моя Мила дорогая... Она спать не хочетъ, пани-матерь! Она говоритъ мнѣ тихимъ голосомъ, что у нея мысли такія новыя находятъ въ голову и что она думаетъ эти мысли, не надумается ими! И даже когда спитъ она, эти мысли словно лучъ какой свѣтятъ ей въ сердце, пани-матерь... Чудно она это говоритъ!

— И посмотрите, матушка: у нея спящее лицо сказать бы свѣтится этими мыслями—вы поглядите, родная! приподнялъ Алексѣй Леонтьевичъ съ смѣлой нѣжностію развитые и напустившіеся локоны на лицо Людмилы Павловны и откинулъ ихъ назадъ.

И онъ былъ правъ: лицо точно свѣтилось и отъ внутренняго свѣта, и отъ избытка тѣхъ лунныхъ лучей, которыми мѣсяцъ, перевысившій деревья, прямо лилъ и свѣтилъ на молодое нѣжное лицо.

Но излишекъ этого послѣдняго свѣта видимо начиналъ безпокоить Людмилу Павловну. Она въ полуснѣ искала защититься отъ него и ея развившіеся локоны опять спустились ей и осѣнили ея лицо.

— Матушка! сказалъ заботливо Алексѣй Леонтьевичъ: — вѣдь это, говорятъ, вредно—нездорово бываетъ, когда мѣ-

сяцъ свѣтитъ прямо на соннаго въ лицо? Я не хочу... Пусть Богъ милуетъ! Я боюсь того. Разбудите ее, матушка.

— Нѣтъ, Алексѣй Леонтьевичъ! отвѣтила пани-воеводша.— Будить и покоить, это теперь ваше супружеское дѣло; а я здѣсь—сторона... Мнѣ и самой на спокой пора. Вотъ перекрестить ее, какъ мать, я могу, — перекрестила дочь пани-воеводша и удалилась въ домъ.

Оставалось Алексѣю Леонтьевичу самому будить свою, дѣтски уснувшую на его плечѣ, жену,

— Мила!.. усиливался онъ позвать довольно мужественно и громко; но зовъ сказался такимъ невѣрнымъ, не звучнымъ голосомъ, что имъ едва ли можно было разбудить птичку, чутко прикорнувшую на вѣткѣ подъ зеленымъ листкомъ.

Алексѣй Леонтьевичъ осмотрѣлся вокругъ. Онъ видимо хотѣлъ подняться и унести на рукахъ жену; но, какъ человѣкъ разсудительный и опытный, прежде онъ попробовалъ ногой ветхія подающіяся ступени своего балкона и увидѣлъ ясно, что шаткимъ ступенямъ не сдержать его сильнаго упора ноги подъ дорогой ношею.

Что было дѣлать?..

— Мила!.. позвалъ опять Алексѣй Леонтьевичъ и даже будто тронулъ ее мужниной полновластной рукою.

Но Людмила Павловна въ ея снѣ не признавала никакой власти.

— Вѣдь это разоръ головѣ започивала какъ! Мила! Какая ты, выходитъ, соня Мила!.. Да проснись, моя Мила! Матушка была да пошла и благословила тебя, Мила — слышишь? Крестомъ перекрестила тебя, и соловей, Мила, наше счастье поетъ—а ты и не слышишь, Мила!..

И соловей точно пѣлъ—и миріады звѣздъ тихо, недвижно, какъ безчисленныя Божьи очи, приникая, смотрѣли на счастье человѣка.

КИРИЛА ПЕТРОВЪ

И

НАСТАСЬЯ ДМИТРОВА.

КИРИЛА ПЕТРОВЪ

И

НАСТАСЬЯ ДМИТРОВА.

I.

— Покупаемъ-съ.

— И красныхъ дѣвушекъ выглядаемъ?

— Бываетъ-съ. И то товаръ-съ.

— А вы небойсь купецъ? А ну, купите, что цѣна будетъ, какъ я васъ въ окно да поцалую? говорила бойкая, пресмазливенькая горничная, свѣшиваясь въ окно на широкій барскій дворъ и уже черезъ-чуръ давая назолу молодому купеческому прикащику, который стоялъ за окномъ во дворѣ и слушалъ ее черезъ клумбу цвѣтовъ и мелкихъ кустарниковъ, которыми былъ обсаженъ весь передовой фасадъ помѣщичьяго дома.

— Ну, что же вы стоите? продолжала горничная: — да еще господскую землю своимъ купецкимъ кнутомъ ковыряете... Что дадите, какъ я васъ да поцалую?

Молодецъ пересталъ ковырять землю и поднялъ свою голову тѣмъ русскимъ движеніемъ, которое заразъ откинуло ему всѣ его русые кудри назадъ.

— Ничего-съ, сказалъ онъ.

— Какъ ничего? спросила изумленная горничная.

— Ничего-съ, значитъ. Поцалуи, что сами идутъ-съ, за нихъ не платятъ, а даромъ берутъ-съ.

— Ишъ вы какой! проговорила покраснѣвшая вооруха, прячась въ окнѣ. — Щедры очень! И почище васъ да платятъ.

— Это по дѣломъ ей, господинъ купецъ.... Въ окнѣ показалась другая дѣвушка, и за нею, въ комнатѣ, видно было еще дѣвушекъ до полудюжины. Онѣ видимо шили приданое.

— Вы, пожалуйста, не слушайте глупости, что она говоритъ вамъ, господинъ купецъ! Она у насъ такая, что сама не знаетъ, что говоритъ.

— Поди ты себѣ! выискалась заступница... Очень знаю! появилась опять въ окнѣ пылкая особа.—Убирайтесь отсюда. Зачѣмъ вы тутъ стоите?

— Отъ барина записка хозяину будетъ-съ, отвѣчалъ купецъ.

— Что жъ мы, что ли, будемъ писать вамъ эту записку?.. Даромъ! Вишь вы какіе дешевые!

— Да ужъ-ли даромъ-съ и глянуть нельзя? веселыми молодецкими глазами заглянулъ въ комнату молодой купецъ.— Мы на этой чести не постоимъ-съ и за что плата идетъ, мы заплатимъ-съ, — ступивъ большой шагъ черезъ куртину, онъ положилъ на окно серебряный рубль.—Съ нашимъ удовольствіемъ, примолвилъ онъ и, воротясь на свое мѣсто, онъ поклонился, встряхнувъ кудрями и прося дѣвушекъ принять на лакомство, чтобы не скучно было за работой сидѣть.

Дѣвушки перемигнулись, перешепнулись межъ собою и поблагодарили купца за вниманіе.

— Какъ же васъ по имени звать и по отчеству, когда мы захотимъ пѣсенкою повеличать васъ? спросила та, другая дѣвушка.

— Кирила Петровъ-съ,—назвалъ себя молодецъ.

— Такъ вамъ, Кирила Петровичъ,—продолжала дѣвушка,—придется долго барина ждать. Господа только кушать сѣли.

— Я подожду-съ.

— Ждать-то можно, да глазѣть нечего, — показалась опять въ окнѣ хорошенькая горничная.—Есть у васъ та, на кого вы смотрите?.. Скажете нѣту? бойко спросила она.

— Имѣемъ-съ, отвѣчалъ купецъ.

Всѣ дѣвушки немного выглянули на молодца, который подъ окномъ у нихъ сказывалъ, что имѣетъ въ любви другую,—не отпирался.

— Вишь вы какіе щедрые да откровенные! насмѣшливо замѣтила распрощица. Что-жъ? и хороша, небойсь, ваша красавица? Лучше насъ всѣхъ?

— Намъ-съ хороша.

Какъ ни скроменъ былъ, по видимому, отвѣтъ, но глаза молодца до того весело и зорко оглянули насмѣшницу—что-молъ, получше васъ, раскрасавица! — что горничная не выдержала:

— Убирайтесь же по добру-по здорову,—погрозила она ножницами.

— Кирила Петровичъ! вступилась другая дѣвушка: вы подите къ намъ въ садъ, пока господа кушаютъ. У насъ въ саду хорошо.

— Благодаримъ-съ на ласковомъ словѣ, сказалъ Кирила Петровъ.

— Вотъ сюда, прямо! — показывала рукою дѣвушка. У насъ со двора и прямо въ садъ. Погуляете у насъ.

— И красавицу тамъ, Несмѣяну-царевну въ теремѣ, коли посчастливится, такъ увидите... Отправляйтесь! добавила бойкая особа.

Кирила Петровъ поклонился своими разсыпчатыми кудрями дѣвушкамъ, которыя всѣ выглянули проводить его, и ни тихо, ни скоро отправился въ садъ.

На шести-семи шагахъ барскій дворъ устьемъ закруглился, и дорожка, битая и красиво высыпанная краснымъ пес-

комъ, пошла извиваться и теряться между кустами. Кирила Петровъ вступилъ въ садъ. Благоразумно держась въ сторонѣ отъ дома, онъ прошелъ раскинутыми цвѣтниками и попалъ въ боковую аллею, которая уступами и красивыми площадками сходила подъ пологій скатъ. Кирила Петровъ шелъ и шелъ, никого не встрѣчая, поглядывая вокругъ и, кажется, въ знакъ особеннаго удовольствія, изрѣдка похлестывая тонкимъ плетенымъ жгутикомъ своего кнутовища по барскому красному песку и по своему купецкому сапогу. Въ саду точно было хорошо; но и самъ-то Кирила Петровъ былъ хорошъ, не по-пусту слово сказать! Ростъ, статность, самородные кудри —эта русская чистота лица, которую не холя дѣтъ, а кровь съ молокомъ живая отъ лица бьетъ! И русая запушающаяся бородка Кирила Петрова, взглядъ застѣнчиво-соколиный, какъ бы самъ собою вырывающійся изъ прекрасно-тихихъ, голубыхъ глазъ, и нарядная купеческая сибирка, подтянутая кушакомъ, франтовство зеленыхъ перчатокъ, изъ которыхъ одна заложена была за поясомъ, — все это вмѣстѣ, и одно подъ стать другому, хорошо объясняло бойкой задоръ и шаловливую говорливость балованной горничной.

Но Кирила Петровъ все шелъ. Передъ нимъ на двое разступилась дорога и, засмотрѣвшись по сторонамъ, онъ не замѣтилъ, какъ взялъ правѣе, и шелъ, начиная посвистывать, какъ свиститъ соловей, выкликая на высвистъ соловку. Но ничто не отзывалось въ саду. Августъ, послѣдними днями и послѣдними дозрѣвающими плодами, стоялъ знойно и безъ голосовъ, рдѣясь наливнымъ багрянцемъ сливъ и зажелтѣлыми по мѣстамъ листами,—и только гдѣ-гдѣ слышалось по временамъ, какъ отрывался отъ вѣтки доспѣлый плодъ и, ниспадая по сучьямъ и навѣтьямъ, онъ давалъ легкій грохотъ, и за тѣмъ все еще тише затихало вокругъ. Но вотъ передъ лицомъ Кирилы Петрова прорѣзалась изъ зелени полоса воды и на ней выплывала, красуясь, пара старыхъ лебедей съ молодымъ выводкомъ своихъ лебедятъ, еще некрасивыхъ и

сѣрыхъ какъ гуси: на полуостровкѣ показалось зданьеце, все въ окнахъ до самой земи, и въ кустахъ—все до маковки своихъ бѣлыхъ колоннъ. Но Кирила Петровъ еще того не видѣлъ, все посвистывая и посматривая по сторонамъ. Ужъ зналъ-ли полно Кирила Петровичъ, что свистится людямъ на счастье, какъ дрозду на погоду?

А между тѣмъ стоило только заглянуть въ это уединенное зданьеце на полуостровкѣ, чтобы увидѣть тамъ горе во всемъ его терзаньи ломимыхъ рукъ и слезъ—слезъ, отъ которыхъ духъ захватывало въ груди. Плакала дѣвушка... Ее можно бы было назвать ребенкомъ: столько еще дѣтски-юнаго виднѣлось въ плачущемъ лицѣ; но горе то было не дѣтское, а видно женское горе. На первый взглядъ трудно было опредѣлить: что это была за особа? Сельская барышня не барышня, и на горничную она не была похожа. Что-то совершенно простое, но до чрезвычайности милое.

Бѣдное дитя окончило свою работу—прелестно вышитый по батисту носовой платокъ: пяльцы стояли совсѣмъ раскрытыя, и перемежающаяся тѣнь отъ кустовъ набрасывалась на нихъ другими изящными узорами. Но вдругъ эти легкія, подвижныя тѣни на половину заслонились,—въ окнѣ во весь ростъ показался Кирила Петровъ и перешагнулъ къ пяльцамъ.

— Настасья-съ Дмитревна!.. проговорилъ онъ такимъ голосомъ, какимъ говоритъ человѣкъ, задыхаясь отъ радости сердца.

Дѣвушка не могла не слышать произведеннаго шума у окна и наконецъ этого шага, поставившаго передъ нею Кирилу Петрова; но съ первымъ шорохомъ она закрыла лицо руками и заплакала до того сильнымъ порывистымъ рыданьемъ, что все существо бѣднаго ребенка содрогнулось подъ приливомъ слезъ.

— Настасья-съ Дмитревна! да какъ же-съ вы... да что съ вами-съ? Не ожидалъ-съ... говорилъ смущенно, отрывисто Кирила Петровъ. Вы изволите быть тутъ съ тетенькою-съ?

— Это Кирила Петровичъ!... не отвѣчала ему, а себя

увѣряя въ томъ, шептала слова оробѣлая, заплаканная дѣвушка.

— Да что съ вами-съ, Настасья Дмитревна-съ! Вы мнѣ хоть ваше единое слово скажите... Я ума-съ своего не приложу... Тетенька-съ ваша, Авдотья Степановна, здравствуютъ?

— Умерли, Кирила Петровичъ, по веснѣ.

— Такъ вы, значитъ, въ сиротствѣ Божьемъ: ни отца, ни матери и родимаго угла подклонить голову нѣтъ-съ?... Такъ вы это-съ и огорчаетесь тѣмъ, Настасья Дмитревна?

— Кирила Петровичъ! голубчикъ мой родной! не спрашивайте вы меня!—съ внезапнымъ порывомъ скорби упала ему дѣвушка на плечо обѣими руками и приклонилась головою... Вы мнѣ все одно, что старшій братъ. Потопите вы меня, Кирила Петровичъ!

Смущенный и исполненный той всемощной жалости, какою сказывается вѣрному сердцу любовь, Кирила Петровъ едва не совсѣмъ потерялся.

— ....Потопите меня, Кирила Петровичъ, родной мой! Тутъ и вода не далечко... Голубчикъ мой бѣлый! утопите меня!—припадая всею силою къ его плечу, въ безумномъ отчаяніи и съ дѣтской ласкою, просила она. Пойдемъ... поведите меня... Я бы и сама утопилась, Кирила Петровичъ, такъ мнѣ лебеди не даютъ. Я сама боюсь, братецъ мой милый... Я пойду берегомъ, а лебеди за мною плывутъ; старый лебедь на меня крыльями машетъ и бьетъ....

И бѣдная дѣвочка думала идти невѣрными, порывающимися шагами и вести за собою Кирилу Петрова.

— Постойте-съ! сказалъ тотъ, и его рука легла ей пониже плечъ и всю, какъ тростнику, приклонила ее къ нему на грудь. Коли топиться, Настасья Дмитровна, такъ обоимъ вмѣстѣ. Значитъ, гдѣ вамъ-съ, тамъ и мнѣ быть... Чтой-то вы, помилосердствуйте, говорилъ онъ. Вѣдь это Бога гнѣвить и душу свою христіанскую губить. Вѣдь это тяжкій грѣхъ, Настасья Дмитревна! Чтой-то вы горю такому вдали

себя? Что ваше сиротство да безпомощье: такъ вѣдь человѣкъ сиръ да бѣденъ, а Богъ-отъ богатъ милостью.

— Да милость-то Божья отступила отъ меня... Кирила Петровичъ! утопите меня! Дѣньте меня, куда знаете. Заведите меня въ лѣсъ и бросьте: чтобы я свѣту Божьяго не видала, чтобъ и люди добрые забыли и не поминали меня!

— Не забудутъ-съ, Настасья Дмитревна! Не вы-съ это, а горе ваши такія рѣчи въ угоду врагу говоритъ... Вы извольте меня выслушать-съ.

Но она не слышала того могучаго голоса души, какимъ ей сказывались эти простыя слова.

— Настасья-съ Дмитревна! чѣмъ топиться и душу губить, убиваться такъ въ вашемъ сиротствѣ горькомъ,—можно бы чай подсобить горю... Настасья Дмитревна! мнѣ безъ васъ не жить-съ.

Но это косвенное робкое выраженіе прямаго мужскаго замысла не встрѣтило никакого отвѣта. Не отнимая рукъ отъ плеча своего называемаго брата и припавъ къ его груди головою, дѣвушка въ изнеможеніи тихо плакала.

— Вы извольте-съ тутъ гдѣ нибудь сѣсть, поискалъ глазами Кирила Петровъ и увидѣлъ мѣсто на диванѣ, — и извольте меня послушать, Настасья Дмитревна.

Самъ онъ не посмѣлъ сѣсть на барскомъ широкомъ оттоманѣ; а бѣдному ребенку все равно было, на чемъ ни сидѣть.

— Настасья Дмитревна! я еще мальчишкою, бѣгаючи на потычкахъ да на посылкахъ, полюбилъ-съ васъ. И росли-то мы съ вами по сосѣдству. Кажись, я и выросъ-то у Ивана Демьяныча подъ плетнемъ, глядючи на васъ. И то намъ съ вами въ розницу не пошло, что Божьи мы дѣти-сироты. Чужіе люди намъ за родню стали. Но Богъ сиротѣ помощникъ—хоть бы и мнѣ, Настасья Дмитревна. Будетъ съ меня по чужимъ людямъ маяться; пора и самому человѣкомъ стать. Я вотъ это и ѣхалъ съ тѣмъ-съ, чтобы справиться по хозяйскому дѣлу и Авдотьѣ Степановнѣ, тетушкѣ вашей,

хоть бы и въ ноги ей до земли поклониться—просить ихъ, чтобы онѣ мнѣ въ отказъ не отказали. Я имъ по вѣкъ слуга и работникъ чаялъ быть-съ, что онѣ васъ призрѣли и воспитали..

Но болѣе полное окончаніе этого задушевнаго слова остановилось на свѣжихъ прекрасныхъ устахъ... Кирила Петровъ съ жалостію сердца смотрѣлъ на ту, которая должна была дать ему отвѣтъ, и плакала передъ нимъ рыданьемъ.

— Чтой-то ваши слезы... очень ужъ больно становится глядѣть-съ на нихъ! сказалъ онъ. Настасья Дмитревна! вы меня съ мальства знаете-съ; только того-съ не знаете, что я вамъ душу свою всю, какъ есть, отдалъ-съ. Не чаялъ я дождаться поры-времени, пока вы въ совершенство ваше придете-съ, чтобы мнѣ это слово мое душевное вамъ сказать съ. Я передъ вами, какъ есть, стою, судьбу свою жду... Вы меня мальчишкою отъ себя не гнали и теперича братзомъ зовете; а я вамъ братъ-съ не братъ... Не породилъ насъ Господь Богъ братомъ и сестрою быть; а коли милость Его святая будетъ поблагословить насъ, Настасья Дмитревна, мужемъ и женою другъ дружкѣ быть-съ...

Не то въ испугѣ, не то въ страшномъ недоумѣніи, бѣдная дѣвушка подняла на него глаза и, казалось, не дышала, уронивъ на колѣна худенькія хорошенькія руки.

— Вы что-то... Кирила Петровичъ!.. шептала она... Вы будто хотите меня въ невѣсты взять?

— Хочу-съ. Какъ Богъ святъ, Настасья Дмитревна — передъ Господомъ Богомъ хочу того.

— Сохрани же васъ Матерь Божія отъ такой напасти! — упала себѣ на руки дѣвушка. Кирила Петровичъ, родной мой! утопите меня!

Кажется, вся душа у Кирилы Петрова подвиглась, и дрожью по немъ задрожала она.

— Помилосердствуйте-съ! сказалъ онъ. — Чтой-то вы и свою и чужую душу въ слезахъ вашихъ топите... Быть-съ вамъ, иль не быть невѣстою мнѣ?

— Не быть, родной мой Кирила Петровичъ! Не такую вамъ невѣсту Христосъ Богъ пошлетъ... рыдая говорила она.

— А какую-съ это, Настасья Дмитревна! Такую, значитъ, что не родилась она, не крестилась, и въ церкви Божіей не бывать-съ ей?... Прощайте-съ.

Но на поворотномъ шагѣ, когда Кирила Петровъ готовъ былъ по прежнему переступить въ окно, его остановилъ тихій рыдающій вопль, и бѣдная дѣвушка, слѣдуя за нимъ, какъ ребенокъ, ухватилась ему за руку.

— На кого вы меня покидаете? Какъ же я останусь здѣсь? Кирила Петровичъ! возьмите меня отсюда... Дѣньте меня, куда знаете. Возьмите, не оставляйте меня!

— Стало быть, взять-съ васъ? оборотился Кирила Петровъ, и у него широкимъ объятьемъ распахнулась душа...— Такъ я возьму тебя, Настасья Дмитревна! — всю ее онъ захватилъ въ объятье...—Невѣста ты моя желанная, несказанная! поцаловалъ онъ ее, и когда, послѣ жаркаго поцалуя устъ, онъ заглянулъ въ ея заплаканные глаза, у него самого, какъ зерна, крупныя капли упали съ рѣсницъ.—Будетъ съ насъ слезъ! сказалъ онъ. — Мнѣ, какъ горючъ-камень, Настасья Дмитревна, твоя слеза! и онъ опять поцаловалъ ее, и какъ ни блѣдны были молодыя сомкнутыя губы, но онѣ дали цвѣтъ, и подъ его алыми устами заалѣли ея уста...

— Теперь-съ извольте пообождать меня. Я въ барскій домъ иду.

И когда Кирилъ Петровъ вошелъ въ барскій домъ и сказалъ спѣсивому лакею: «доложите-съ», столько было чего-то особеннаго въ его купецкой осанкѣ, что лакей даже не почванился и тотчасъ доложилъ о немъ.

Кирила Петровъ вступилъ въ барскій лѣнивый кабинетъ со всѣми комфортэбельностями и даже съ претензіею на русскую безъискусственную простоту сельскаго хозяина, что доказывалось цѣлымъ снопомъ какого-то отмѣннаго, черноколосаго овса, который стойма возвышался на изящной горкѣ, и, туго схваченный поперегъ зеленымъ осоковымъ

перевесломъ, онъ густо и красиво раскидывалъ въ верху свои черно-золотистыя гривки.

Владѣлецъ кабинета,—въ полной порѣ величаваго барства, съ плѣшью, съ полудѣтскимъ галстучкомъ вокругъ самсоновой шеи, въ этомъ чужеименномъ нарядѣ коротенькаго измятаго мѣшка англійской парусины,—возлежалъ на своемъ сидѣньи и, кажется, естественныхъ человѣческихъ отдушинъ мало было для выдыханій его богатырской груди: такъ тяжко она вздымалась и опускалась, съ барскимъ цинизмомъ показываясь нагою изъ подъ небрежныхъ застежекъ тончайшей сорочки.

— Ты что, молодецъ! издала изъ себя величавая барская грудь, держа въ одной рукѣ французскую газету, а другой рукою придерживаясь за свою чашку послѣобѣденнаго кофе. — За запискою явился?

— И записку ваша милость изволите пожаловать; а то я пришелъ къ милости вашей не за запискою.

— А за чѣмъ же?.. Записки я тебѣ не пожалую. Милости моей не досугъ было, братецъ написать. А скажи ты моимъ словомъ хозяину, чтобы онъ съ своею бородой не носился. Я на то баринъ, на что онъ купецъ. На посулы меня, братецъ мой, не возьмешь. А чтобы онъ пріѣзжалъ и привозилъ деньги, и тогда посмотримъ... Ну? съ благоволительной отдышкою вопросительно произнесъ баринъ. — Ты еще чего стоишь?

— Къ милости вашей, отвѣчалъ Кирила Петровъ съ легкимъ поклономъ. — У васъ тутъ дѣвушка вольная есть-съ, покойной Авдотьи Степановны племянница-съ...

— Ну, есть. А тебѣ какъ знать? Приглянулась, что ли? Не хочешь ли меня сватомъ просить?

— Не смѣемъ милости вашей безпокоить, отвѣчалъ Кирила Петровъ.—Она-съ—моя невѣста. Я еще ихъ при Авдотьѣ Степановнѣ знавалъ-съ.

— Ну, съ Богомъ. Женитьба, братецъ мой, не плохое дѣло такому молодцу, какъ ты. У меня дочь выходитъ за мужъ.

Кирила Петровъ поклонился на такое барское снисхожденіе, соблаговолившее объявить ему о семейномъ обстоятельствѣ.

— Да я-то тебѣ, братецъ, что такое въ твоей женитьбѣ?

— Милости вашей пришелъ доложить-съ, отвѣчалъ Кирила Петровъ: — какъ онѣ теперича въ вашемъ-съ домѣ, Настасья Дмитревна, что я ихъ въ свой родительскій домикъ въ городѣ, каковъ ни на есть, беру-съ.

— Хорошо, братецъ мой. Берешь, твоя воля, да только намъ этого дѣла не рѣшить съ тобой. Тутъ мои барыни замѣшались. Дѣвочка приданое дочери работаетъ. Надобно, братецъ, барынямъ сказать.

И предупреждая просьбу, или недоумѣніе Кирила Петрова, баринъ тяжело поднялся, глотнулъ послѣдній остатокъ своего кофе и съ истинно-барскимъ лѣнивымъ добродушіемъ сказалъ молодому прикащику:

— Пойдемъ къ барынямъ, братецъ. Нечего дѣлать, я уже твоимъ докладчикомъ буду.

Проходя черезъ залъ, хотя баринъ никого изъ слугъ не видѣлъ передъ глазами, но увѣренный, что барскіе звуки его голоса ни въ какомъ случаѣ не должны пропасть даромъ, онъ возгласилъ:

— Вы, кто тамъ, позвать сюда ту дѣвушку, Настеньку, чтобы пришла.

И минуя залъ, Кирила Петровъ шелъ за своимъ вожатымъ, обступаемый со всѣхъ сторонъ невиданными чудами господскаго жилья. Но мало занятый ими и вовсе не смущенный своимъ появленіемъ передъ барами, Кирила Петровъ остановился у поднятой дверной занавѣси и только машинально поправилъ свои молодецкіе кудри.

— Mesdames... или нѣтъ!.. сударыни, мои барыни! началъ полноголосно баринъ, вступая въ свой семейный кругъ и широко относясь къ нему тономъ добродушной веселости, которая очень шла къ его мощной, пышащей груди,—являюсь къ вамъ ни больше ни меньше, какъ сходатымъ сватомъ вотъ

этого молодца, видите?—И было кому видѣть въ довольно многочисленной семьѣ помѣщика... — Женихъ! (только не вамъ-съ, домолвилъ онъ, обращаясь къ дѣвицамъ, — не передеритесь заранѣе и, вы, миссъ, не ладьте губки!)—эта завидная счастливица, Настенька ваша паутинная швея, — и молодецъ на правахъ жениха хочетъ ее взять.... Ты когда думаешь взять ее? въ полъ-оборота къ дверямъ спросилъ онъ

— По мнѣ-съ хоть сегодня, отвѣчалъ Кирила Петровъ.

— И прекрасно, братецъ, что это по тебѣ, а *по васъ*, mesdames, что вы скажете?

Но говоръ наступилъ общій: взять? Настеньку?.. Но это нельзя, c'est impossible! по-русски и по-французски подтвердила пожилая дама, супруга помѣщика.

— Дѣвочка такая молоденькая! не дошила всего... ей стыдно за мужъ.

— Слышишь, братецъ, что барыни говорятъ? обратился помѣщикъ.

— Это-съ какъ имъ угодно-съ, отвѣчалъ съ поклономъ Кирила Петровъ; — а Настасьѣ Дмитревнѣ законныя лѣта вышли-съ.

— Но, папа! жалобно говорила хорошенькая невѣста... Какъ же это можно? Мои вещи останутся недошитыя.... И за чѣмъ вамъ спѣшить жениться? Развѣ вы не можете подождать? отнеслась она къ Кирилѣ Петрову.

— Славно, матушка, съ добродушнымъ хохотомъ возразилъ отецъ.—Сама выходишь за мужъ, а малому велишь женитьбы ждать.... Эй! кто вы тамъ? Чтожъ Настенька? Дѣвочку сюда.

На барскій зовъ, дверь изъ внутреннихъ комнатъ робко отворилась и вошла требуемая дѣвочка, блѣдная и хорошенькая, смущенная какъ нельзя болѣе, и стала на мѣстѣ, опустя свои примѣтно заплаканные глаза и держа въ рукахъ новооконченную работу.

— Ахъ, ты кончила, Настенька! бросилась къ ней нетерпѣливо, озабоченная на счетъ своихъ вещей, невѣста...—Но

это прелесть! Это дивно хорошо.... Maman, c'est magnifique! Эти жилочки.... Voyez, ma soeur!

Молодая особа была въ такомъ восторгѣ, что подносила шитье всѣмъ, показывала листочки и узелочки жениху и даже отцу.

— Поди ты себѣ съ своею паутиною! отвѣчалъ тотъ. — Есть любоваться чѣмъ, что дѣвочка портила глаза, а я вынимай деньги да плати.

— А еще что? нѣсколько колко спросила дочь.

— А еще то: что вы бы, барыни, рады были вѣкъ засадить дѣвочку въ дѣвкахъ, чтобы она вамъ паука плела, вотъ что!

Супруга помѣщика улыбнулась и нѣсколько пожала плечами, и онъ широко улыбнулся.

— Ну, а не то, продолжалъ онъ, обращаясь къ дочери: — такъ ты, матушка, сдѣлай репетицію. Протверди для удовольствія роль и прежде дѣвочку отдай за мужъ, а потомъ сама выйдешь.

Мысль о «репетиціи» очень живо отозвалась въ чувствѣ и воображеніи хорошенькой невѣсты.

— Папа! — улыбалась она, — въ самомъ дѣлѣ?

— И въ самомъ дѣлѣ, нарядница! подтвердилъ тотъ, лаская дочь по подбородку. — Ты взгляни на дѣвочку... Вы ее совсѣмъ заморили. Засадили одну на край свѣта... Мѣста вамъ мало въ домѣ! Такъ-какже можно? Лишній разъ дохнетъ кто на вашу паутинку!

— Папа! съ ласкою просила дочь...

Но папа весело расходился.

— Хорошо, что дѣвочка не дура (на это всѣ вы умны), шила вамъ, шила да и пришила какого молодца... Ну, братецъ! грудью обратился онъ къ Кирилѣ Петрову, — теперь вотъ съ кѣмъ вѣдайся, указывалъ онъ на дочь. — За паутинное мастерство твоей невѣсты, она смастеритъ тебѣ свадьбу. Будь покоенъ.

Но безпокойство очень живо выразилось на прекрасномъ недоумѣвающемъ лицѣ Кирилы Петрова.

— А Андрей гдѣ? поднялся было баринъ идти и опять сѣлъ.—Нѣтъ еще? пропадаетъ?.. Это, видите ли, называется: провести лѣто au sein de la famille,—говорилъ онъ самороднымъ юморомъ;—а я père de la famille, и могу сказать, что я видѣлъ только его англійскій проборъ на затылкѣ, а сына не видѣлъ! То охота на умъ вспала: бродилъ по цѣлымъ днямъ, двухъ куликовъ не застрѣлилъ, а теперь и совсѣмъ забрелъ. Дома не живетъ... Ну, а ты, свадебная мастерица! что жь ты ничего не мастеришь? Женихъ въ однихъ дверяхъ стоитъ, а невѣста твоя словно окаменѣла въ другихъ. Хотя бы ты ихъ вмѣстѣ свела, и давай же намъ здоровье пить... Не знаешь, матушка, роли!

Упрекъ живо подѣйствовалъ. Мать разсмѣялась и велѣла молоденькой миссъ позвонить; самъ баринъ захлопалъ въ ладони; явился человѣкъ за приказаніями: приказали вино... Свадебная мастерица, очень мило краснѣя и улыбаясь, взяла за руку Настеньку и повела ее къ Кирилѣ Петрову: того выдвинули на средину, и вся эта несносная комедія барской прихоти и барскаго добродушія совершилась. Большіе господа шутливо, милостиво поздравляя жениха и невѣсту, выпили весело за здоровье паутинной швеи и молодцоватаго прикащика. Одного они не могли достигнуть, чтобы Кирила Петровъ поцѣловалъ при нихъ свою невѣсту. «Не надобно-съ!» какъ сказалъ тотъ, дѣвственно краснѣя заливнымъ румянцемъ по самыя разсыпчатые кудри,—и остался на томъ.

Но вечеръ куда какъ былъ веселъ у Кирилы Петрова! Опредѣлено было ключницѣ и дворецкому сдѣлать большое угощеніе, настоящую сговорную вечеринку — чтобы былъ чай, ужинъ и сласти. Музыка и пѣсни зависѣли отъ самихъ гостей, и гостями была вся почетная дворня — всѣ горничныя дѣвушки, обрадованныя случаю нарядиться, будто бы наряжая невѣсту.

— Вотъ Кирила Петровичъ! говорила та ласковая дѣвушка. Мы и не думали, что намъ придется такъ скоро повеличать васъ и еще въ хорошей парѣ!— и она начала величальную пѣсенку жениху и невѣстѣ.

Но та пылкая красавица и за сговорнымъ столомъ не переставала дуться и фыркать, какъ обойденная невѣста и немножко превращенная въ кошку.

Кирила Петровъ засталъ ее на садовой дорожкѣ, какъ она толкала и посылала дѣвочку пойти сказать извѣстному садовнику, чтобы тотъ былъ на вечеринку.

— Да слышишь? добавляла она. Скажи ему: чтобы съ пустыми руками не приходилъ — слышишь? Ужъ онъ меня знаетъ... чтобы ананасовъ принесъ! — не потому, чтобы она находила большой вкусъ въ ананасахъ—вовсе нѣтъ. Для нея ананасъ былъ немножко чѣмъ получше сладкой пареной рѣпы, и еще лучше ли? Но требованіе ананаса, болѣе чѣмъ какое либо другое требованіе, могло поставить въ затрудненіе усерднаго поклонника; а это собственно и нравилось прихотливому вкусу балованной горничной.

— Ну, а вы тутъ чего шляетесь? обратилась она къ Кирилѣ Петрову.

Тотъ, въ избыткѣ радостнаго чувства, началъ было приносить свои вѣжливыя увѣренія и изъявленія почтенія.

— Убирайтесь вы съ своимъ почтеніемъ! сказала она. Очень мнѣ нужны ваши утѣшенія! Меня молодой баринъ получше вашего утѣшитъ...

Но барина молодаго не было дома.

II.

Авдотья Степановна, «тетенька-съ Настасьи Дмитревны», какъ почтительно произносилъ Кирила Петровъ, была вольноотпущенною изъ этого барскаго дома; но только не барина и не теперешней барыни, а покойной старшей сестрицы

барина, угодившей извѣстнымъ образомъ во французскія маркизы. Я говорю: *извѣстнымъ*, потому что не она первая и не она послѣдняя, почему то поставляя себя высоко надъ всѣмъ русскимъ, не находили возможнымъ выйти замужъ въ Россіи и съ неопредѣленными надеждами стремились за границу. Тамъ эта возможность быстро осуществлялась, и русскія баронессы и виконтессы, покинутыя и ограбленныя, умирающія нищими и отступницами въ католическихъ монастыряхъ и въ богадѣльняхъ Парижа, вовсе не были диковинной рѣдкостью еще въ очень недавнее время. Одною изъ нихъ была и сестрица вотъ этого барина... «Сумасшедшая! сумасшедшая!» иначе не говорилъ о ней братецъ. И точно сестрицѣ было отчего сойти съ ума.

Она выросла *наслѣдницею*. Почти съ колыбели и до невѣстъ ни о чемъ столько не старались, какъ втолковать ей, что она *единственная* наслѣдница,—какъ вдругъ явился наслѣдникъ. Вся нѣжнѣйшая любовь родителей отхлынула отъ бывшей наслѣдницы-дочери, и волною родительскихъ надеждъ прилила къ барской колыбели сына-наслѣдника. Избалованная и гордая, предметъ странныхъ толковъ и обидныхъ соображеній жениховъ, бывшая наслѣдница, не убавляя своего высокомѣрія, а за достоинство поставляя себѣ еще болѣе вооружиться имъ, клеймила своимъ высокимъ пренебреженіемъ все окружающее и съ первымъ удобнымъ случаемъ вырвалась за границу. Отецъ и мать напрасно силились залучить своего отлетнаго сокола. Онъ порвалъ всѣ золотыя опутинки и, гремя своимъ колокольцомъ, странствовалъ повсюду, гдѣ странствуютъ наши русскія отметныя птицы. Наконецъ изъ Флоренціи, или изъ Ниццы, получено было извѣстіе, что вольный соколъ опустилъ крылья и далъ себя осѣтить супружескими сѣтями. Маркиза писала къ своимъ русскимъ отцу и матери, что она надѣется получить ту *нищенскую долю*, въ которой невозможно отказать ей. Ей точно не отказали, и «нищенская доля» русской маркизы возведена была почти до пяти сотъ тысячъ франковъ; но

что̀ это было въ понятіяхъ бывшей единственной наслѣдницы? Она съ презрѣніемъ принимала эту долю и не заботилась высокомѣрно о томъ, что маркизъ расточалъ ее со всѣмъ легкомыслiемъ Француза. Менѣе, чѣмъ въ шесть лѣтъ, золотое дно истощилось; а тѣмъ временемъ у бывшей наслѣдницы появилась своя наслѣдница, и рожденіе ребенка странно пробудило въ матери заглохшіе инстинкты русской женщины. Сослать свое дитя въ деревню, по французскому обычаю сдать его на руки грубой кормилицѣ—противъ этого возстало въ маркизѣ все, что было въ ней кровно-барскаго и духовно-русскаго. Она стала сама кормить грудью дочь... И одинъ Богъ знаетъ ту великую тайну возрожденія нравственнаго существа матери у зыбкой люльки ея ребенка! Съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ оторвавши себя отъ всего отечественно-роднаго, умышленно попирая всѣ связи съ нимъ, какъ узкіе предразсудки невѣжества, и ставши гражданкою всего просвѣщеннаго міра, маркиза вдругъ больно почувствовала, что у ея ребенка почти нѣтъ того, что зовется: родная земля! И изъ-за полога дочернина колыбели всталъ и показался ей забытый Богъ! сами собою раскрывались на молитву уста, ища томительно-сладкимъ усиліемъ памяти воротить — какъ бы зачерпнуть изъ какой-то утекшей глубины святыя затраченныя слова. Собственная дѣтская молитва, столько лѣтъ молчавшая въ сердцѣ маркизы, сказалась у колыбели ея дитяти, и принимая на руки свою дочь, маркиза забывала ласкать ее благозвучными французскими именами и звала съ восторгомъ: «Маша! Маша!»

А между тѣмъ разореніе быстро шло, и страшное «нечѣмъ жить» сказывалось продажею и залогомъ вещей; но маркиза и въ пол-бѣды не принимала горя. Она знала одно: что Машу ни продать, ни заложить нельзя, и забывала то, что ее потерять можно... Трехлѣтняя дѣвочка умерла отъ дѣтской эпидемической болѣзни. Страшно и касаться той силы безумствъ тоски и отчаянія, въ которыя маркиза вдала себя! Богохульство, какъ страшная печать, легло на ея

уста, и чѣмъ большимъ могъ повершиться этотъ ужасъ, когда и мужъ покинулъ ее? Одна, разоренная, осиротѣлая мать, брошенная жена на уличной грязи Парижа! Есть что-то всемощное въ жизни, когда и эта женщина не задушила себя. Но у нея и силъ не было. Она лежала недвижимо, безчувственно больна, и нельзя сказать, чтобы ангелъ посѣтилъ ее, но то была ея бывшая Дуняша, которую она вывезла за границу. Дѣвочка, по времени, воспользовалась правомъ заграничной свободы; ссорилась и мирилась съ маркизою: но какъ ни разлучались онѣ, а ихъ тянуло другъ къ другу—и теперь Авдотья Степановна пришла. Быть всѣмъ для той, которая нѣкогда была для нея барскимъ игомъ капризнаго самовластія,—въ этомъ Авдотья Степановна поставила себѣ какой-то удивительный долгъ. Она вынянчила на рукахъ эту страшно-больную душою и тѣломъ, и послѣднее, что могла для нея сдѣлать Авдотья Степановна—она воротилась съ маркизою въ Россію. Мать, одна остававшаяся въ живыхъ (отецъ умеръ), поставила себѣ въ высокое достоинство объявить несчастной дочери, что «не хочетъ ее видѣть». Ей опредѣлили содержаніе, отвели комнаты на мезонинѣ, и точно, мать вполнѣ выдержала характеръ и не видѣла дочери до той самой минуты, когда дочь, холодная и ожесточенная, пришла по призыву и стала, какъ угрожающее привидѣніе, въ ногахъ материнской смертной постели.

Но съ Авдотьей Степановной поступили какъ могли лучше. Ей тотчасъ дали отпускную, и сама старая барыня, вручая ей бумагу, объявила: «Ну милая! теперь я желаю вознаградить тебѣ все то, что ты истратила на твою госпожу, лѣчивши ее и везши сюда.» Авдотья Степановна, которая понимала, что *всего* ей вознаградить нельзя и оскорбленная барскимъ словомъ, захотѣла было отказаться. «Это пустяки! важно отвѣчали ей. Ты понимаешь, голубушка, что твои господа не могутъ быть у тебя въ долгу»—и Авдотьѣ Степановнѣ заплатили. Но ея плата была въ той уединенной комнатѣ, гдѣ встрѣтила ее маркиза въ слезахъ и почти цѣ-

ловала руки своей Дуняши, прося не покидать ее. И напрасно просила маркиза. Не такъ могуче закрѣпляетъ свой узелъ жизнь, вплетая въ него доброе и злое, чтобы эта связка, затянувшись цѣлыми годами, могла оборваться въ одинъ день. Авдотья Степановна осталась при маркизѣ, и онѣ зажили, ежедневно ссорясь, негодуя другъ на друга и между тѣмъ изумительно исполняя на себѣ русскую поговорку: «вмѣстѣ тошно, по розну—скучно».

Послѣ смерти матери, маркиза поступила въ вѣдѣніе брата —*этого*, какъ она называла, никогда во всю жизнь не заставивши свои гордыя тонкія губы раскрыться, чтобы издать звукъ роднаго кровнаго имени! Брату опротивѣло въ сестрѣ все заграничное, и, никуда не порываясь, онъ успѣлъ рано жениться, отсталъ ото всѣхъ даже призрачно-служебныхъ обязанностей и зажилъ бариномъ агрономомъ. Но колючкою въ его розахъ именно была сестра. Не умирявшаяся ни позднимъ разсудкомъ, ни тяжкимъ разумомъ горя, почти бѣшенная въ своихъ сумасбродныхъ порывахъ, она напрасно приняла раннюю сѣдину на нѣкогда черные волосы. Весь этотъ холодъ несчастія не охлаждалъ ея памяти. Наслѣдница! и теперь еще вырывалось изъ распаленныхъ устъ. *Этотъ* отнялъ, ограбилъ ее, и потомъ ея Маша! Маша!.. Послѣ одного изъ этихъ порывовъ, маркиза умерла, проболѣвши немного. Когда пришли доложить брату, онъ поблѣднѣлъ и у него слезы показались въ глазахъ. «Господи!» сказалъ онъ, крестясь: «не положи того на дѣтей моихъ. Родная сестра умерла, а я радъ.» Все, что требовало приличіе и духовный долгъ церковныхъ молитвъ и поминовеній по усопшей, было исполнено въ точности. Авдотья Степановна всегда пользовалась особеннымъ почетомъ отъ барина. «Я не знаю, что бы я дѣлалъ съ своею сумасшедшею безъ этой женщины!» говорилъ онъ. И теперь онъ по-барски предоставилъ Авдотьѣ Степановнѣ всю оставшуюся полугодовую сумму содержанія маркизы, отдалъ всѣ сестрины вещи, мебель—все, что было ея. «Я не хочу, чтобы въ мо-

емъ домѣ оставалась хотя нитка этой сумасшедшей—прости Господи!» заключилъ онъ. И въ домѣ ничего не осталось, ни даже тѣни родственной памяти, и Авдотья Степановна переѣхала въ городъ.

Для этой женщины наступила совершенно новая жизнь полнаго одиночества и существованія безъ цѣли. «Выйдите замужъ, Авдотья Степановна—право, выйдите!» увѣщевали новыя знакомыя. И въ самомъ дѣлѣ, Авдотьѣ Степановнѣ ничего не оставалось болѣе, какъ выйдти замужъ. Женихъ пріискался красавецъ, вдовецъ, и году не пожилъ съ первой женою,—веселымъ пиркомъ да и за свадебку. Авдотья Степановна купила въ городѣ домъ на имя мужа и стала мѣщанкою Красулиной. Авдотья Степановна мѣщанка! когда она десятка полтора лѣтъ прожила съ своей госпожею маркизою на правахъ полновластнаго друга и усвоила себѣ такую торжественную величавость пріемовъ, какой не было и у маркизы! Мѣщанскій домъ ея, убранный всѣми вещами, какія принадлежали нѣкогда «единственной наслѣдницѣ», и сама она—полнѣйшая барыня съ головы до ногъ, въ изящныхъ чепчикахъ собственной работы, въ шелку и въ бархатѣ, — Авдотья Степановна была диво дивное для своего уѣзднаго городка; а мужъ былъ мѣщанинъ того города. Авдотья Степановна занялась имъ и остригла, одѣла его по своему; но, ставши «сударемъ чего изволите», какъ насмѣшливо прозвала его бывшая братія-мѣщанство, мужъ Авдотьи Степановны поникъ. Изъ молодца Красулина, котораго всѣ знали по имени и величали по отчеству, который въ семьѣ былъ хорошъ и пригожъ тѣмъ своимъ родовымъ пригожествомъ, которое снискало имъ прозвище Красулиныхъ—Семенъ Петровъ, въ годъ времени, утерялъ всѣ свои собственныя и родовыя имена и сталъ прозываться нарицательнымъ именемъ «мужа Авдотьи Степановны».

«Быль молодцу не укора, а жена-барыня не честь-съ», поговаривали молодцы торговаго ряда, и точно, чести мало приходилось на долю мужа Авдотьи Степановны. Она, по

условію съ уѣзднымъ предводителемъ, уступала ему главныя комнаты въ своемъ мужниномъ домѣ — для предводительскаго пріѣзда въ городъ, и съ немалымъ достоинствомъ занимала мѣсто хозяйки; а мужъ толкался на кухнѣ и въ передней между кучерами и лакеями, и могъ бы лакомиться объѣдками съ тарелки жены, чего онъ, къ чести его надобно сказать, не дѣлалъ и грубить Авдотьѣ Степановнѣ не могъ-съ. Грубости его выражались такими почтительными словами: «Помилуйте съ, Авдотья-съ Степановна!» говорилъ Красулинъ; «какое-съ это супружеское согласіе, коли вы мнѣ и денегъ не даете-съ?» Но Авдотья Степановна, вѣроятно, полагала супружеское согласіе не въ томъ, и денегъ своему супругу не соблаговолила выдавать, кромѣ самой малости, замѣтивши, что онъ началъ загуливать. А онъ собствено не загуливалъ, а искалъ почерпнуть со дна пьянаго моря бодрости противустать барски-величавому обхожденію Авдотьи Степановны. Но увы! и чара не помогала.

Однажды подзадоренный крупными насмѣшками бывшихъ свояковъ и сосѣдей, и захвативши бодрости въ круговой гулянкѣ, мужъ Авдотьи Степановны, пошатываясь, рѣшилъ, что вѣдь онъ мужъ...

— Я мужъ, братцы! говорилъ онъ.

— Поди ты себѣ! отвѣчали ему. — Ты мокрая курица, а не мужъ, и жена у тебя барыня, а не жена.

— Такъ и я баринъ... рѣшилъ опьянѣвшій Красулинъ, и въ доказательство своей барской власти въ домѣ и у жены, потребовалъ, чтобы всѣ шли къ нему. Онъ покажетъ всѣмъ...

— Сами Авдотья Степановна будутъ подчивать.. Коли я, значитъ, мужъ, я, значитъ, велю: подчуйте Авдотья Степановна! увѣрялъ себя дорогою Красулинъ.

Но веселыя головы, подошедши къ дому, не рѣшились войти и отправили хозяина одного приготовить пріемъ. Авдотья Степановна работала подъ лампою. По ея тонкимъ пальцамъ въ золотыхъ перстняхъ и кольцахъ разсыпались узкія цвѣтныя ленточки, которыми она убирала что-то,

какъ вдругъ дверь отворилась, и мужъ Авдотьи Степановны, размахивая руками, появился въ комнатѣ. Она только взглянула на него и продолжала работать. Но несчастный Красулинъ, не смотря на весь свой хмѣль, чувствовалъ, что этотъ взглядъ пригвоздилъ его къ мѣсту. Съ отчаянною рѣшимостію онъ подался впередъ и что-то забормоталъ, когда Авдотья Степановна поднялась и, не выпуская изъ рукъ своей работы, ступила шагъ къ своему супругу; онъ еще стоялъ; но когда она ступила другой, Красулинъ попятился назадъ, и, отступая все дальше и дальше передъ наступающей величаво супругою, мужъ Авдотьи Степановны споткнулся въ дверяхъ и бросился бѣжать. Посрамленіе его было полное. Взрывъ хохота привѣтствовалъ бѣглеца.

— Тс! тише-съ! Авдотья Степановна услышатъ... Не приказали-съ! унималъ своихъ веселыхъ собесѣдниковъ — дважды отуманенный Красулинъ: виномъ и величавымъ достоинствомъ жены-барыни.

Послѣ такого позора, невозможно было показать глазъ въ народъ, и Красулинъ внезапно скрылся, бѣжалъ неизвѣстно куда. Авдотья Степановна не подала объявленія о сбѣжавшемъ мужѣ, примѣты его не были описаны, и, лѣтъ черезъ пятокъ, Красулинъ, подъ чужимъ именемъ, красовался маркеромъ въ губернской гостинницѣ и, подъ веселый часъ, жалобно сказывалъ о себѣ добрымъ господамъ: «Ушелъ-съ. Изгнанникъ-съ. Отъ жены ушелъ-съ. Жена — барыня. Видѣла-съ папу въ Римѣ городѣ и въ Парижѣ-съ была... Ушелъ-съ.» Дальнѣйшая судьба мужа Авдотьи Степановны канула безвѣстно въ житейскомъ омутѣ забѣглаго Русскаго человѣка. Но сама Авдотья Степановна осталась тою же Авдотью Степановною, только безъ мужа, и у нея было утѣшеніе: что судьба ея такъ разительно схожа съ судьбою покойной, оставленной мужемъ, маркизы.

Но какъ бы легко ни говорили о томъ, а, вѣроятно, сохранялось что-то подъ суровой морщинкою, между черныхъ гордыхъ бровей Авдотьи Степановны, когда, больше году

спустя, она взяла къ себѣ съ улицы заброшенную въ сиротствѣ дѣвочку, племянницу первой жены Красулина. Авдотья Степановна своими руками сняла съ дѣвочки гадкую, истасканную рубашенку, остригла ей запущенные нечистые волосы, сама умыла ее, принарядила,—и если бы Авдотья Степановна поцѣловала ображенную дѣвочку! Но она не поцѣловала ее, а посадила въ уголокъ на скамеечкѣ и дала дѣвочкѣ въ руки вязальныя спицы, говоря: «Сиди здѣсь и учись вязать.» Эта дѣвочка была Настенька, и когда она, по врожденному чувству русскаго ребенка ласкаться къ старшимъ родственными именами, назвала было Авдотью Степановну тетенькою,—«ты дура и я тебѣ вовсе не тетка, зови меня, какъ всѣ зовутъ», приказала Авдотья Степановна. Этими первыми распоряженіями опредѣлились неизмѣнно отношенія Авдотьи Степановны къ ея воспитанницѣ. Она не била ее, не бранила; учила добру, то-есть всѣмъ изящнымъ женскимъ работамъ, въ которыхъ была искусница на диво Авдотья Степановна; но ни малѣйшей теплоты, ни одной ласки Настенька выросла — не видала. Въ замѣнъ того, величавая по-барски воспитательница холила и держала дѣвочку, какъ барышню. Всегда за работою, всегда чистенькая, даже завитая, въ короткихъ дѣтскихъ платьяхъ и въ кальсонцахъ, на смѣхъ и зависть всему женскому міру, дѣвочка только изъ окна видѣла ту грязную улицу, по которой она бродила растрепанная и неумытая. Веселья у дитяти и помину не было; но хорошенькій нарядный ребенокъ былъ гордость и презрительный вызовъ всѣмъ недоброхотамъ и низкимъ пересудчицамъ Авдотьи Степановны. «Что ей дѣется? говорили о ней. Живетъ себѣ барыней, а мужъ по міру пошелъ.» И точно Авдотья Степановна жила въ свое удовольствіе, какъ тоже говорили. Не только не прерывая сношеній съ барскимъ домомъ своихъ прежнихъ господъ, но, какъ это бываетъ на большую часть, еще скрѣпивши съ нимъ новый прекрасный союзъ, Авдотья Степановна являлась тамъ домашнимъ дружественнымъ лицомъ, безъ котораго не обходился никакой праздн-

никъ, ни крестины, ни именины. «Смотрите, не забудьте послать за Авдотьей Степановною,» говорила, въ счету приготовленій къ какому-либо торжественному дню, благородная хозяйка.

И близость отношеній Авдотьи Степановны къ барскому дому явственно обозначалась на многомъ, и на зеленой крашеной бесѣдкѣ ея палисадника. Но за бесѣдкою сплошь и рядомъ засѣла всякая лѣснина, вставала глушь, чуть прорѣзанная грядами двумя капусты, и дикій малинникъ, бузина и калина, всѣ, какъ сѣтью, охваченные хмѣлемъ, лезли вонъ изъ своей трущобы на навозный дворъ Ивана Демьяныча, мучнаго торговца. Старый высокій плетень именно держался не самъ собою, а прохватившими его насквозь наростями и въ жгуты повившимся многолѣтнимъ хмѣлемъ. Сюда Авдотья Степановна никогда не захаживала, и можно бы было сказать, что и другой кто не заглядывалъ въ эту пущь и гущь, если бы каждый разъ, около полудня, не пробиралась сюда, маленькими робкими шагами, маленькая, какъ паучекъ, дѣвочка, путаясь въ высокой травѣ и поднимая свое короткое платьеце, какъ кукольный парусъ, передъ собою. У дѣвочки была неизмѣнная цѣль: большой бузиновый кустъ, въ который она ныряла какъ проворный утенокъ. Подъ кустомъ была цѣлая палата—уютность, свѣжесть, зелень и тѣни подобравшихся навѣсомъ вѣтвей, и сюда проникало какое-то чудно-слитое, голубоватое озаренье. Въ немъ ребенокъ казался такимъ нѣжнымъ, блѣдномилымъ дитей, не вовсе похожимъ на обыкновенную дѣвочку съ длинными косами, что ее, пожалуй, можно было принять за русалочку, вышедшую покачаться на вѣткахъ бѣлыхъ березъ и присѣвшую подъ зеленый кустъ. Но не рѣзвая хохотунья, маленькая русалочка, сидѣла подъ зеленымъ кустомъ; а сидѣла тамъ тихая дѣвочка, съ жизненнымъ инстинктомъ будущей женщины-матери, смастерившая колыбельку, всю обвѣшенную разноцвѣтными кусочками и лоскуточками. Цвѣтной гороховый стручекъ, сповитой въ темноалые лепестки огородной мальвы, имѣлъ все подобіе крохотнаго младенца и

баюкался въ своей колыбелькѣ, раскачиваваясь на зыбкихъ киткахъ свислаго хмѣля. Но у дѣвочки даже колыбельной пѣсенки не пѣлось: такая она сидѣла тихая да молчаливая. Ребенокъ, внезапно оторванный отъ крика и болтовни уличной свободы, и пріученный сидѣть за дѣломъ и молчать передъ лицомъ Авдотьи Степановны, кажется, пріобыкъ къ неестественному молчанію, и одинокая дѣвочка, въ тиши и глуши, довольствовалась тѣмъ, что молчала въ свою дѣтскую волю. Авдотья Степановна ложилась отдыхать послѣ обѣда и отсылала дѣвочку прочь .. И вотъ странно и любо одинокой дѣвочкѣ сидѣть въ ея свободномъ покоѣ и слышать, какъ это безъ устали шелестятъ зеленыя вѣтки кругомъ! прокукуетъ кукушка, и курица кудахтаетъ за плетнемъ... залетѣла пчелка и жужжитъ-жужжитъ, летаетъ вокругъ колыбельки, а колыбелька качается, и дитя молчитъ...

— Барышня! я пролезу къ вамъ, — услышала дѣвочка и не знала, кто это говоритъ.

Она посмотрѣла на вѣтки: не кукушка ли? Взглянула на свою колыбельку, не дитя ли проснулось и зоветъ къ себѣ?

Но дитя спало-почивало, а дѣвочка опять услышала:

— Я къ вамъ пролезу, барышня.

— Не лазьте. Куда вы пролезете? Авдотья Степановна почиваютъ... Не равно увидятъ.

— Я—мальчикъ, барышня. Меня никто не увидитъ.

И вылезая изъ подъ плетня, передъ нарядной дѣвочкою очутился оборванный, засаленный мальчикъ и сталъ передъ нею, какъ въ сказкахъ говорится: «стань передо-мною, какъ листъ передъ травою..»

III.

Мальчикъ, вылезшій изъ подъ плетня, былъ самый безпризорный уличный мальчикъ. Кутъ его родимаго захолустья залегалъ во рвахъ и кочугурахъ, которые напрасно рядили въ

зелень жидкія ветлы и навозная растительность городскаго пустыря. Рвы оставались все тѣми же безобразно-размытыми рвами, и кучи навоза видѣлись изъ густыхъ зарослей боли головы и колючаго чертополоха. Ребятишки ватагою, съ крикомъ и гамомъ, постоянно возились здѣсь, всѣмъ кутомъ выходя на кулачки и дружной стѣною отстаивая себѣ болѣе ровное и людное мѣсто для мальчишечьихъ игръ и шумнаго своеволья. Не первымъ и не послѣднимъ въ уличной ватагѣ былъ и Кирюша — Кирька. Ни отца, ни матери у него не было и домъ его опекуны не то наняли кому, не то совсѣмъ отняли. Живи себѣ, Кирька-Кирюша, какъ птицы небесныя живутъ: росу-воду пьютъ, хлѣбъ-зерно не сѣютъ, не жнутъ, а чужую конопёлку клюютъ! И жилъ Кирюша-Кирька «самъ себе да своя голова у мене» (какъ говорятъ на Югѣ Россіи) — и ничего болѣе. Голова заростала густыми кудрями, и когда-когда, укупаясь въ спа́сенье, какая-нибудь старая просвирня или молодая, жалостливая къ дѣтямъ, мать залучитъ Кирюшу, уткнетъ его головою въ чугунъ горячей воды и, не смотря на его начальные порывы и сопротивленіе, смоетъ и расчешетъ ему сиротскіе кудри. Старуха-просвирня наохается и начитается молитвъ, пока урядитъ сироту оборванца въ родъ нѣкоего подобія человѣческой одежды, напяливъ мальчику на плеча иногда свою собственную старушечью кофту, а молодая жалостливая мать, подъ иной часъ, наплачется настоящими жалостливыми слезами, и въ причитанье войдетъ, вспомянетъ Кирюшѣ его мать родную: «и зачѣмъ она его къ горюшку-горю родила и въ землю сырую съ собой не приняла! Оставила сироту на сиротствѣ, и кудри богатѣютъ — гляди какіе, да чесать-холить некому!» И неурядно, взлызинами и прохватами, какъ ни попало, она обрѣжетъ Кирюшѣ богатые кудри, накормитъ его до-сыта, подпояшетъ обрывкомъ суконнаго краснаго пояса и одной рукою сунетъ ему за пазуху краюху хлѣба, а другою вытолкнетъ его на улицу: чтобы шелъ, не томилъ жалостливаго сердца сиротствомъ нуждою!

А, казалось бы, не такая судьба прочилась ребенку. Отецъ его былъ хорошій зажиточный мѣщанинъ и положилъ голову на святомъ и великомъ дѣлѣ. Ночью случился въ городѣ пожаръ. Съ неоглядностью Русскаго человѣка бросался онъ въ огонь, спасая людей и такія вещи, которыя не стоило труда спасать—и погибъ. Съ матерью Кирюши *сталось*, какъ говоритъ простолюдье; т. е. молодая женщина, пораженная смертью мужа, впала въ болѣзненную тоску по немъ, что ей бѣлый свѣтъ сталъ не милъ—не мило свое дитя. Ее возили къ знахарямъ и къ знахаркамъ; поили святой и непочатой водою; подкуривали ее и подъ слѣдъ подливали, и на три вечернія и утреннія зари выливали, — ничто не цѣлило убитаго сердца. Бѣдная женщина въ два года извелась на тѣнь и извела весь свой зажиточный домъ, не оказывая ни чему—ни даже малолѣтнему сыну никакого призора. Наконецъ она отправилась на богомолье и нужно было быть тому, что въ монастырѣ — куда она за пятьсотъ слишкомъ верстъ принесла тяжкій грузъ истомы своего сердца—въ эту самую ночь случился пожаръ. Несчастная женщина, обезумленная страшнымъ воспоминаніемъ, въ явѣ представившемъ ей погибель мужа, едва не утопилась и умерла на другой день въ безпамятствѣ, на своей страннической котомкѣ. Ребенокъ остался шести-семи лѣтъ. Все его въ разбродъ пошло, растащили по рукамъ. Родныхъ у него не было. Отецъ и мать были недавно приписные въ городѣ—заѣзжіе изъ чужи и далека,—а опекуны, владѣя опустѣлымъ домомъ, отдавая его подъ казенную квартиру, забыли думать о ребенкѣ и—по пословицѣ—обрекли Николѣ и пустили въ поле. Мальчикъ росъ на своемъ уличномъ полѣ, какъ сивый степной жеребенокъ въ дикомъ табунѣ татарско-казацкихъ коней. Безпризоръ и воля, какъ неоглядное поле! Кутокъ Кирюши-Кирьки особенно былъ веселъ всѣми мальчишечьими веселостями. Кулачки, выпередки по рвамъ и пустырямъ, бумажные змѣи съ размочаленными хвостами... Когда въ кутѣ начинали «волосянку тянуть», она была слышна на главной улицѣ города.

Случилось такъ, что однажды ребячья ватага, натѣшась въ коршуна и въ свайку, и въ бабки, сбѣжалась со сторонъ въ кучу, и, подъ праздничный колокольный звонъ къ вечернѣ, мальчишки грянули:

Ай, ну-те-ка ребята!
Волосянку тянуть;
Кто не вмѣетъ, не дотянетъ,
Того бить, колоти-и-ть!

Звеняшее протяжное «*и*» дѣтскихъ голосовъ покрывало улицу, между тѣмъ какъ зоркіе глаза немилостивыхъ ребятишекъ слѣдили ястребомъ другъ за другомъ: кто только не дотянетъ и заикнется первый, на того и напустятся тянуть общую волосянку. Кирюша славно тянулъ. Распотѣвшій, съ загорѣлою дѣтской грудью на-голо, онъ всѣмъ напряженнымъ вниманіемъ выводилъ общее заливное *и*, какъ вдругъ чья-то рука невидимо впуталась Кирюшѣ въ передовой вихоръ и застряла въ немъ, какъ рѣпей. «Вотъ я тебѣ покажу волосянку тянуть!» заговорилъ разбитый сиплый голосъ. «Въ церковь пошелъ, сирота ты не прикаенный! Слышь, къ вечернѣ звонятъ». Кирюша, можетъ быть, и не пошелъ бы, но сиротѣ-мальчику, испытавшему всевозможные тычки и потасовки, чуднымъ казался этотъ случай: что рука, грозившая ему, не причиняла боли и, вцѣпясь въ густые кудри Кирюши, безсильно дрожала тамъ и вела за собою мальчика, потому что онъ самъ шелъ... И какимъ грустнымъ остаткамъ человѣческаго образа и подобія принадлежала эта безсильная рука поводыря! Заплетенная коска и рыжая истасканная одежда широкихъ рукавовъ и широкихъ полъ ясно говорили о званіи лица; но само лицо съ кривымъ прищуреннымъ глазомъ, истертое не менѣе одежды, говорило о томъ, что слишкомъ извѣстно намъ всѣмъ.

Кирюша попалъ въ милость къ *старому дьяку*... Такъ прозывался въ городѣ лишенный служенія дьяконъ, который, лѣтъ десять назадъ, присланъ былъ сюда на пономарское мѣсто: звонилъ не въ указъ, безъ благословенья попа, раз-

билъ колоколъ, отставленъ былъ отъ пономарства и, безъ жила—безъ двора, оставался на міру—«млеко ссуще», какъ выражался дьякъ, разумѣя подъ библейскимъ рѣченіемъ иное, а не обыкновенное *млеко*.

Жила у дьяка не было, а притонъ былъ: старая баня, опущенная и совсѣмъ забытая на уединенномъ огромномъ займищѣ разорившагося купца, у котораго нѣкогда здѣсь были фабрики и построена была эта баня для рабочихъ. Фабрики сравнялись съ землею и чудно проросли всѣ ельникомъ и березникомъ; а по ручью, надъ которымъ, покривясь, торчала баня и отвалившимися сѣнями рушилась и намостила рухлый мостъ черезъ ручей,—по ручью стояла темь непроглядная отъ переросшихъ другъ друга осинъ и ольхъ, на половину гнилыхъ и засохшихъ подъ вороньими гнѣздами. Старый дьякъ, обособясь въ своемъ притонѣ, примѣнялъ къ себѣ стихъ псалма: *аки врань на нырищи и яко птица особящая на здѣ*... Кирюшѣ онъ милостиво объявилъ: «Ты мнѣ ничего и я тебѣ ничего. Живи, коли хочь. Мѣсто пусто.» Кирюша занялъ верхній полокъ въ банѣ, и съ камышевой дудкою, съ трещеткою и съ подслѣповатою галкою, прыгавшею на одной ногѣ, поселился въ притонѣ у дьяка. Они зажили въ большой дружбѣ. Старый дьякъ обладалъ удивительною способностію, неумалявшеюся съ годами, выпросить что бы то ни было. У бабъ онъ выпрашивалъ даже веретена съ суровой пряжею; у дѣтей—дудки; у сидѣльцевъ, самыхъ тугихъ и неподатливыхъ,—хозяйскій грошъ и на придачу баранокъ. Ни то, ни другое — ни даже баранки ни въ чемъ не были пригодны дьяку, который не прялъ пряжи по бабьему, не дудилъ въ дудку, какъ дѣти, и не могъ грызть баранокъ, будучи безъ зубъ. Но онъ съ изумительнымъ искусствомъ и ловкостію нагрузясь «всѣми благими», приноровивши къ тому отрепанные широкіе рукава и свои широкія полы, мчался скороходью къ своему притону, и только нескромный вѣтеръ, подвѣявъ со стороны, обличалъ иногда сокровище бутылочки, которую уносилъ съ собою дьякъ.

Кажется, и Кирюшею онъ завладѣлъ, какъ вещью, никому не нужною и ото всѣхъ брошенною...

Но нѣтъ! За бутылочкою, присѣвъ въ банномъ ныращѣ на нижнемъ полкѣ, старый дьякъ любилъ побесѣдовать, «млеко ссуще».

— Ты знаешь ли, Кирила, кто ты таковъ? обращалъ онъ къ мальчику странно умиленный взглядъ своего единственнаго ока.—Ты Божье дитя—сирота. Кирила! ты сѣмя добраго сѣянія. Господь Богъ взираетъ на тебя... Ты не гляди, что я водочку пью. Я — пьяница, пропойница дьякъ; я — сосудъ погубленъ, Кирила; а отецъ твой праведникъ былъ и твоя мать — святая мученица. Онъ душу свою положилъ *за други своя*; а она по супружникѣ богоданномъ изныла душою и оставила Богу тебя—слышь, Кирила!...

И свѣсясь съ банныхъ палатей, живой любопытный мальчикъ, съ какой-то недовѣдомою теплотою, приливавшею къ дѣтскому сердцу, слушалъ полупьянаго дьяка, который чѣмъ пьянѣе, тѣмъ становился разумнѣе.

— Слышь, Кирила! я тебя добру научу. Пропойница-дьякъ тебя человѣкомъ поставитъ. Грамоту я тебѣ въ руки дамъ... Слезай съ полка! Крестись, молись Богу... Господи, благослови!—крестился умиленно дрожащей рукою самъ дьякъ.— И даруй, Господи, отрочищу сему благодать еже знати и разумѣти, а мнѣ, непотребному рабу, еже научити!

И странный дьякъ взялся за Кирюшу учить его грамотѣ. Бо́льшая часть уроковъ приходилась на ночь, когда, подпивши послѣ странствія и добычи въ мірскомъ міру, дьякъ сваливалъ весь грузъ свой въ безразличную кучу, и самодовольно отряхнувъ свои полы, онъ озирался кругомъ и звалъ: «Слышь, Кирила! *Добро есть еже знати и красно еже разумѣти*... хотя и говорится: *приложивый разума, приложитъ болѣзнь*... Ну, да лучше болѣть умомъ, чѣмъ дуростью. Читай.»

И мальчикъ читалъ безъ азбуки, безъ складовъ — тѣмъ искусствомъ самоучки, къ которому такъ богато сроденъ

нашъ простой народъ. Начавъ съ перваго псалма, ребенокъ, къ концу каѳизмы, могъ разбирать всякую книгу. И у дьяка было не безъ книгъ. Не говоря о Библіи и о Толкованной Псалтири, у него была книга Златоуста о «Священствѣ» и Василія Великаго о «Св. Духѣ», и «Камень Вѣры» Стефана Яворскаго, «Путешествіе ко св. мѣстамъ» Григоровича-Барскаго; даже на маленькомъ высокомъ окнѣ, вмѣсто банной затычки, приткнута была какая-то латинская libris, которая вмѣстѣ служила подставкою иконѣ Смоленской Богоматери Одигитріи, довольно раскольничьяго письма.

Дьякъ училъ прекрасно: разсказывая, разсуждая и необходимо попивая. Этимъ путемъ только и шло ученье, такъ, что естественная разумность мальчика, полюбившая странные уроки, бралась помогать имъ своей ребячьей удалью. Кирюша сталъ полновластнымъ хозяиномъ мірособранной кучи. Досуга у него было не занимать стать, и тѣ самыя веретена съ суровой пряжею, которыя не шли ни подъ какую нужду дьяку, отмѣнно пригодились ребенку. Онъ поплелъ пленочки, силки; принялся ставить мотики по ельнику на рябчиковъ и ловить краснобровыхъ тетеревовъ, которые по многу налетали въ старыя ольхи питаться ихъ изобильными китками. И такимъ образомъ у мальчика ранняя трудовая полтина, а иногда и цѣлый мѣдный рубль хранились завязанными въ чулочной пяткѣ. А тѣмъ временемъ случалось, что мірская невзгода одолѣвала дьяка. Онъ сидѣлъ въ притонѣ, какъ ощипанная галка Кирюши, и забывалъ учить мальчика уму-разуму.

— Дѣдушка! а, дѣдушка!—отзывался тотъ съ верхняго полка...

— Слышь, дѣдушка! повторялъ мальчикъ, потому что дьякъ, будучи трезвъ, бывалъ глухъ и нѣмъ...—Можетъ ты бы—бутылочку, дѣдушка?

— А есть, малый? весь пробуждался дьякъ и жадно сторожилъ отвѣтъ.

— Есть, дѣдушка!—подавалъ мальчикъ свои гроши, и, зажавъ ихъ въ руку, дьякъ суетливо порывался вонъ.

— Я сей часъ... я спасибо, Кирила! повторялъ онъ на уходѣ и, вѣрный своему слову, онъ немедленно возвращался; но на пути успѣвалъ вкусить, — и старый дьякъ, торжественно умиленный, являлся въ притонъ. Суетливость его движеній пропадала... Ставя бутылку на банный полокъ, онъ смотрѣлъ не сирой щипаной галкою, а человѣкомъ сирымъ и болѣзнующимъ въ его духовномъ паденіи. «Не суди меня, Кирила, Божье дитя!» сажалъ онъ ребенка за книгу. «Я самоосужденъ предъ Богомъ стою и видишь — чарочку пью. Меня Богъ будетъ судить въ своемъ праведномъ милосердіи... А ты помни слово пьянаго дьяка: людямъ прости, а къ Богу воздохни, и поживешь человѣкомъ, Кирила!»

И мало этихъ совѣтовъ и книжныхъ наученій,—баня еще, какъ ѳиміама, наполнялась духовнаго пѣнія. Этотъ потерянный человѣкъ обладалъ когда-то удивительнымъ голосомъ, былъ славою архіерейскаго хора, любимцемъ владыки, свое и пріѣзжее изъ Москвы купечество носило его на рукахъ— и сгубило, какъ мы, Русскіе, умѣемъ губить свои дары. Но въ банномъ нырищѣ становилось тѣсно душѣ человѣка, которая, какъ птица, порывалась изъ охватившей ее сѣти ловца и била спутанными крыльями къ небесамъ и свободѣ... «Выйдемъ, Кирило братъ, на широту Господню! Что мы съ тобой въ банѣ сидимъ?» выводилъ за руку дьякъ своего питомца и становился лицомъ передъ неисповѣдимымъ величіемъ Творца въ Его міровомъ твореніи. — «*Вся земля да поклонится Тебѣ и поетъ Тебѣ, да поетъ же Имени Твоему, Вышній!*» высокимъ исповѣданіемъ, какъ страшною силою, вся охваченная и потрясенная душа дьяка пѣла воскресшей хвалою,—и, сказать бы чудомъ какимъ, изъ разбитой старческой груди вырывались былые, утраченные навсегда звуки, и въ кривомъ, полузакрытомъ глазѣ проступала слеза.

..... Былъ одинъ изъ двоенадесятыхъ праздниковъ; церковь полна народа, служеніе торжественное, и подошло время читать Апостолъ. Стихарный дьячекъ, тревожно готовясь ко всеуслышанному чтенію, почищался какъ соколъ: раза два откашлялся, обдергивалъ не въ мѣру длинный стихарь и, держа совсѣмъ на готовѣ книгу, только выступилъ изъ отдѣла клироса, чтобы пройти въ алтарь и принять отъ священника обычное благословеніе на чтеніе,—какъ вдругъ мотнулся отрепанный рукавъ и старая жилистая рука схватила книгу у стихарнаго дьячка. Рука тянетъ къ себѣ, а дьячекъ къ себѣ. Было сочинился церковный мятежъ. «Пусти, окаянный! пьяница! Что ты задумалъ? Пусти!» шепталъ озадаченный дьячекъ; но старый дьякъ молчалъ и неотступно тянулъ къ себѣ книгу. Пришлось волею, или неволею, уступить. Тягаться до конца съ дьякомъ было опасно. Человѣкъ, которому нечего было терять, способенъ былъ рѣшиться на все. Дьячекъ выпустилъ книгу и только могъ прошептать одно тихое бранное слово. Книга очутилась въ рукахъ Кирюши и старый дьякъ, легонько поталкивая мальчика передъ собою, направилъ его въ алтарь и самъ шелъ за нимъ.

«Что ты это?... Оглашенный! чего ты натворилъ!» шепотомъ, какъ будто читая молитву и съ невозмутимой неподвижностію важнаго лица подъ комилавкою, говорилъ протопопъ, глядя во всѣ глаза на дьяка. «Разрѣшилъ! Обѣдни не выждалъ, окаянный!»

—Благослови, отче!... слышно произнесъ дьякъ, который точно *разрѣшилъ* и, не смаргивая, могъ съ кѣмъ угодно помѣряться своимъ единственнымъ глазомъ.

Отецъ протопопъ далъ свое благословеніе мальчику точно съ тѣмъ же чувствомъ, какъ и дьячекъ книгу—чтобы только не произвести соблазна въ церкви, и старый дьякъ вывелъ своего питомца изъ алтаря, сопровождая его на средину церкви, произнесъ за него: *Прокименъ, гласъ шестый*, и помогъ смущенному мальчику попасть на этотъ *гласъ* въ пѣніи прокимна. Кирюша ни живъ, ни мертвъ началъ читать

Апостолъ. По счастію, *зачало* посланія было довольно велико, такъ, что ребенокъ имѣлъ время опомниться. Искры перестали у него горѣть въ глазахъ и сыпаться на книгу. Тихія одобренія дьяка: «хорошо, малый! Ничего, Кирила! Кончай, какъ училъ... хорошо!» эти одобренія надъ ухомъ мальчика вливались въ него, какъ благодать, и Кирюша дѣйствительно окончилъ хорошо, съ полной удовлетворительностью возгласивъ послѣднее конечное слово. За тѣмъ дьякъ отвелъ мальчика къ клиросу и заставилъ пѣть обѣдню, не смотря на ярость стихарнаго дьячка.

Но что бы ни чувствовалъ дьячекъ, а Иванъ Демьянычъ, мучной торговецъ, который самъ, по двоенадесятымъ праздникамъ, задавалъ баса на клиросѣ,—возъимѣлъ благоволеніе къ Кирькѣ и, отпѣвши обѣдню, позвалъ къ себѣ питомца и учителя на праздничный обѣдъ. Понурый, какъ медвѣдь на четверенькахъ и безцеремонно-грубый толстошеею спѣсью удачливаго кулака и торговца, Иванъ Демьянычъ, не стѣсняясь, поставилъ Кирьку у притолки и объявилъ пьянчужкѣ-дьяку: «что вонъ оно произошло куда! Чорту на клинъ, кажись бы, только и годился онъ, дьякъ, а вишь и Богу послужилъ... Ну, да и мы-съ то не въ остатнихъ у Божья Милосердія живемъ-съ! объявилъ Иванъ Демьянычъ и взялъ Кирьку къ себѣ, мальчишкою голодраннымъ въ лавку.

И чего не дѣлалъ Кирюша, обращенный хуже, чѣмъ въ водовозную лошадь! Онъ и кули ворочалъ въ лавкѣ, напрягаясь всею дѣтскою силой; лошадь поилъ и кормилъ, ребятъ нянчилъ, хозяйкѣ горшки мылъ, поросятамъ кормъ выносилъ, на приказахъ и побѣгушкахъ по всѣмъ всюдамъ былъ; и будь онъ обыкновенно нанятый мальчикъ, Кирюша получилъ бы условленную плату, но какъ онъ взятъ былъ ради «Божья Милосердія», то кромѣ пинковъ и толчковъ, и ежедневныхъ попрековъ кускомъ хозяйскаго хлѣба, Кирька не видалъ ничего. Все это казалось такимъ обыкновеннымъ дѣломъ сиротѣ-мальчику, что онъ даже дѣдушкѣ-дьяку не жаловался; а поплачетъ себѣ втихомолку, утрется кулакомъ и еще запоетъ пѣсню. За сараемъ

у Ивана Демьяныча, къ сосѣдскому плетню, сложены были одни на другія трое саней. Тамъ Кирюша смостилъ себѣ ребячье гнѣздо. Наносилъ изъѣдьевъ сѣна отъ лошади, набилъ полны сани и, управясь по хозяйству, мальчикъ забирался сюда на отдыхъ. Расправляя молодые приморенные члены, онъ вытягивался въ саняхъ и смотрѣлъ въ небо острыми, неустающими глазами, пока что-то въ чудныхъ далекихъ небесахъ и въ молодой душѣ мальчика начинало пѣть то пѣсню, то духовный стихъ, то опять заливную пѣсню—и пока Иванъ Демьянычъ, потягиваясь на порогѣ отъ послѣобѣденнаго сна, не начиналъ мычать: «Эй! роспѣлся. Какого шута ты поешь? А дѣло забылъ?» И Кирюша вылезалъ изъ своихъ саней, и шелъ на хозяйское дѣло.

Вскорѣ по поступленіи мальчика, хозяйка, обдѣливши его молочною кашею за обѣдомъ и отправляясь спать, наказала Кирюшѣ, чтобы онъ залезъ подъ амбаръ и посмотрѣлъ: чего тамъ кудахтаютъ куры? нѣтъ ли яицъ? Перемывши горшки и ложки, и уже собственной охотою накормя тощую дворную кудлатку, мальчикъ отправился ползкомъ подъ мучные амбары. Нашелъ ли онъ, или не нашелъ тамъ яицъ, но онъ увидѣлъ чудное... Мальчика ошеломило. Онъ схватилъ въ руку попавшійся камень и хотѣлъ было, сколько силы, пустить въ дьявольское навожденіе. Но рука борзаго мальчишки отяжелѣла и некрещеное русалочье племя приковало его глаза. Не даромъ былъ Четвергъ семика—именно русалочій великъ-день: Кирюша видѣлъ, что подъ кустомъ сидѣла русалка, некрещеное утопленное дитя—какъ есть русалка: въ бѣломъ, и русалочьи длинныя косы. Что она дѣлала — было не видно. Только не качалась на вѣткахъ; а сидѣла, потягиваясь ручонками въ зеленый кустъ, и все улыбалась сама себѣ тихонько. Мальчика и жаръ и холодъ пронималъ насквозь... Хозяйскіе амбары, ихъ глухой стѣною, очень близко стояли къ сосѣдскому плетню, и это за плетнемъ подглядѣлъ Кирюша, что творились такія чудеса. Русалочка посидѣла и вдругъ съ глазъ пропала—не стало разомъ ея. Мальчикъ

самъ не свой вылезъ изъ подъ амбара; но поглядѣть: явится ли завтра въ кустѣ русалка? стало ребячей мыслью его. Никому не сказывая, какъ есть ни одного слова, онъ недѣлю слишкомъ каждый день стерегъ и вызналъ свою русалку, пока, наконецъ, осмѣленный полнымъ уединеніемъ и близостію разстоянія, которое только рухлыми тычинами да зелеными хмѣлинами отдѣляло его,—мальчикъ проговорилъ: «Барышня! я пролезу къ вамъ»—и пролезъ Кирюша.

IV.

Вполнѣ понятно чувство дикаря-ребенка, который, изъ баннаго ныряща, въ лазейку плетня увидѣлъ такъ близко живое существо, неизмѣримо его превосходящее—маленькую барышню! Нечесанный, грязный, оборванный какъ кудлатка, въ жилетѣ Ивана Демьяныча, мальчикъ сталъ неумытымъ лицомъ передъ дѣвочкою, которая могла не смотрѣть на него, чтобы не замарать свои свѣтлые глазки. И дѣвочка точно не смотрѣла; но только не отъ страха за дѣтскіе глазки, а отъ дѣтской тихой сосредоточенности, всепогруженной въ себя и въ свою тихую забаву лелѣямаго дитяти. Тринадцатилѣтній мальчикъ, свернувшись какъ собаченка, чуть смѣлъ пошевелиться и лежалъ упершись въ землю локтями и не отрываясь пристальными глазами отъ того, какъ маленькая барышня сама-себѣ сидѣла, не занимаясь имъ и качала свою крохотную колыбельку. И много должно была пройдти дней, пока дѣвочка свыклась съ его безмолвнымъ присутствіемъ и, будто показывая себѣ самой, она улыбнулась ему и показала свой повитой стручекъ. Кирюша подползъ поближе къ барышнѣ, и бузиновый кустъ, подъ своимъ зеленымъ наклономъ, странно пріютилъ маленькаго слабаго властелина и сравнительно сильнаго, плечами и головой переросшаго раба. «Барышня! я вамъ качельки сдѣлаю,—барышня, я славную пѣсенку запою,—я, барышня,

вамъ сказку про Ивана Царевича скажу.» Но маленькая царица зеленаго куста не принимала жертвъ и приношеній своего усерднаго раба. «Авдотья Степановна увидятъ... Авдотья Степановна услышатъ!» издавала она тихій лепетъ. Но Кирюша, взмостясь на сани, пѣлъ для барышни громкія пѣсни и присѣвъ на корточкахъ передъ нею, какъ кудлатый бровко, онъ сказывалъ ей тихія чудныя сказки... И Кирюша умылся въ лошадиномъ корытѣ; хозяинъ засталъ его на мѣстѣ преступленія, какъ онъ, высмотрѣвши, гдѣ валялись у хозяйки гребни, завладѣлъ ими, и дралъ и чесалъ свои густыя, непрочесныя кудри. Медвѣжья лапа Ивана Демьяныча не преминула по своему чесануть мальчика; но дѣдушка дьякъ выпросилъ для него на міру не только одинъ, а даже два гребня,—«чеши, парень, любо,» говорилъ ему. И Кирюша чесалъ завивающіеся кудри и сказывалъ дѣдушкѣ: «А у меня, дѣдушка, маленькая барышня въ кустѣ»—сказывалъ такъ дѣтски радостно, какъ бы онъ нашелъ пару голубей въ гнѣздѣ. Наступала длинная холодная зима, но ея вьюги и метели не заметали барышню въ памяти мальчика. «Маленькая барышня, маленькая барышня!» твердилъ онъ самъ себѣ въ лавкѣ, подпрыгивая на морозѣ, чтобы согрѣться. Свою годовую праздничную радость, красное яйцо, мальчикъ берегъ—не съѣдалъ его и приносилъ своей барышнѣ. Зимою онъ перебирался по сугробамъ и шелъ навѣдаться къ «дому барышни—вона замели его бѣлые снѣга!» а къ веснѣ онъ заранѣе готовилъ новые гладенькіе чурбанчики, круглячки и обрубки дерева, которые онъ разставлялъ, какъ столы и сидѣнья, подъ кустомъ. Но самъ Кирюша никогда не сидѣлъ на нихъ. Съ него было и того, что, если онъ не предстоялъ на корточкахъ, то лежалъ вытянувшись на землѣ и, подперши голову руками, внимательно смотрѣлъ на все, что ни дѣлала и какъ шевелилась тихая барышня...

— Ну, ты! пошевеливайся — песъ тебя бери! понукалъ Иванъ Демьянычъ мальчика на крупчаткѣ таскать купленные кули.

На ту пору случился самъ крупчатникъ.

— Что ты это, Демьянычъ, паренька-то запрягъ да и гоняешь? замѣтилъ онъ.—А паренекъ ничего — славный паренекъ! Что онъ у тебя какой?

— А такой, отвѣчалъ сипло и удушливо Демьянычъ: — что навязалъ ради Божья Милосердія на шею себѣ, да и вожусь съ нимъ.

Крупчатникъ немножко лукаво улыбнулся.

— А коли навязалъ, такъ мы развяжемъ... Паренекъ мнѣ на глаза вспалъ. Эй, ты, паренекъ! подозвалъ онъ Кирюшу. Переходи-ка, братъ, ко мнѣ хозяйскому добру радѣть. Линія-то получше выйдетъ и мохны-то эти оберешь съ себя, — указывалъ онъ на лоскутья одежды мальчика.—Ты чай, Демьянычъ, не изъубытчился на малаго: по кулаку на день, да по другому на ночь, и будетъ съ него!

Иванъ Демьянычъ показалъ бы другому свои справскіе кулаки; но у крупчатника онъ бралъ муку въ долгъ, на выторжку—и смолчалъ Иванъ Демьянычъ, только промычалъ глухо.

Новый хозяинъ Кирюши наказалъ ему, чтобы онъ свезъ муку въ городъ прежнему хозяину; а на другой день, чтобы безпремѣнно шелъ на крупчатку—«да гляди, паренекъ, не балуйся дорогою!» подтвердилъ онъ.

Но Кирюшѣ было не до баловства, когда вдругъ привелось разставаться со всѣмъ, къ чему горько прижило себя дѣтское сиротское сердце: и съ дѣдушкою дьякомъ, съ лошадью и съ кудлаткой Демьяныча—разстаться съ маленькою барышнею... Почти шестнадцатилѣтній Кирюша плакалъ подъ кустомъ и говорилъ: «пусть барышня приходитъ сюда и онъ будетъ приходить. Онъ выпросится праздниками у хозяина»— а разстояніе было рукой подать для мальчика, который волею и неволею, и своей охотою, привыкъ гонять цѣлыя версты взадъ и впередъ

Хозяинъ-крупчатникъ помѣстилъ Кирюшу сначала при горницахъ: самоварчики ставить, соловьевъ въ клѣткахъ и

дворнаго перепела на высокомъ шестѣ кормить. Но паренекъ въ охотку брался за всякую работу, и когда хозяинъ узналъ, что онъ и книжку Божію читаетъ, и засталъ его, что онъ, примостясь на куляхъ, «цифиры» пишетъ,—«да ты я вижу парень на дѣло сгодился и нечего тебя промежъ дѣломъ совать,» сказалъ крупчатникъ и пустилъ Кирилу на всякое дѣло. Въ четыре года малый выросъ—рукой не достанешь, и ума вынесъ; холя да удаль пристали къ нему, какъ цвѣтное платье къ лицу. «Малый—благодатный малый!» сказывалъ о немъ хозяинъ. И Богъ привелъ Кирилу на такой случай:

Попуталъ грѣхъ главнаго мастера на крупчаткѣ. Расковался онъ: не накуетъ да и не накуетъ камень, какъ слѣдъ быть дѣлу. Портитъ муку день, портитъ другой, — и онъ и хозяинъ руки опустили.

— Да что жъ ты, Михеичъ! Что на тебя, малый, за притча нашла? говорилъ хозяинъ...

Михеичъ и самъ не зналъ: баба ли сглазила, водяной ли подшутилъ, самъ ли бѣсъ лысый на камнѣ сидѣлъ; только нѣтъ ладу да и нѣтъ. Собрались кругомъ Михеича хозяинъ, прикащики и всѣ, за кѣмъ не стояло дѣло. Михеичъ отъ бабьяго глазу уже и сплевывалъ по сторонамъ, и руки въ рѣшетѣ на бороду водяному мылъ, всѣ оскарды—тѣ острые молоточки, которыми наковываютъ мельничный камень—онъ ихъ вновь насталилъ и на починъ чарку водки попросилъ—нѣтъ проку да и нѣтъ! То камень жжетъ, палитъ муку; а то плющетъ зерно, даже не мнетъ его, а рубитъ, какъ топоромъ, по поламъ.

— Батюшка, Игнатъ Емельянычъ! сказалъ Михеичъ съ отчаяніемъ.—На грѣхъ мастера нѣтъ. Что хочешь, дѣлай со мной; хоть по̀ локоть руки сѣки!

— Да что дѣлать-то?.. пріунылъ хозяинъ.

— Позвольте-съ я... обозвался Кирила.

— Что ты, малый! Не шутка дѣло.

— Попробуемъ-съ.

Кирила живо засучилъ рукава, сбросилъ шапку, перекре-

стился, захватилъ оскарды въ руки и началъ выдѣлывать трудное дѣло Михеича: выводить отъ центра камня расходящіяся по немъ по всемъ бороздки и чтобы онѣ шли не прямыя, а постепенно и правильно закругляющіяся — ни дальше, ни ближе одна ото одной, чтобы онѣ въ узоръ обошли весь камень и были бы въ мѣру широки, и въ мѣру узки. И этакъ наковать камень безъ помощи какого-либо инструмента, а просто «на глазъ» — на угадъ. Кирила живо работалъ. Молодая твердая рука, какъ окриленная, сталью бороздила камень; внимательный глазъ не отрывался, и Кирила только по временамъ встряхивалъ головою, чтобы откинуть нависающіе кудри.

Михеичъ, вначалѣ не обращавшій вниманія на молодца и работу, подъ конецъ заглядѣлся на нихъ.

— Да что тебя мать-то въ рубашкѣ родила? спросилъ онъ.

— Попробуемъ-съ, сказалъ на отвѣтъ Кирила, закончивъ крестомъ свое дѣло.

Приступили пробовать, насадили камень; самъ хозяинъ воду пустилъ... «Господи, благослови!» сказали въ одинъ голосъ всѣ, и камень пошелъ и пошелъ—зашевелился, дрогнула снасть, вода изъ скрыни загула и камень какъ пѣсню запѣлъ—замололъ камень.

— Ахъ ты, благодатный малый! пришелъ въ широкій русской восторгъ крупчатникъ... — Вишь и кудри-то у него къ талану вьются! Дай же я тебя, какъ въ Христовъ праздникъ, во уста поцѣлую и въ твою золотую маковку! поцѣловалъ хозяинъ Кирилу въ уста, и въ верхъ головы крѣпко поцѣловалъ его и тутъ же, на радостяхъ, подарилъ ему весь помолъ камня, что смелетъ въ сутки, и всю ту муку, что попортилъ Михеичъ.

Спохватясь, крупчатникъ увидѣлъ, что онъ уже черезъ чуръ широко развернулся.

— Ну да такой часъ вышелъ. Ублажилъ душу малый... И слово отъ Господа человѣку бываетъ, разсуждалъ самъ

себѣ крупчатникъ. — Пусть беретъ парень на таланливые кудри. Знать его счастье сиротское проснулось у Бога.

И счастье Кирилы точно проснулось. Съ той поры онъ сталъ, не въ примѣръ другимъ, на отмѣтѣ у ласковаго хозяина. Сдѣлать ли что поумнѣе, да поудачливѣе, послать ли куда малаго съ головою, чтобы зѣвковъ не зѣвалъ, а дѣло смекалъ... «А кого послать? говорилъ крупчатникъ. Ужъ никого больше, какъ таланливаго... Ну-ка ты, Кирила! встряхни кудрями да и Богъ съ тобой!» отправлялъ его хозяинъ. И Кирила шелъ, ѣхалъ, поспѣшалъ — не зѣвалъ, не загуливалъ; хозяйскія тысячи за пазухою пуще своего глазу берегъ. Въ восемь лѣтъ онъ увѣрился хозяину, какъ своя душа. «Малый подъ Богомъ ходитъ,» говорилъ крупчатникъ о немъ.

Къ концу этихъ восьми годовъ случилось Кирилѣ быть въ отлучкѣ мѣсяцевъ на шесть. Воротился онъ передъ Троицею и сдавши хозяину на чистоту всѣ счеты и отчеты, онъ отпросился въ городъ денька на три по знакомству побывать.

— Ступай, малый! скатертью тебѣ дорога, проводилъ его ласковымъ словомъ крупчатникъ.

И пошелъ Кирила-таланливый на перерѣзъ лугами да зелеными полями, самъ себѣ пролегая молодецкій слѣдъ. Сердце-то у него не въ уёмъ взыграло да просилося: скорѣе да поскорѣе, хоть бы занять у птицы крыльца да побывать туда, гдѣ ждетъ ли — не ждетъ ли, сиротѣетъ милая барышня! Но какъ ни поспѣшалъ Кирила, а солнце уже спустилось на кресты колоколень, когда онъ подошелъ къ городу. Ударили къ вечернямъ, и было уже поздно пробираться окольными путями да огородами на ту тайную дорожку, которая была не торна—не убита, но въ восемь лѣтъ не была забыта молодцомъ Кирилою.

— А что, братъ! не знаешь? спросилъ онъ перваго встрѣчнаго:—здравствуетъ еще дѣдушка, горемычный дьякъ?

— А какъ тебѣ сказать, молодецъ! отвѣчалъ тотъ.—Не слыхать, чтобы померъ; одначе не видать, чтобы и таскался по улицамъ старый.

— Знать, боленъ старина! или водочки недостача закручинила моего дѣдушку дьяка!—себѣ подумалъ Кирила и, свернувъ къ кабаку, онъ постучалъ въ окно, чтобы ему вынесли водки.

Проходя мимо торговцевъ, Кирила захватилъ пару калачей и спѣшилъ къ уединенному лѣсному подворью баннаго притона дьяка. Все ему тутъ было знакомое и перезнакомое; каждый кустъ будто роднею привѣтливою глядѣлъ; а сиротство Кирюши—эхъ, ты горемъ шитое, не покрытое сиротство!—словно вставало на ноги и подступало къ Кирилѣ-таланливому оно... «Что было, то былью поросло!» встряхивалъ онъ молодецкими кудрями...

Взойдя на рухлый мостишко, Кирила пошатнулся на немъ и тутъ же услышалъ, что дѣдушка дьякъ съ кѣмъ-то сипло рѣчи ведетъ. «Есть же она, христіанская душа, что пришла провѣдать моего дѣдушку дьяка!» себѣ сказалъ Кирила и заглянулъ осторожно въ баню, а въ банѣ нѣтъ никого.

Одинъ горемычный дьякъ лежитъ навзничь на нижнемъ полкѣ, и это его собственная душа говорила съ нимъ великимъ языкомъ.

— *Премудрость же откуда обрѣтеся и кое мѣсто есть вѣдѣнія?* спрашивалъ умирающій дьякъ. — *Се благочестіе есть премудрость*, воззвала торжественно душа: — *и еже уклонятися отъ зла есть вѣдѣніе.* Кирила! дай рюмочку, сказалъ дьякъ.

Почувствовалъ ли онъ настояще приходъ Кирилы, или это былъ полубредъ больнаго (потому что дьякъ лежалъ съ закрытымъ своимъ глазомъ); но Кирила поспѣшилъ исполнить желаніе и поднесъ рюмочку. Выпивши одну и другую, дьякъ поднялся и сѣлъ.

— Боленъ я крѣпко, Кирила! заговорилъ онъ болѣе чистымъ, освѣжившимся голосомъ —Къ смерти болѣю—умру, и тебя Богъ привелъ похоронить меня.

— Такъ я, дѣдушка, за священникомъ схожу?

— Иди, малый, иди... Смерть идетъ.

Кирила живо, торопливо справился и привелъ священника запричастить больнаго.

На встрѣчу Св. Дарамъ дьякъ всталъ, шатаясь, какъ расшатавшееся бурею, старое дерево, и поклонился до земли. Кирила поднялъ его и посадилъ на полокъ.

— Грѣшникъ я, батюшка! Грѣшенъ жилъ и грѣшенъ умираю.

Священникъ принялъ это исповѣданіе и причастилъ больнаго.

Снявши съ себя ризу и еще оставаясь въ эпитрахили, батюшка наклонился къ дьяку, чтобы что-нибудь сказать причастившемуся. А что ему было сказать?

— Что, старый, видно пора на покой? сказалъ батюшка.

— Пора!. поднялся больной, который было легъ, и поднялъ руку, какъ поднимаетъ дьяконъ, возглашая эктенію «*Во блаженномъ успеніи вѣчный покой*, началъ возглашать онъ, потрясая рухлую и глухую баню—*подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему, недостойному дьякону, и сотвори ему вѣчную память!*»

«*Вѣчная память!*» запѣлъ онъ тихо и жалобно... «*Вѣчная памятя!*» повторилъ въ другое, и когда въ третье онъ запѣлъ протяжнѣе и еще жалобнѣе—звукъ умеръ и онъ умеръ.

Священникъ на минуту остановился...

— Пошлетъ же Господь Богъ такую смерть! сказалъ онъ— снялъ съ себя эпитрахиль и покрылъ лицо умершаго.

Кирилѣ казалось, что это онъ хоронитъ отца своего и мать, которыхъ, за мѣсто его, прихоронили чужіе люди. Плакалъ Кирила, и его слезы и молодость прослезили двухъ-трехъ старухъ, и похоронили съ миромъ дьяка!

— Запала моя путь-дорога сюда! сказалъ Кирила, впослѣднее выходя изъ бани и толчкомъ ноги обрушивъ за собою рухлый, еле-державшійся мостишко.

А идти куда?

Знакомыхъ и пріятелей у таланливаго Кирилы, пожалуй,

довольно есть, что вспоминаютъ, какимъ онъ оборванцемъ мальчишкою взапуски гонялъ съ ними. Да не того ему надобно, не пріятельскаго знакомства... Вишь, какую ему притчу Господь послалъ! И шелъ онъ — сердце играло, а Богъ ему на руки мертвеца далъ. «Возьми-молъ, Кирила!» И Кирила взялъ—и отдалъ землѣ земное, и мертвому мертвое; а теперь живое тѣмъ болѣе просило живаго, и молодое чувство звало сердечную радость къ себѣ побывать въ гости.

И день былъ такой радостный — Троицынъ день. Разошлись люди послѣ обѣдень, опустѣли улицы; пообѣдалъ народъ. Старые отдыхаютъ, а молодые собираются за городъ въ рощу вѣнки завивать. И Кирила пошелъ—только не въ рощу. Ему надобно было издалека заходить, чтобы сосѣди не знали и люди не видали. До сей поры ребята-товарищи и городскіе пріятели Кирилы только одно за нимъ замѣчали: какъ уже онъ въ охоту и славно эту пѣсню поетъ!

Друзья-братья женятся,
А я не женатъ хожу...
. . . . . .
У сосѣдушки дѣвушка
Свела съ ума—съ разума
Тихою походкою,
Нѣжной поговоркою.

Но друзья-братья и мыслію того не помекали, что эта пѣсня да шла къ Кирилѣ, какъ бы онъ самъ ее про себя сложилъ. Маленькая барышня, что ни годъ, все больше становилась большою, и ростъ ея подступалъ къ сердцу Кирилы, именно «тихою походкою, нѣжной поговоркою.» Добрый молодецъ уже зналъ, что она была не настоящая барышня—что ровня она ему ровнею была. Но все и въ городѣ она слыла «барышнею Авдотьи Степановны», и мѣщанская стать не приставала къ ней, какъ она шла подъ зонтикомъ, тоненькая да бѣленькая, ручки въ перчаточкахъ, и ясные глазки

тихо глядятъ на людей, какъ бы молвятъ: «не обидьте меня, добрые люди! Я тихая, милая барышня.» И уже какою до души милою показывалась она Кирилѣ, когда онъ долго не видитъ ее и потомъ повидитъ въ калинѣ да въ малинѣ, въ зеленыхъ кустахъ, какъ Божія ангела въ райскихъ садахъ! И теперь съ полгода мѣсто, какъ онъ не видалъ ее, и шелъ окольными путями да огородами, земли подъ собою не слыша... Спѣшилъ Кирила. На полупути-дороги сталъ ему на перерѣзъ, мало того, плетень; а на плетень, обопершись, стояла женщина съ ребенкомъ и смотрѣла въ свой огородъ.

— А что, тетка: видала, какъ молодцы черезъ плетни прыгаютъ?

Тетка посмотрѣла на молодца.

— Можетъ, какъ моложе была, такъ и видала.

— Ну, и теперь, тетушка-соколушка, посмотри...

Кирила занесъ ногу и въ два мига очутился за плетнемъ.

— Эй, ты, удалой! подавала въ слѣдъ голосъ тетка: — выше вѣтру голову не неси, да подъ ногами гляди. Луку не потопчи.

Но Кирила не видалъ луку, не слыхалъ голосу; у него въ глазахъ уже показались, мрѣя и желтѣя, песочные обрывы надъ тою рѣченкою, что переходили куры въ бродъ. А шагнулъ молодецъ на крутые обрывы, тамъ по песку вздулися бугры, а на тѣхъ буграхъ поросли бузиновые кусты, а за тѣми буграми, да за тѣми бузиновыми кустами, и тотъ кустъ не далечко, что помнилъ его Кирила, словно тамъ кладъ ему дался, или онъ душу свою вынулъ да зарылъ подъ нимъ!

Настигъ Кирила того куста и сталъ — стоитъ-думаетъ: «выйдетъ ли свѣтъ-тихая барышня моя? Вонъ и круглячки-обрубочки, что я колись-то мостилъ. Почернѣли они, гниль ихъ взяла подъ кустомъ, и колыбелька ея гдѣ дѣлася... Пошли ей, Господи! свято да здорово качать другую колыбельку!» Кирила оглянулся кругомъ... вонъ и она идетъ—

шороха не слыхать; а за ней и передъ нею, словно сами кусты, одинъ по одному, разступаются и соступаются.

— Кирила Петровичъ! гдѣ вы у Бога взялися? проговорила съ тихой радостію молоденькая дѣвушка и слегка тронула его нѣжной бѣленькой рукою.

— Пришелъ-съ, сказалъ Кирила и слова не могъ отвѣтить болѣе.

Передъ нимъ стояла истинная барышня—свѣтъ ему заступала—вотъ какъ есть бываютъ барышни, что ихъ будто солнце не жжетъ и на нихъ вѣтеръ не вѣетъ: такія онѣ бѣленькія да тоненькія, какъ былиночки, гнутся! И вся-то она въ нарядѣ, какъ прекрасная барышня. Съ головки черные бархатцы висятъ; рукава широкіе да широкіе. вся бѣлая ручка видать... И передъ этой ручкою какою грубою мужицкою пятернею казалась Кирилѣ его собственная рука!

Стоя напротивъ его безъ ласки, безъ привѣта, милая барышня какъ будто застыдилася.

— Гдѣ это вы были, Кирила Петровичъ, что васъ не слыхать, не видать было? стала она тихо заговаривать.—Спросить не у кого, сказать некому—подумала я себѣ, да и думать перестала.

Привыкая немного къ ея тихому привѣту, Кирила Петровъ разсказалъ все, гдѣ онъ былъ и почему тутъ не былъ.

— Оно и хорошо, что не были... Все равно, мнѣ и душу съ вами отвести не довелось бы! Авдотья Степановна крѣпко болѣютъ, сказала съ заботою молоденькая дѣвушка.—И такъ онѣ за болѣзнь ихъ привязались ко мнѣ, что я отъ нихъ ни на шагъ не отходи. На что сегодня праздникъ какой! а я только въ окошко поглядѣла, какъ люди къ обѣднѣ идутъ, да на свѣчку милостыньку подала. Больны Авдотья Степановна, крѣпко больны!

Настенька задумалась, глядя себѣ на руки.

— А васъ, родной Кирила Петровичъ! вотъ ужъ, какъ Богъ святъ, я нынче видѣть и въ умѣ своемъ не полагала.

Вышла, пройтись съ тоски. Праздникъ же нынче, по рощамъ веселья затѣваются.

— Пусть затѣваются, Настасья Дмитревна, съ силою сказалъ Кирила.—Кажному весело тамъ, гдѣ ему весело, барышня!

А у барышни такое тихое да грустное улыбанье показалось на лицѣ.

— Хоть бы разъ я извѣдала, какъ это люди веселятся? сказала она.—Какъ оно имъ весело бываетъ? А мнѣ все ни весело, ни грустно. Горя нѣтъ и радости не видала... Кажется, залилась бы слезами, выплакала разомъ душу; а тамъ—хоть бы что-то за радость у Бога я своимъ сердцемъ узнала?

— Какъ полюбите-съ, Настасья Дмитревна, такъ вы и узнаете-съ радость Божью въ человѣкѣ.

— Кирила Петровичъ! сказала, краснѣя, молоденькая дѣвушка:—знаете пословицу: тонко прясть, долго ждать, а меня небойсь и Авдотья Степановна уже ждутъ.

— Постойте-съ! проговорилъ Кирила и, въ порывѣ удержать ее, онъ протянулъ руки и почти коснулся ее руками.—Вотъ-съ вы говорите о радости, заговорилъ онъ, крѣпко застыдившись:—а какая-съ тутъ радость будетъ, коли только прійдешь и уйдешь отъ васъ!

— Что-то и говорить о нашихъ радостяхъ! сказала тихая и грустная Настенька.—Ваша радость въ полѣ, а моя—на днѣ моря. Сиротское счастье безъ радости живетъ... Но дайте я вамъ на радость хоть вѣнокъ завью. Нынче всѣ дѣвушки завиваютъ.—Подошла она къ березѣ, какъ будто ее крылья тихія несли; потянулась своими бѣлыми, своими нѣжными руками и сломила вѣточку—и другую, съ полдесятокъ сломила; сплела, свила вѣнокъ промежъ тонкими пальчиками и на шляпу взложила.

— Вотъ вамъ, Кирила Петровичъ! чтобъ и вы не безъ вѣнка были. Ступайте въ рощу. Вы на самое только веселье и игры попадете... Или нѣтъ! сказала милая барышня. Чтожъ

такъ безъ всякой закрасы?... сняла она съ себя бантъ хорошій—ленту и перевила вѣнокъ на шляпѣ, и концы длинные пустила.—Вотъ теперь, Кирила Петровичъ! надѣньте-ка, я погляжу на васъ. Я васъ словно милаго братца убираю... Да какіе же вы хорошіе! даже ручки свои бѣлыя подняла къ верху Настенька, когда Кирила, слуша сь ее, поклонился ей своими густыми русыми кудрями и надѣлъ на нихъ черную шляпу разубранную.—Ахъ, вы, родной мой! говорила она.—Я васъ будто въ жизнь такимъ хорошимъ не видала. На васъ всѣ дѣвушки залюбуются—глаза на васъ просмотрятъ, что вы такіе хорошіе у Бога зародились!

Кирила не поднималъ глазъ; у него сердце млѣло и, стоя красавцемъ передъ своей барышнею, онъ насилу спомогся сказать ей:

— Что-съ вы, Настасья Дмитревна, на меня указываете-съ; вы извольте—на себя оглянитесь.

— Нечего оглядываться, Кирила Петровичъ! отвѣтила Настенька.—Что моя за красота безъ цвѣту, безъ привѣту... Вы идите же въ рощу,—подтвердила она:—большой улицею идите, чтобы на васъ добрые люди подивовалися; а я себѣ къ Авдотьѣ Степановнѣ пойду. Прощайте, Кирила Петровичъ!

Она, тихая и милая, поклонилась ему; а Кирила, какъ остолбенѣлый, стоялъ, и пошелъ онъ тѣми же песками и тѣми же буграми; околесилъ верстъ пять съ придачею, пока выбрался на большую дорогу изъ города. По рощѣ гулъ стоялъ, доносились пѣсни; Кирила миновалъ рощу — шелъ онъ одинъ-однимъ, на сколько видно было взадъ и впередъ дороги; только въ глазахъ ему потухала заря, да со шляпы лента концами шелестѣла въ ушахъ.

V.

И на долго пала—пролегала Кирилѣ эта далекая одинокая дорога, пока вотъ-то онъ увидѣлъ Настеньку, какъ царевну

въ сказкахъ, въ прекрасномъ саду и въ хрустальномъ терему. И вся дума-забота молодца какъ была-не была, по водѣ сошла! Привалило счастье человѣку, что и въ лукошко не уберешь. Барышня-невѣста и господа-баре взялися свадьбу справлять.

И надобно отдать честь господамъ: что это была не одна затѣя послѣобѣденнаго сытаго барства, а въ ней проглядывало чувство сознанія, что слѣдуетъ поступить такъ.

Авдотья Степановна окончила жизнь такимъ же исключительнымъ поступкомъ, какъ была исключительна вся ея судьба. Умирая, она всю денежную сумму своихъ жизненныхъ заботъ и переворотовъ отказала, по духовному завѣщанію, одной изъ меньшихъ дочерей своихъ бывшихъ господъ — той именно, которая, на ея глаза, была похожа на маркизу. Она жалѣла Настеньку и думала вознаградить ее всѣми тѣми тряпками, которыхъ было вдоволь у Авдотьи Степановны; но удѣлить что либо изъ суммы — предсмертное тщеславіе не допустило бѣдную женщину. Ей хотѣлось, какъ можно съ бо́льшимъ даромъ, явиться передъ своими господами. Господъ не было въ деревнѣ; они проводили зиму въ Москвѣ, и даръ Авдотьи Степановны вызвалъ очень странное выраженіе на лицо пріѣхавшаго въ деревню барина. Ему было и немножко совѣстно, досадно и забавно. «Иди сюда, матушка— наслѣдница!» позвалъ онъ десятилѣтнюю унаслѣдовавшую дочь. «Изволь класть по Авдотьѣ Степановнѣ поклоны. По душѣ тебѣ вкладъ положила.... Ну, а дѣвочка, что у нея была — племянница, что ли? Какъ же дѣвочка? Домъ ей?» спрашивалъ баринъ. Но на счетъ дома доложили, что онъ былъ купленъ на имя мужа Авдотьи Степановны и, по смерти ея, поступилъ во владѣніе родни Красулина.

— Такъ подавайте же дѣвочку! Дѣвочку сюда! возгласилъ баринъ.

Дѣвочку привезли изъ города и она осталась въ домѣ на вольныхъ правахъ не барышни и не горничной, а чего то такого, о чемъ говорится «середка на половинѣ.» Здѣсь же

подошла свадьба, и дѣвочка очень кстати пригодилась для работъ.

— Честь дома, матушка—vous comprenez? — говорилъ на другой день за завтракомъ глава семейства, раскрывая портфель съ деньгами и внушая хорошенькой свадебной мастерицѣ ея обязанности въ отношеніи Настеньки.

И очень довольная дарованнымъ ей полномочіемъ, молоденькая невѣста съ живостію принялась снаряжать другую невѣсту. Немножко желая показать себя и обрадовать красиваго жениха, она объявила: «что пусть онъ не думаетъ: кромѣ всего, она даетъ за Настенькою тысячу рублей приданаго.»

— Это-съ, какъ вамъ угодно-съ,—отвѣчалъ Кирила. А я-съ Настасью Дмитревну, какъ онѣ есть-съ, въ одномъ платьѣ беру-съ.

— Qu'il est bête! Il ne sait pas remercier, готово было сорваться съ хорошенькихъ губокъ свадебной мастерицы.

Но взглядъ на красавца-жениха, который стоялъ спокойно, въ несознаваемомъ достоинствѣ своего простаго слова, унялъ острую вспышку барышни.

Кирилѣ предстояло много спѣшнаго дѣла дѣлать. Не малый трудъ былъ оправить родительскій домикъ, который лѣтъ шестнадцать не зналъ, что такое настоящій хозяинъ. И съ хозяиномъ крупчатникомъ слѣдовало порѣшить дѣло: остаться ли Кирилѣ, или не оставаться у него? Хозяинъ ему за отца роднаго сталъ: образомъ его благословилъ, добру поучилъ; поклонился ему въ ноги Кирила, заплакалъ, и Игнатъ Емельяновичъ тоже слезу отъ сердца пустилъ.

— Вотъ какъ, парень! сказалъ онъ: Боже тебя благослови... А ты, малый, не прытко гони. Не бросай ты разомъ меня. А сначала ты женись (я тебѣ льготы, на сколько хочь, даю)—а тамъ, пошлетъ тебѣ Богъ любовь да совѣтъ, вотъ вы и усовѣтаетесь по новому жить, какъ вамъ часъ-время укажетъ и Христосъ поблагословитъ.

Кирила Петровъ внялъ этому совѣту и спѣшилъ къ своей

ненаглядной невѣстѣ, которую онъ, можно сказать, и видѣлъ — не видѣлъ. Доступу такого и подступу, какъ душа хотѣла, къ ней не было. Все она съ дѣвушками да между дѣвушками; а то и къ барышнѣ позвана, сидитъ въ ея покоѣ. Шьютъ онѣ да кроятъ; она глазъ не поднимаетъ, своихъ ручекъ отъ работы не покладаетъ, и слова ей нельзя такого сказать, чтобъ чужія уши не слышали! Хоть бы на прогулку выйти, или вечеркомъ когда, у задняго крылечка, душа въ душу и рука въ руку однимъ постоять—такъ осень стала, непогода; изморозью и дождемъ въ лицо бьетъ! Терпѣлъ ретивымъ Кирила и уже не долго оставалось ему терпѣть: день свадьбы назначили.

— Какимъ вы всегда молодцомъ!.. Однако, послушайте, говорила, мило улыбаясь, высокая покровительница. Вѣдь это вамъ стыдно, Кирила Петровичъ — что ваша невѣста такая всегда грустная и печальная.

— Богъ дастъ, повеселѣютъ-съ, отвѣчалъ въ радостной надеждѣ Кирила.

И точно Несмѣянѣ-царевнѣ Настенькѣ слѣдовало повеселѣть, хотя бы для того, чтобы избавить себя отъ сказочнаго нареканія, и своего жениха отъ нападокъ слишкомъ развеселой особы, знакомой намъ горничной. Она какъ юла юлила между женихомъ и невѣстою и бросала имъ въ лицо своимъ молодымъ барином.

— Вы намъ-съ только говорите-съ, замѣтилъ, не стерпя, Кирила: а вы бы изволили показать намъ вашего барина. Чтой-то я около мѣсяца сюда прибиваюся, а чести ихъ не видалъ-съ.

— Протрите себѣ глаза, а тамъ, можетъ, и увидите, — смѣясь, отвѣчала горничная Кирилѣ и убѣжала.

— Вотъ странныя-съ! смѣялся вслѣдъ ей Кирила.

А Настенька все не улыбалась! Все она сидѣла, тоскливая да сиротливая и невѣстою, какъ тою дѣвочкою подъ кустомъ у Авдотьи Степановны. Наступилъ дѣвичникъ. Разодѣли ее, смотрѣть мило, да она-то сама, какъ потерянная.

— Кирила Петровичъ! отецъ мой родной!.. перестрѣла она его на сѣняхъ и готова была ему въ ноги упасть. — Дайте, я вамъ свою душу открою.

— Не время-съ, Настасья Дмитревна. Чтой-то вы въ безпокойствіи такомъ? Дастъ намъ Богъ часъ время, тогда наговоримся....

— А теперь хоть бы дверей не заступали. Пройти нельзя,— шмыгнула мимо удалая горничная, за нею садовникъ ея,— и оставаться въ сѣняхъ долѣе было никакъ нельзя.

Перевѣнчали Настеньку. Барышня сама ей къ вѣнцу волосы цвѣтами убрала, тюлевый вуаль приколола и даже букетъ въ руки дала.

— Позвольте мнѣ повидаться съ Кирилою Петровичемъ— хоть на минуточку! просила Настенька.

— Ну, милая! теперь некогда. Послѣ навидишься,—и въ своемъ торжествѣ, свадебная мастерица повела Настеньку въ гостиную: показать ее.

— Mais elle est jolie, la petite?.. выспрашивала она общее мнѣніе.

— Очень... Какъ жертва убрана,—замѣтилъ, смѣясь, собственный женихъ свадебной мастерицы.

Ему отвѣчалъ такой тонкій лукавый полувзглядъ, который могъ увѣрить его, что особа *его* невѣсты, ни въ какомъ случаѣ, не думаетъ быть *жертвою*.

По Русскому обычаю, молодыхъ тутъ же въ гостиной посадили за столъ съ хлѣбомъ-солью и, выведя изъ-за стола, благословили ихъ къ вѣнцу.

Высокая покровительница хотѣла, не отступая, по всѣмъ чертамъ провести свою достойную роль и послѣдовала за молодыми въ церковь; тѣмъ болѣе, что это было въ немногихъ саженяхъ отъ дома и сентябрскій ясный морозный вечеръ не мѣшалъ тому. За нею потянула фаланга молодыхъ людей; явились всѣ малолѣтніе и несовершеннолѣтніе члены барской многочисленной семьи, вызванныя любопытствомъ Англичанки—посмотрѣть обрядъ; даже самъ баринъ

подошелъ къ растворенным дверямъ церкви и уставясь противъ нихъ твердо, на широкоразставленныхъ ногахъ, смотрѣлъ въ церковь, по временамъ подпѣвая клиросу.

Весь домъ помѣщика, большихъ и малыхъ, завтра поднимался ѣхать на родственный именинный пиръ верстъ за пятьдесятъ; на полупути они хотѣли заѣхать въ лежавшее на дорогѣ одно ихъ имѣніе, и старшій сынъ, съ изящной предупредительностію молодаго человѣка, вызвался отправиться впередъ и все приготовить для пріема семьи. Такимъ образомъ Кирила Петровъ и въ день свадьбы не удовлетворилъ своего любопытства и не видалъ молодаго барина.

Далѣе—надобно говорить безъ лести и безъ клеветы. Недостатка въ барской добротѣ у насъ нѣтъ и барскаго добродушія у насъ вдоволь. Но въ томъ-то и дѣло, что все это *барское* является, или, вѣрнѣе сказать, являлось прихотью, задерживалось барской небрежностью и только когда-когда оказывается оно живымъ біеніемъ просто человѣческаго, Русскаго сердца!

Молодыхъ приняли отъ вѣнца съ той невольно располагающейся привѣтливостію, съ какою обыкновенно встрѣчаютъ молодыхъ. Цѣлая зала въ домѣ отдана была безраздѣльно подъ свадебный пиръ. Милая мастерица свадьбы сыпала угощеніями, и настоящій барскій парадный ужинъ насытилъ гостей.

— Хорошо, матушка! *можно чести приписать*, похвалялъ ее, забавляясь, отецъ.

Послѣ ужина молодыхъ отпустили въ городъ на ихъ молодое новоселье, и какъ, по случаю отъѣзда господъ, они не могли явиться завтра съ обычнымъ поклономъ, то съ ними распростились тутъ же, обдарили ихъ щедро завтрашними богатыми дарами, и торжествующая покровительница, приневоленная обычаемъ—не уклониться отъ троекратнаго ей поклоненія въ ноги молодыхъ, сама поступила по обычаю и завершила свое милостивое дѣло вполнѣ, трижды

цѣлуясь на прощаньѣ съ Настенькою и съ самимъ Кирилою Петровымъ.

— Брависсимо! Нашу mignone можно совсѣмъ на *ура* поднять... Вы что говорите, милый?

Но «милый», къ которому относились слова, ничего не говорилъ, а немножко улыбаясь, онъ смотрѣлъ на mignone и медленно наклонялся, поднося къ губамъ ея руку.

А тѣмъ временемъ колокольчики гремѣли и звенѣли; свадебный поѣздъ звонкимъ грохотомъ внесся въ полусонный городокъ; улицы его загули, прохваченныя морозомъ, и кутъ родимаго захолустья Кирилы сверкнулъ разноцвѣтными фонарями у коляски молодыхъ.

— Здравствуйте, молодой хозяинъ и съ хозяюшкою въ вашемъ дому! осадивъ лошадей и снимая свою въ лентахъ шляпу, попривѣтствовалъ кучеръ.

Привѣтствіе его, какъ водится, было тутъ же залито виномъ; поѣзжане съ пѣснями и весельемъ вошли въ домъ молодыхъ, и обновленныя горенки родительскаго жилья Кирилы, какъ улей, зашумѣли прилетнымъ роемъ. За топотомъ плясовыхъ припѣваній не слышно было другаго могучаго топота шестерика барскихъ коней, выбивавшихъ землю подъ собою на площадкѣ мѣщанскаго дворика.

Но

Пора, пора,
Гостямъ со двора!

запѣли веселые гости. Новыя вороты Кирилы широко распахнулись, и слитой говоръ и шумъ, пѣсни и колокольчики, съ присвистомъ и лошадинымъ топотомъ, гулливой волною выплеснулись за тесовыя ворота и разлились по всему захолустью тихаго, сномъ ночи спящаго городка.

Остался Кирила Петровъ одинъ на своемъ подворьѣ. Онъ затворилъ новыя свои тесовыя ворота; тихо брякнула цѣпочка у форточки и тихо взошелъ онъ на свое крылечко съ навѣсомъ и сталъ—сказать бы, какъ свѣтлый мѣсяцъ,

чтобъ показать полуночнымъ звѣздамъ себя... Глядите, сестрицы, и радуйтеся. Какой-то я свѣтлый да радостный!

Кирила медлилъ взяться за желѣзную скобку двери, чтобы дать время тихому порядку водвориться внутри домика и поубрать слѣды пировавшихъ гостей. Гулливые звуки ихъ уже мало что доносились издалека и тишь обступала Кирилу, покрывая ему непокрытую голову самимъ звѣзднымъ небомъ и подступая къ сердцу самимъ счастьемъ человѣка. Студёный морозецъ, напередъ молодой жены, цѣловалъ молодца въ жаркія щеки и, прохвативъ свѣжестью густые таланливые кудри, онъ свѣялъ съ нихъ легкій хмѣль жениха,— и Кирила, трезвъ и бодръ, взялся за дверь и на всю руку вольно и широко растворилъ ее для себя.

Но войдя молодымъ счастливымъ мужемъ, онъ оборотился къ дверямъ домовитымъ хозяиномъ и поискалъ рукою крючокъ, чтобы припереть двери на почь.

— Не запирайте, Кирила Петровичъ. Выгоните вы прежде на улицу меня!

Въ первую минуту даже не дрогнуло сердце счастливаго Кирилы. Войдя въ комнату, гдѣ огни были потушены и только лампадка теплилась передъ божничкою, онъ не увидѣлъ сначала жены; а потомъ увидя ее, не понялъ—слыша ея слова, не вслушался, что ему говорила она.

— Выгоните меня, Кирила Петровичъ, чтобъ сырая земля меня приняла!

Что-то страшно дрогнуло внутри всего Кирилы.

— Что это вы говорите, Настасья Дмитревна... радость моя! пріостановился онъ съ послѣднимъ словомъ и вымолвилъ его съ страшной силою находящаго горя.

— Что я говорю?.. Развѣ я даромъ говорила вамъ, чтобы вы утопили меня — дѣли меня, куда знаете, чтобъ я свѣту Божьяго не видала, страмоты не клала на себя!

— Настасья Дмитревна! у меня свѣтъ заступается.... Побойтесь милосердаго Бога! Чтой-то вы такое взводите на себя?

Въ тиши и въ сумракѣ съ минуту не слышно было отвѣта.

— Взвожу... мнѣ скоро на̀ люди будетъ показаться нельзя.

Есть несчастныя минуты у человѣка такого удара, что онъ вѣритъ и отказывается вѣрить—видитъ своими собственными глазами и ушами слышитъ, и словно не вѣритъ ни ушамъ, ни глазамъ своимъ! проситъ еще другаго увѣренія.

И Кирила просилъ его.

— Перекреститесь, Настасья Дмитревна! послѣ перваго глотка воздуха, которымъ было задохнулся Кирила, крестилъ онъ и себя и ее большимъ крестомъ... Христосъ Богъ съ вами!

Бѣдная потерянная дѣвушка, до сихъ поръ какъ бы застылая въ своемъ открываемомъ позорѣ, тутъ Настенька зарыдала.

— Видитъ Богъ, Кирила Петровичъ!—говорила ему она:—хоть разрѣжьте мнѣ сердце, сами увидите—одно, что я не хотѣла обманывать васъ. Я и сама не знаю, какъ вы засватали меня. Все я хотѣла сказать вамъ, да горькое оно слово, съ языка нейдетъ! На дѣвичникѣ вы сами не дали мнѣ; передъ вѣнцомъ просилась къ вамъ—не пустили меня. Хоть въ этомъ невиноватомъ дѣлѣ простите вы, Кирила Петровичъ! не кладите вины на меня!

Настенька стояла у стѣны, какъ прикованная. Кирила сѣлъ.

— Опричь того, бейте, карайте меня; какъ сами знаете—выгоните нищую меня! Пусть я шатаюсь, гдѣ день, гдѣ ночь, и всѣ люди указываютъ пальцами на меня...

— А самъ я гдѣ дѣнусь? ударилъ Кирила обѣими руками объ столъ, и не то слезами, не то сухо голосомъ зарыдалъ онъ.—Легше вы бы сняли голову съ меня, чѣмъ вамъ говорить такія слова, а мнѣ васъ слушать!

Кирила совсѣмъ наклонился головою къ столу. Сердечная мука донимала его.

— Напоили вы горемъ меня, какъ медомъ, Настасья Дмитревна! Голова пьяна, поднялъ онъ голову, сильно стряхивая тяжелый хмѣль ея съ нависшихъ на лицо кудрей.

.... Барышня моя! подчуйте разомъ до дна. Чтожъ вы это на лизоблюдое лакейство смѣняли съ меня, иль подымать выше?

— Не на лакейство, Кирила Петровичъ... Не пейте вы моего горькаго вина!—покорно отозвалась отъ стѣны Настенька.

— Чтожъ мнѣ дѣлать-то? Наложить руки на себя? И радъ бы я, такъ Богъ не велитъ.

Кирила всталъ; но хмѣлемъ его сильнымъ пошатнуло его, что онъ не устоялъ, опять сѣлъ.

— Вишь оно, разымчивое пиво, съ ногъ сбило, съ усмѣшкою проговорилъ онъ... Э—эхъ, Настасья Дмитревна! что плакать-то? Снявши голову, по волосамъ не тужатъ. Осиротили вы кругомъ меня. Обошелъ васъ лихой человѣкъ; польстились вы, милая барышня, на его слова... И то сказать: какъ вамъ было не польститься? Взросли вы почитай, ласки себѣ не видали. Авдотья Степановна не сродственницею, а сказать бы барынею вамъ была. Всегда вы въ тоскѣ да въ неволѣ, въ одиночествѣ зазнали себя... А меня-то, Настасья Дмитревна, вы и въ счетъ не покладали? спросилъ Кирила, съ горькой силою прерывая себя. —Я вамъ за мѣсто кудлатки, что ли? съ мальства и до нонѣча казалъ себя? А любилъ же я васъ, барышня моя — вотъ какъ: всю свою душу съ отцомъ и съ матерью полагалъ въ васъ.

Кирила всталъ. Любовь великая подняла и поставила его.

— Вишь вы какія маленькія да худенькія, видѣть васъ нечего, показывалъ онъ рукою; — а я, какъ вы есть, цѣлаго міра за васъ, барышня, бы не взялъ! Для кого я чисто соблюдалъ себя, думалъ человѣкомъ стать? Вы-съ мнѣ, какъ свѣчечка восковая у иконы Божьей горѣли. Чтобъ только поглянуть на васъ, я, кажись, у птицы крылья бралъ; я только что Богу не молился на васъ, а за васъ, моя барышня! Погубили вы на вѣки меня!

Кирила сидѣлъ, какъ словно окаменѣлъ онъ.

Полуночные пѣтухи пропѣли. Не нарушаемая ни тяжкими вздохами, ни безпомощными рыданіями, великая тишь, какъ живая гнетущая пособница великой скорби человѣка, пришла, и для сердца въ его сердечной мукѣ долго стояла она.

— Чтожъ мы и всю жизнь такъ-то,—порывомъ поднялся Кирила,—будемъ съ вами молча тяготу нести, вы въ одномъ углѣ, а я въ другомъ? Давайте-же на починъ хоть Богу помолимся вмѣстѣ, авось не столь лукавый будетъ душу мутить.

Кирила сталъ передъ образами и положилъ земной поклонъ. Онъ долго не поднимался отъ полу и наконецъ всталъ. Осѣнилъ себя большимъ, тяжкимъ крестомъ и взвелъ глаза; но устная молитва не начиналась. Мерцающій ликъ Спаса, темный письмомъ и почернѣлый отъ тѣхъ лѣтъ сиротскаго отчужденія Кирилы, когда эта икона одна оставалась памятью былыхъ хозяевъ и сама какъ бы была хозяиномъ между пришлецами наемниками, назирая недремлющими иконописными очами изъ домовой святыни передняго угла... Она и теперь чуть мерцающимъ ликомъ назирала Кирилу... Вперившись въ Спаса Нерукотвореннаго потускнѣлыми отъ муки глазами, Кирила силился что-то издать молвящимъ словомъ...

— Забылъ! сказалъ онъ, оборачиваясь съ ужасомъ... Все забылъ. *Отче нашъ* и *Богородицу* забылъ . Пусть Господь Богъ проститъ! пристигла меня великая бѣда,—какъ-то тяжко развелъ онъ руками и вышелъ изъ дому вонъ.

Тепло нагрѣтыя комнатки остывали, прохваченныя струею вливавшагося въ нихъ надворнаго воздуха изъ непритворенныхъ холодныхъ сѣней. Занималась заря — когда Кирила вошелъ. Голова у него была бѣлымъ-бѣла; но не ранней горькой сѣдиною, а просто морознымъ инеемъ, какъ мхомъ, поросли его осѣкшіеся молодецкіе кудри въ то время, какъ онъ часы простоялъ, опершись руками о заборъ, не чувствуя ни тепла, ни холода и не умѣя сказать себѣ: долго ли, коротко ли стоялъ онъ?

Но темные часы ночи заступала заря.

— Намъ-съ бѣлаго дня нечего ждать и людямъ на смѣхъ и на грѣхъ нечего казать себя. Ѣдемъ-съ, сказалъ Кирила. А куда ѣдемъ? Въ Святыя Горы, въ монастырь, значитъ, ѣдемъ. Хотѣлъ-съ я до прежде того намъ съ вами—съ усиліемъ поднялъ онъ глаза — на Божьемъ мѣстѣ поблагодарить Создателя... и родителей помянуть. Не привелъ Богъ.... Привяжу свое горе къ лошадиному хвосту. Пусть мыкаетъ по полю!

Кирила вышелъ спѣшно готовить лошадь. Зная, что ей остается дѣлать, Настенька собралась въ дорогу. Надѣла темное простое платье, покрыла голову большимъ теплымъ платкомъ и, стоя въ шубѣ, дожидала она, когда ей скажутъ садиться—куда и когда повезутъ ее, хоть за тридевять земель.

Кирила, запрягши лошадь, вошелъ въ свою простую избу черезъ сѣни отъ бѣлыхъ комнатокъ и на силу тамъ добудился нанятую довѣренную кухарку. Этой женщинѣ, еще бредившей со сна и со вчерашняго похмѣлья, онъ объявилъ словомъ хозяина: будутъ гости съ барскаго двора, чтобы всѣхъ принимала и подчивала, а отъ молодыхъ кланялась. Не на худое идутъ,—на доброе ѣдутъ въ Святыя Горы Богу молиться.

И еще не совсѣмъ поняла, въ чемъ дѣло, отуманенная женщина, не совсѣмъ разсвѣла заря; а ворота уже стояли настежъ и, скрыпя и раскачиваясь отъ вѣтра, будто заводили, на новомъ опустѣломъ дворѣ, старую жалобную пѣсню:

Не кручинушка по двору ходитъ,
Не печаль ворота отворяетъ,—

когда именно печаль и кручина пришли и широко растворили къ сердцу скрыпучія ворота.

VI.

Такъ называемыя Святыя Горы—древній мужской монастырь на живописныхъ мѣловыхъ горахъ—отстояли верстъ

на шестьдесятъ отъ городка Кирилы. О, благословенны вы, горы и тихіе долы, гущи и пущи нашихъ лѣсовъ, гдѣ орломъ и горлицею свила себѣ гнѣздо отеческая святыня,—благословенны вы отъ всего горя родной земли! Къ вамъ приливаетъ оно, какъ рѣки къ своему устью, и сухопутный прахъ движущихся волнъ народа—что онъ? какъ не другой ѳиміамъ, шагъ за шагомъ, тысячи верстъ встающій изъ подъ ногъ, которыя несутъ гору Евангельской вѣры и другую нуждъ и скорбей—повергнуть ихъ на святомъ мѣстѣ!

Кирилѣ было не легче, что онъ не несъ, а везъ свое постыдное на добромъ конѣ... О, не вотъ-то радуешь ты насъ, мать наша мачиха, русская природа! Ты заповѣдала намъ: крѣпиться и все находить въ самихъ себѣ, и нечего тебѣ дать намъ ни въ отраду глазамъ, ни въ усладу сердцу, когда наше и твое безвременье столкнутся вмѣстѣ!

Промерзлая дорога, какъ чугунъ, гудѣла подъ повозкою и лошадью; свѣтала блѣдно и сѣро, волнуясь, предразсвѣтная сѣрая мгла: вѣтеръ проносился по ней, вставъ съ полуночи и не стихая къ полудню.

И полдень насталъ такой же сѣрый, не бѣлый, какъ предразсвѣтный туманъ.

—Лошадь покормить надоть-съ,—съ ранняго разсвѣта и до полуденъ, первое слово вымолвилъ Кирила, слезая съ облучка.

Онъ взялъ подъ уздцы лошадь и взвелъ ее на постоялый дворъ.—Распречь, поставить подъ сарай лошадь и задвинуть туда повозку, взять овса, заложить сѣна—Кирила исполнилъ все съ той страшно-рабочею силою русскаго человѣка, которую взять-не беретъ у него никакое горе.

— Вы бы въ горницу пошли-съ, вымолвилъ онъ не глядя, и, какъ снопъ, повалился на землю подъ свою повозку, безъ клочка сѣна въ головахъ,—надвинулъ себѣ на лицо картузъ, какъ словно защищаясь отъ жгучаго солнца.

Безотвѣтно послушная Настенька встала съ повозки и направилась къ горницамъ; но тамъ было шумно. Двое про-

ѣзжихъ господъ, широко разставясь на крыльцѣ, замѣтили Настеньку и съ путешественной любезностію, видимо, не хотѣли дать ей дорогу, оставляя ее пройти близко между нихъ. Бѣдная смущенная женщина воротилась; обошла кругомъ постоялый дворъ и, не зная, куда дѣться ей, опять пристала къ своей повозкѣ. Кирила спалъ-ли—лежалъ на землѣ недвижимо.

Какъ ни тяжко, какъ ни томительно долго идутъ часы безутѣшнаго, палящаго душу стыда и гнетущаго горя—но и они прошли. Совсѣмъ вечерѣло; всѣ, кто стоялъ, давно съѣхали; на опустѣломъ дворѣ одна сидѣла на повозкѣ Настенька, и Кирила спалъ безпробуднымъ, полумертвымъ сномъ подъ повозкою. Смѣть разбудить его, объ этомъ и думать не думала бѣдная молоденькая женщина и молча цѣпенѣла въ своемъ ожиданіи.

Не вдалекѣ къ колодезю подошла набирать воду сухая высокая старуха, въ высокой кичкѣ и въ синемъ сарафанѣ. Лошадь Кирилы, давно хотѣвшая пить, услыша плескъ воды и завидя ведра, заржала и начала грести копытами, порываясь съ повода.

— Гляди-ко, хозяинъ растянулся — спитъ, а лошадь къ водопою рвется! Чтожъ ты это, сударынька— подошла старуха къ повозкѣ — и не разбудишь-то его? Хмѣленъ у тебя онъ, что-ли?

— Не буди его, бабушка. Пусть спитъ, тревожно и тихо проговорила Настенька.

— Да мнѣ будить-то что? Лошадку аль ужъ напоить тебѣ, сударынька? величала этимъ именемъ старуха барской шелковый салопъ Настеньки.

— Коли милость твоя, напой, бабушка — потрудися, отвѣтила та.

Старуха проворно и охотно подставила полныя ведра, фыркавшей отъ удовольствія, лошади, и сама опять подошла къ повозкѣ.

— Ну, онъ-то спитъ —сказываютъ: немочь такъ-то пере-

ходитъ сномъ — качала головою старуха. А ты, моя сударынька, чего тебѣ день до вечера на сидалѣ сидѣть? Вставай, къ добрымъ людямъ въ избу войдешь, слово перемолвишь... Вишь уста у тебя словно кровью запеклись, почернѣли...

Старуха взяла къ себѣ въ горницу Настеньку (она оказалась матерью жены дворника). Напоила бѣдняжку чаемъ; поставила ей утренніе оставшіеся блины, такъ какъ это была кормная поминальная суббота. Но ѣла и пила Настенька, а смущенный взглядъ ея все обращался къ окошку, изъ котораго видно было, какъ вдали подъ сараемъ лежалъ человѣкъ недвижимый...

Ужасъ началъ обступать бѣдную женщину и пронимать ее. Не умеръ ли онъ, вмѣсто сна? Но внезапный испугъ ея былъ еще сильнѣе медленнаго ужаса, когда она вдругъ увидѣла, что недвижимый зашевелился, всталъ порывомъ и зашатался на ногахъ.

— Бабушка родная! пустите меня, задыхаясь, проговорила Настенька.

— Да нечто я держу тебя? Христосъ съ тобою, всполохнулась какъ! — вышла старуха на крыльцо, провожая свою зазванную гостью... — Не пой, не пой! громко заговорила она Кирилѣ, который брался поить лошадь.—Были тѣ, что безъ тебя напоили.... Коли ѣхать, такъ ѣзжай! запрягай скорѣе.—показала она на солнце, которое, совсѣмъ садясь, выяснѣло на морозъ и глянуло свѣтомъ и блескомъ по расходящимся тучамъ.

Кирила запрягъ лошадь; не заставляя себя ждать, Настенька еще прежде взмостилась на повозку.

— Гдѣ хозяинъ? — спросилъ онъ старуху.

— А на что тебѣ хозяинъ? отвѣчала та. Коли давать разсчетъ — давай. Я и безъ хозяина возьму. На то я матка, чтобъ собила дѣткамъ.

Кирила подалъ деньги. Старуха взяла за сѣно и овесъ, и, не поминая про чай и блины, воротила остальное Кирилѣ.

— Плохо ты, матка, собишь дѣтямъ,—взглянулъ Кирила на сдачу. А за простой чего-жъ ты не берешь? Бери, бабка, за простой!—сказалъ онъ съ ѣдкой горечью, показывая на мѣсто, гдѣ онъ лежалъ подъ повозкою —Вишь я логовище какое вылежалъ вамъ! На немъ, бабка, три года травѣ не рости.

— Не печалуй больно! Есть у насъ Тотъ Печальникъ, что и тебя взростилъ, гляди, какого! и что годъ, то траву роститъ — спишь-ли, лежишь-ли — тебя не спрашивая. Садись-ка да поѣзжай съ Богомъ, сказала старуха.

Кирила сѣлъ и съѣхалъ со двора. Старуха вышла за ворота, провожая ихъ, и перекрестила имъ въ слѣдъ.

— Христосъ Богъ съ ними! Чуденъ малый, качала она головою. — Коли-бъ ему не *лихая немочь* наслана; а она, моя голубушка, что къ смерти присуженая. Живаго лица на ней нѣтъ, — оглядываясь назадъ, шла къ себѣ и бормотала старая старуха.

Кирила погналъ съ мѣста лошадь, какъ бы желая наверстать утерянное время; но мало по малу натянутыя возжи опустились и лошадь пошла шагомъ, или рысцою, какъ сама хотѣла. Настенька безцѣльно, тѣми блуждающими глазами, что глядятъ и не видятъ, все будто смотрѣла по сторонамъ; а и было тамъ что видѣть! Сдавшія весь свой хлѣбъ до послѣдняго оброненнаго колоса, что подобрали слетѣвшія на пищу птицы, поля, въ вечерѣющей мглѣ, сами тою же широкою мглою, какъ пеленою, стлались вокругъ и отдавали запахомъ спаленнаго жнивья. Горькій дымокъ чувствовался горько плакавшимъ глазамъ, и по временамъ закрывая и отирая ихъ, Настенька забылась тѣмъ нечувствительнымъ полусномъ, что будто смежаетъ глаза и оставляетъ сердце въ его томительномъ полубдѣньѣ.

Когда она очнулась, что-то страшное и великое гуло и стонало: то говорилъ смолистый, иглистый боръ, въ колыхающихся вершинахъ захвативъ всѣ ночные голоса и перебои осенняго вѣтра.

— Кирила Петровичъ!.. Казалось Настенькѣ, что она вскрикнула въ неодолимомъ ужасѣ; но—или суровые голоса суровой природы задушили вопль слабаго женскаго сердца, или онъ самъ по себѣ сказался однимъ тихимъ отчаяннымъ шепотомъ — только отвѣта не было. Ужасъ лѣса, ночи и молчанія до того пересилилъ чувства у несчастной женщины, что она, не смѣвшая поднять глазъ на Кирилу, протянула руки, чтобы поискать и коснуться его своими руками. Но и трепетное прикосновеніе, какъ потерявшійся крикъ души, не дало ей отвѣта. Кирила сидѣлъ тутъ на краю (она нашла его ощупью); но онъ словно въ-живѣ не живой былъ. Пріуставшая лошадь шла грузко и тяжело по сыпучему песку; останавливалась сама, отдыхала и опять трогала съ мѣста— ни звукомъ, ни понуканьемъ не отзывался къ ней безмолвный хозяинъ. Наконецъ лошадь совершенно стала. Зацѣпясь заднимъ колесомъ за дерево, умное животное потянуло было и стало, какъ вкопанное. Освѣжаясь и порская горячимъ дыханьемъ, лошадь заржала, и таковы были раскаты по лѣсу этого ржанья — по глухой поздней ночи — что уши Кирилы очнулись и послышали звуки. Пробудясь не отъ сна, а отъ цѣпенѣлой тоски, и чувствуя, что онъ стоитъ— не ѣдетъ, Кирила заговорилъ на лошадь, и добрый хозяйской конь, обрадовавшись долго не слышанному голосу, рванулся и съ трескомъ двинулъ повозку. Что-то поломалось. Видѣть изъяну было нельзя; но привычная расторопная рука нашла его и ощупала въ темнотѣ.

— Знать святой монастырь не принимаетъ насъ, — проговорилъ Кирила... Барышня моя! намъ съ вами гдѣ ни ночевать, все одно: на душѣ-то у насъ темнѣе, чѣмъ въ дикомъ лѣсу. Ложитеся, барышня, спать, вамъ некого ждать.

Кирила выпрягъ лошадь и привязалъ ее съ боку повозки. Подъ полстью нашлась привычная постилка сѣна и въ передкѣ запасная торба овса — ѣшь, конь, наѣдайся, силой набирайся! А хозяинъ добылъ себѣ силы, что она ему не

въ сносъ была, горою на плечахъ легла. Кирила присѣлъ на переднемъ колесѣ... Онъ же кого ждалъ, или чего выжидалъ изъ темноты темнаго бора, опершись обѣими руками въ колѣни и понуря голову?

Хотя бы исходъ былъ какой этой гнетущей тоскѣ и безъизцѣльному всесразившему горю? Никакого исхода. Кирила сидѣлъ и молчалъ. Наступали другія сутки; шла долгая, осенняя, безпріютная ночь; сырой боръ колыхался и стоналъ своимъ стономъ; а человѣкъ силы, умѣющій терпѣть свою болѣзнь — молчалъ Кирила.

Около полуночи, или и ближе къ свѣту, лошадь у повозки дрогнула и заходила ногами на мѣстѣ. Она видимо почуяла звѣря. Будь свѣтлѣе отъ мѣсяца и не закрывай его вѣтви, можно бы было увидѣть на морозѣ, какъ горячій паръ повалилъ изъ широко-раскрывшихся ноздрей и лошадь храпѣла и нюхала вѣтеръ. Кирила взялъ въ руку поводъ. Чуткій и безпокойный конь, торопясь и озираясь, готовъ былъ лягнуть въ темноту и заржалъ прерывистымъ ржаньемъ. Кирила сидѣлъ на колесѣ недвижимо. «Не займай!» проговорилъ онъ, кажется, тихо; но въ этомъ словѣ была такая страшно-спокойная и властвующая сила, что, казалось, боръ, содрогнувшись эхомъ, притихъ передъ нею и отшатнулись дикіе звѣри!

Разсвѣло, разсвѣло опять все тѣмъ же туманно-сѣрымъ разсвѣтомъ; даже вѣчно-зеленый боръ не зеленѣлъ, а сѣро глядѣлъ въ туманныхъ зеленыхъ вершинахъ. Кирила исправилъ небольшое поврежденіе повозки. Сломана была чека и нѣсколько наколона задняя ось. Двинулись путники опять по сыпучему песку; только Кирила не садился. Шагъ за шагомъ, у своей лошади шелъ онъ, оставляя позади себя, безобразно засыпающіяся, ямы своего тяжелаго слѣда. Наконецъ къ полднямъ святой монастырь засіялъ имъ на бѣлыхъ горахъ, въ зеленыхъ соснахъ — засіялъ высоко вознесенными крестами. Подъ самымъ монастыремъ надобно было переѣхать рѣку по большому мосту, и прямо съ моста въѣздъ

былъ въ монастырскую браму. Преподобные Отцы Антоній и Ѳеодосій Печерскіе встрѣчали путниковъ благословеніемъ, стоя во весь ростъ ихъ иконописнымъ подобіемъ по сторонамъ монастырскихъ воротъ; а сверху самъ Христосъ простиралъ Свое Божественно-человѣческое объятье и говорилъ написаннымъ словомъ: *пріидите ко мнѣ вси труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы.* Церковное богослуженіе того дня было уже все окончено; братія трапезовала, колокола молчали; но монастырь былъ шуменъ и полонъ, какъ улей. Назавтра было первое Октября — праздникъ Покрова Божіей Матери. Ближнихъ пришлыхъ людей и дальнихъ странствующихъ богомольцевъ собралось не мало, отъ низшихъ и до высшихъ. Народъ еще прибывалъ... Молодой суетящійся служка, помощникъ гостинника, сунулъ Настенькѣ въ руки единственный замочекъ отъ цѣлаго ряда каморокъ, которыя отпиралъ онъ.

— *Господи Іисусе Христе...* проговорилъ онъ скороговоркою.—Въ какую изволите. О Господѣ равны.

— Батюшка! сказала бѣдная молодая женщина, обезсиленная всѣмъ тѣмъ, что отнимаетъ силы у природы человѣка.—Дайте мнѣ кусокъ хлѣба. Я совсѣмъ отощала, что на ногахъ не стою.

Молодой служка зорко поглянулъ.

— Не сумнѣвайтесь о Господѣ, торопливо произнесъ онъ.—Я сей часъ трапезу представлю.

И точно, онъ скоро явился съ ловко принаровленными тремя мисочками, одна на одной, сверхъ которыхъ лежалъ ломоть толсто отрѣзаннаго хлѣба; а въ другой рукѣ была кружка кваса, которымъ, какъ извѣстно, славятся всѣ наши братскіе монастыри.

— Спаси, Господи, и помилуй! сказалъ онъ, ставя на столъ.

— О, благодарствуйте, батюшка! съ меня довольно и куска хлѣба, заговорила Настенька;—но ради Христа Бога — просила она:—батюшка! потрудитесь, снесите этотъ обѣдъ вонъ тому человѣку, что сѣлъ одинъ—сидитъ подъ повозкою.

Служка поспѣшно взглянулъ и хотѣлъ отказаться недосугомъ.

— Ради завтрашняго праздника! упрашивала бѣдная женщина.—Снесите, батюшка. Онъ другія сутки не знаетъ, что такое хлѣбъ. У него росинки воды во рту не было.

— Да что жъ онъ, спаси Господи и помилуй, кто онъ вамъ такой? — спросилъ любопытно служка.

Отвѣтъ на малую малость замедлился.

— Мужъ мой, сказала Настенька.

— Такъ вы бы сами своему сожителю снесли; иль онъ сюда придетъ, а мнѣ некогда, матушка.

Служка поворотился идти.

— Потрудитесь *вы*, честной отецъ, настойчиво просила Настенька.—Онъ не придетъ сюда и такъ не возьметъ; а, можетъ. отъ васъ онъ за благословеніе приметъ.

— Вѣдь это, прости, Господи, искушеніе съ вами! сказалъ молодой служка и немножко съ сердцемъ взялъ свои мисочки и понесъ къ Кирилѣ.

Подходя къ нему и видя, что тотъ не глядитъ и не видитъ — «здравствуйте!» сказалъ довольно отрывисто служка.

— Спаси, Господи, и помилуй! обычно произнесъ онъ. Братія уже оттрапезовала, а вы не поспѣли на общую трапезу. Такъ вотъ вамъ о Господѣ, потрапезуйте сами.

Кирила всталъ и, снимая картузъ, низкимъ поклономъ поклонился служкѣ.

— Не стою вашихъ трудовъ, грѣшный. Напрасно изволили обезпокоиться, честной отецъ. Много благодарствую.

— Да что жъ вы? смягченно спросилъ и смотрѣлъ на него служка.

— Благодарствую любви вашей Христовой, — еще разъ поклонился Кирила.

До конца примиренный его смиреніемъ, служка усердно предложилъ трапезу.

— Не силуйте, батюшка! сказалъ Кирила.—Я не трапезовать пріѣхалъ сюда.

— Не взялъ! входя къ Настенькѣ и ставя ей на столъ мисочки, поспѣшно объявилъ служка и вышелъ, видимо торопясь, чтобы его еще не задержали какими проситель-ными требованіями.

Не взялъ! Этого-то съ стѣсненнымъ сердцемъ боялась услышать бѣдная молоденькая женщина и, прильнувъ тре-вожнымъ истомленнымъ лицомъ къ окошечку въ дверяхъ каморки, она сама видѣла, какъ онъ не взялъ.

Что ей было дѣлать? Столько выплакавши слезъ, Настенька уже сидѣла не плача передъ отверженнымъ одинокимъ обѣ-домъ. Разбитая непривычною тряскою дорогою, измученная всѣми муками женскаго стыда и этими ужасами безпріют-ной ночи въ лѣсу, которую она провела, укутавшись съ головою въ шубу, и едва ли заснувъ на волосъ,—Настенька рада была голой скамьѣ прилечь на ней и защеннулась изнутри въ своей каморкѣ. Она такъ крѣпко заснула, что не слыхала сборнаго колокола на малое повечеріе и потомъ на монашеское правило, и только торжественный загудѣвшій трезвонъ во всѣ колокола на всенощное бдѣніе подъ празд-никъ испугомъ пробудилъ истомленную. Едва вѣря себѣ, что уже ночь, совсѣмъ темно, Настенька боязливо вмѣша-лась въ толпу народа, приливавшаго къ церкви и, почти неожиданно для нея самой, очутилась въ невиданномъ тор-жественно освѣщенномъ храмѣ, полномъ согласныхъ хоровъ, блеска, разливающагося ѳиміама и молитвы къ Богу столь-кихъ, какъ бы въ одну душу ставшихъ, людей.

За всѣми и Настенька думала молиться. *Господи помилуй!* почти воплемъ готово было вырваться изъ несчастной опо-зоренной груди, вторя и приливая къ хору торжественныхъ пѣній. Но когда замолкали они,—вся душа нѣмѣла и одной живою болью болѣла... Настенька оглядывалась и искала глазами: гдѣ же онъ? Кирилу не видать было межъ народа. Поталкиваемая напоромъ толпы сзади и спереди, бѣдная женщина сама искала отдаться этому безпокойному пере-движенью и незамѣтно, въ долгое время всенощной, она

побывала на всѣхъ концахъ волной волнующагося народомъ храма, и всюду ея томительно-зоркіе глаза искали и не видали Кирилу. Наконецъ, когда народъ, тѣснясь, двинулся къ мурованью на средину церкви, опростались немного далекіе углы и пооткрылись затаенныя мѣстечки между колоннами. Прежде, чѣмъ узнать глазами, Настенька распознала болѣзненно-защемившимъ сердцемъ: кто этотъ, какъ отверженный, на колѣна упавшій въ самомъ углу, стоитъ онъ—каплютъ у него слезы, какъ градъ, и хоть бы на крестъ Христовъ у него поднялась рука — стоитъ недвижимъ, наклонился головою и одно, что онъ плачетъ—льется слезами предъ Богомъ... «Молись! молись!» сказалъ сурово проходящій монахъ несчастной остолбенѣлой женщинѣ... Подъ своимъ чернымъ клобукомъ и нависшими посѣдѣлыми бровями, онъ—живой мертвецъ—забылъ или и не зналъ вовсе, что, безъ креста и шепота молитвы, есть вопль души, который громче вопіявшей крови брата Авеля идетъ отъ земли къ Богу!

Разтерзанная сердцемъ женщина ждала, и сама не знала, какой она отрады ждала въ томъ, что вотъ Кирила поднимется и подойдетъ къ мурованью. Но онъ не подошелъ. Съ своимъ высшимъ помазаніемъ человѣческой скорби, продолжалъ онъ стоять на колѣнахъ въ углу и, какъ сѣвъ, сѣять крупными, какъ зёрна, слезами. Уже и всенощная окончилась: сказанъ былъ *отпустъ* и дано послѣднее благословеніе. Народъ повалилъ; а Настенька все ждала и смотрѣла, пока наконецъ ни ждать, ни стоять болѣе было нельзя. Людей почти никого не оставалось въ церкви; храмъ весь померкъ и чуть брежжился неугасимыми лампадами; монахи, какъ черныя суетливыя тѣни, заходили повсюду—и ушла бѣдная молоденькая женщина.

Запершись въ своей каморкѣ изнутри, сидѣла Настенька, и этотъ плачущій образъ неотступно стоялъ передъ нею. Жгучій, онъ ей видимо видѣлся при тускломъ огаркѣ. Унылая келейница до того заглядѣлась, себя не помня, на этотъ

образъ, что ей почудилось, будто онъ сказалъ своимъ голосомъ: «Пустите-съ!»

Вздрогнувъ и трепетно перекрестившись, Настенька вскочила со скамьи.

— Пустите-съ! сказалъ Кирила, ударяя въ дверь.

Что-то страшное, какъ смерть, стало въ глазахъ несчастной женщины, но она отворила.

Кирила вошелъ. На немъ лица не было — не было того каменнаго, оцѣпенѣлаго лица; но если, какъ говорятъ, лицо есть зеркало души — то это свѣтлое зеркало Кирилы было разбито въ дребезги и смотрѣло, какъ ножъ, острыми осколками.

— Ѣдемъ-съ, барышня! сказалъ онъ съ какимъ-то тяжкимъ придыханьемъ... Никакъ я это въ третьи двери стучусь къ вамъ... Ѣдемъ. Я уже лошадь запрегъ.

— Господь Богъ съ вами, Кирила Петровичъ! — въ изумленіи подняла руки Настенька.—Куда-жъ мы съ вами поѣдемъ?

— Лошадь запрегъ, барышня! Ѣдемъ, — какъ-то тупо, съ задышкою проговорилъ онъ.

— Изъ святаго монастыря, отъ праздника, отъ храма Божія—Кирила Петровичъ! въ глухую ночь, куда намъ ѣхать?

— Ѣдемъ, барышня!... Не держи, Христа ради!... страшно вымолвилъ Кирила.... Рѣка тутъ близко. Боюсь, утоплюсь ночью....

Съ грохотомъ, далеко раздавшимся въ ночи по горамъ и лѣсу, повозка спустилась съ крутаго спуска на мостъ, и рѣка, страшно сизая, показывалась всплесками и глухимъ грознымъ приливомъ, какъ словно она захватывала колеса повозки. Кирила стегнулъ изо всей руки лошадь. Горячій, не привычный конь даже взвился на дыбы въ оглобляхъ и грудью вынесъ на противоположный берегъ. Оторопѣлый и не сдерживаемый, храпя и сторонясь отъ пней и наваленныхъ колодъ, взлелѣянный конь Кирилы чутьемъ почуялъ подъ собою дорогу и ринулся берегомъ рѣки.

Крутой, подмываемый берегъ, съ нависшими обрывами надъ глухо шумящей и близко ощутимой рѣкою, былъ плохой, ненадежный путь для человѣка, который бѣжалъ отъ страшнаго соблазна,—гдѣ дѣть да дѣть свое горе, хоть утопить съ нимъ душу на днѣ рѣки. Кирила это чувствовалъ и хлесталъ лошадь. Безъ утеку текущая, рѣка долго еще своимъ шумомъ преслѣдовала и какъ бы грозила спасшимся бѣглецамъ, когда они уже были далеко отъ нея,—и обступала ихъ, изъ края въ край, сномъ ночи, заснувшая на поляхъ тишина.

Горестно-глубокое это совершилось въ душѣ Кирилы. Какъ камень на днѣ души, онъ везъ и привезъ свое горе въ Святыя Горы. Но слезы въ церкви подмыли его. Не одну тяготу его несносимаго бремени, но и всю острую, жгучую боль, затрепетавъ, приняло сердце—и рѣка всплеснулась Кирилѣ страшнымъ и желаннымъ призывомъ.

Душа перемогла его; добрый конь Кирилы сослужилъ ему вѣрную службу и, весь въ поту и въ мылѣ, шелъ теперь тихою ступою и вдыхалъ, свѣжѣющій передразсвѣтнымъ вѣтеркомъ, какъ бы просыпающійся воздухъ.

А Кирила задремалъ сидя; боясь пошевелиться, Настенька душою берегла этотъ краткій истомленный сонъ. Близилось къ утру; уже стая грачей и галокъ тучею снялась съ окружныхъ лѣсовъ и полетѣла къ селеніямъ, падая и садясь на дорогу отсталыми, какъ бы еще вялыми, не проснувшимися птицами. Ихъ каркающій крикъ и взмахи шумящіе крыльевъ томили безпокойствомъ Настеньку: что вотъ они разбудятъ пріуснувшаго! Но не разбудили птицы. Показалось большое селеніе съ столбами восходящаго дыма и минули его; забѣлѣлась вдали какъ бы высокая мѣловая гора, и что-то, словно стала загораться она—показалось солнце.

Инстинктъ ли это привычки, ставшій другою природой, но русской человѣкъ, никогда не просыпающій восходящаго солнца, проснулся и здѣсь въ Кирилѣ.

Очнувшись словно по чьему мановенію, Кирила быстро

отряхнулъ свои кудри, какъ бы свѣвающійся сонъ, и проговорилъ медленно:—Душа выгорѣла. Испить проспть.

Онъ взглянулъ, осматриваясь по сторонамъ.

— Никакъ это Красная гора, — увидѣлъ онъ впередъ. — Она и есть. Богъ душу прохладить шлетъ. Подъ горою, значитъ, Царскіе Ключи.

Голосъ у Кирилы какъ-то слабо, почти дѣтски звенѣлъ и перерывался, а между тѣмъ онъ, видимо, говорилъ охотно.

— Трогай! сказалъ онъ на лошадь.—Вишь мы съ тобой верстъ сорокъ и поболѣ уѣхали.

Лошадь подъ гору тронула сильною рысью и скоро на размытомъ и заваленномъ каменьями лугу, у подошвы горы, задымились паромъ Царскіе бьющіе Ключи.

— Стой, дескать! Дай воды напиться, — пріостановилъ Кирила своего разбѣжавшагося коня.—А вамъ-съ будетъ не хотится? оборотился онъ и хотѣлъ взглянуть—невзглянуть не могъ.

— Кушайте сами, Кирила Петровичъ. Я пила и ѣла, отвѣтила Настенька.

Кирила всталъ и вынулъ изъ повозки то неразлучное желѣзное ведерцо, изъ котораго обыкновенно въ дорогѣ купцы поятъ своихъ лошадей.

Царскіе Ключи, вѣроятно такъ названные по богатству и силѣ ихъ гремучихъ водъ, по крайней мѣрѣ пятнадцатью, если не всѣми двадцатью, большими и малыми жерлами кипѣли и били изъ-подъ горы. Кирила сбросилъ на землю картузъ, перекрестился и зачерпнулъ ключевой воды. Онъ пилъ не отрываясь—долго пилъ; выплеснулъ остатокъ воды, опять зачерпнулъ изъ самой глуби большаго жерла и еще пилъ. Лошадь въ припускъ пила за хозяиномъ и, балуясь, фыркала на звонкую струю.

Но напившись такъ много, Кирила, вмѣсто бодрости, ослабѣлъ на ногахъ. Потъ у него выступилъ по лбу и по всему лицу. Онъ сѣлъ на камень и поставилъ свое ведерцо съ водою у ногъ.

— Вотъ это, Господи, утомился какъ! проговорилъ онъ, низко склоняясь лицомъ.—Сказать бы, я эти камни съ утра до ночи ворочалъ.

Настенька сидѣла на повозкѣ и смотрѣла на него.

— Кирила Петровичъ! сказала она. Камни не камни, а послушайте вы, горькую, меня, что я думала эту ночь. Коли меня Господь не приметъ въ моемъ грѣшномъ часѣ, я въ монастырь пойду, — чтобъ я вамъ душу и руки развязала.

— Не развяжете-съ! медленно махнулъ рукою Кирила, и долго сидѣлъ онъ на камнѣ, а кругомъ журчала ключевая вода.

VII.

Дней десять спустя, на своемъ тихомъ, какъ бы вымершемъ дворѣ, съ затворенными воротами, Кирила ладилъ повозку, видимо собираясь въ большой далекій путь. Онъ поставилъ рогожную кибитку, изнутри выстлалъ ее полстью, спустилъ спереди бѣлую полсть, какъ это водится, чтобы въ дорогѣ отъ дождя защититься ею. И все, какъ слѣдъ дѣлу, снаровилъ и сладилъ Кирила, только сѣсть съ Богомъ да и ѣхать. Вздохнулъ онъ на конецъ дѣла, — и съ тѣмъ вмѣстѣ ударили къ вечернѣ. Снявши шапку и перекрестясь благословнымъ крестомъ, Кирила стряхнулъ съ полукафтанья мелкія стружки, и, проведя рукою по волосамъ, оправился, чтобы идти на люди, въ церковь Божію, и пошелъ къ воротамъ.

Медленно отворяя свою новую, изукрашенную нарѣзками и высѣчками форточку, Кирила ступилъ шагъ на улицу и увидѣлъ картинку, не экипажецъ, въ одну лошадь, и молодаго барина, хоть тоже самого въ картину, который самъ сидѣлъ и самъ правилъ.

— Вы хозяинъ этого дома? спросилъ баринъ, — не по-русски, чужимъ словомъ останавливая у воротъ лошадь.

Барина-то не зналъ и не видалъ Кирила, да лошадь эта по знакомству пришлась глазамъ, и онъ зналъ и видалъ то стойло въ барской конюшнѣ, въ которомъ она стояла и холилась.

Поднимая руку, чтобы снять шапку и отвѣчать, Кирила какъ-то странно принялъ взглядъ молодаго барина, и они оба встрѣтились глазами... Что-то, какъ мгла и молнія, прошло между ними...

— Мы-съ хозяева, сказалъ Кирила, опуская руку, и, не снявши шапки, онъ сталъ, какъ вкопанный, на растворѣ своей калитки.

— Я уже въ другой разъ это заѣзжаю къ вамъ. Васъ не было дома, проговорилъ баринъ.

— Много больно изволили трудиться, ваша милость. По какой-съ такой надобности?

Барину было не совсѣмъ ловко отвѣчать на вопросъ купчины, который стоялъ прямо его и не ломалъ своей шапки. Но онъ началъ отвѣтъ, протягивая со сверткомъ руку.

— Сестра вотъ прислала работу и просила сказать: не возьметъ ли Настенька...

— Настасья-съ Дмитревна, ваша милость!.. сказалъ Кирила.

— ... Не возьметъ ли Настасья Дмитревна (невольно поправился молодой баринъ) вотъ эту работу на срокъ? Мы за цѣною не стоимъ.

— Знаемъ-съ.

Кирила не трогался принять свертокъ.

— Не возьмутъ-съ Настасья Дмитревна. Они-съ теперича эвтимъ не занимаются. Проспмъ прощенія.

Барину ничего болѣе не оставалось, какъ поворотить оглобли—и онъ поворотилъ ихъ.

— Эхма! смотрѣлъ ему вслѣдъ Кирила. Совѣсть-то у тебя, большой баринъ, гдѣ была?..

И онъ долго постоялъ на мѣстѣ... потомъ снялъ шапку, перекрестился на церковный крестъ и пошелъ своимъ путемъ къ вечернѣ.

А на завтра путь ему лежалъ долгій да широкій: везихорони, молодъ-молодецъ, гдѣ знаешь, свою горькую долю, несчастливую женитьбу! И на перекресткѣ дорогъ нечего тебѣ думу думать. Ступай не крайнею и ни тою, другою, а этой прямою, что нѣтъ ей ни конца, ни краю! Запала она за горы крутыя, за лѣса густые — притомилась, легла чистымъ полемъ, постлалася степью; въ головахъ у ней море шумитъ и тихій Донъ свою давнюю Русскую быль говоритъ.

И поѣхалъ Кирила, повезъ свою барышню...

— Да куда жъ ты малый? Куда тебя Богъ несетъ? спрашивалъ крупчатникъ.

— Дѣлъ-съ такихъ обстоятельство выходитъ... Не поминайте лихомъ-съ! просилъ, чуть слезы сдержалъ, прощаясь, Кирила.

И опять запустѣлъ, засиротѣлъ обновленный домикъ! Хозяинъ замкнулъ его на замокъ и будто ключъ думалъ опустить въ карманъ; а онъ пошелъ ко дну тутъ же въ глубокій колодезь. Кажись бы, поднялась и не дрогнула рука: взять огня и со всѣхъ четырехъ угловъ посвѣтить себѣ полымемъ-пожаромъ! Пепелище легче бы было покидать за собою, чѣмъ свить гнѣздо и не обсидѣть въ парѣ его,—пусть вьютъ, плетутъ въ немъ пауки паутину и хозяйка-мышь входитъ даровымъ жильцомъ въ него!

Поѣхалъ Кирила. Ѣхалъ онъ день, ѣхалъ онъ два, ѣхалъ недѣлю, и другую ѣхалъ; не томился, везъ Краснокутка. Когда-то на радостяхъ, гдѣ-то въ Красномъ Кутѣ, купилъ своего добраго коня Кирила и сталъ звать его Краснокуткою. Гнѣдой, съ отмѣтиною на широкомъ лбѣ, мясистый битюгъ, съ чернымъ ремнемъ по спинѣ, грива по колѣна; — когда онъ ржалъ, чутьемъ проникая въ пустынную тишину далекаго корма, или ночлега, ржанье Краснокутки звучало какъ голосистая призывная труба,—и самъ ободренный имъ, конь шелъ могучимъ выступомъ, чуть не по колѣна увязая въ грязи. Кирила изрѣдка взглядывалъ и чуть шевелилъ его возжей.

— Ты ли вывезешь, я ли вынесу,—спаровалъ насъ Богъ: тебя въ слугу, меня въ хозяина, чтобъ не въ обиду было обоимъ трудъ нести! — казалось, думалъ Кирила, сидя на облучкѣ и принимая открытымъ неуклоннымъ лицомъ всю осеннюю непогоду, которая разгулялась въ своей порѣ: била ему въ лицо то прямымъ, то косымъ дождемъ, и на перемежку сыпала снѣгомъ.

— Вы бы, Кирила Петровичъ, хотя бы лицомъ на другую сторону пересѣли, — вымолвила Настенька, боля бѣднымъ сердцемъ и не смѣя предложить ему, чтобы онъ сѣлъ къ ней подъ защиту кибитки.

— Не пряникъ-съ — не раскисну, отвѣчалъ Кирила.

И Боже мой! что̀ тоски, какъ этой осенней вечерѣющей мглы набиралось подъ бѣлую, спущенную спереди, полсть кибитки! Закрытая ею, Настенька и въ дождь и въ метелицу оставляла просвѣтъ себѣ, и приникая изнуреннымъ лицомъ къ отвернутому краю полсти, все смотрѣла на скорбное безмолвное лицо передъ ея глазами, и что-то великое, какъ сама эта скорбь, всемощно подымалось въ душѣ... Что оно такое?—еще не распознавала бѣдная, ранымъ-рано загубленная женщина; но оно словно всею этой окружной широтою, безъ конца и краю, нарождалось въ душѣ и сповивалось съ печалью и съ горемъ, какъ осенніе непроглядные туманы, что стлались имъ путемъ-дорогою, гдѣ-то сповивались съ свѣтлою далью.

Наконецъ три недѣли минуло, и на самыхъ Козьма и Деміана прибыли они въ богатую станицу на Дону. Широко разлелѣялся Донъ, и станица, какъ городъ, была: съ пристанью, три церкви съ соборомъ Михаила Архангела; пришлый народъ, какъ основу, снуетъ; купеческія лавки каменныя; по утрамъ торги, съ вечера подторжья — любо и весело живетъ народъ.

Остановился Кирила на заѣзжемъ дворѣ и остановился такъ, какъ бы ему не ѣхать далѣе. Напились чаю; спросилъ онъ

красной рыбки пообѣдать, и едва помолясь Богу, живо взялся за шапку.

— Надобно-съ пойтить, сказалъ онъ: — попріискать квартирку. Коли бъ тутъ у знакомаго человѣчка безъ постою была... Мнѣ-съ эти мѣста свѣдомыя. Я тутъ подолгу отъ хозяина живалъ-съ

Кирила вышелъ, и только совсѣмъ къ вечеру воротился онъ.

— Нашелъ-съ, сказалъ Кирила: — и кухарку, значитъ, работницу въ добрый часъ нашелъ-съ. Пусть прибирается на квартирѣ. Завтра съ обѣда, значитъ, и переѣзжать можно.

Но еще съ утра Кирилы не было дома на заѣзжемъ дворѣ. Торгъ торговалъ у самаго окна, подъ которымъ сидѣла Настенька. *Вольная* козачка (какъ сами онѣ себя называютъ) вольной, смѣлой рукою постучалась въ окно и вошла въ комнату къ Настенькѣ. Безъ околичностей, съ доброхотной ласкою осыпая вопросами: кто она и что она, изъ какихъ мѣстъ она?—красивая матерая козачка только подъ конецъ вспомнила назваться своимъ товаромъ и тутъ же сама добавила: «да про тебя, кажись, и товару у меня гожаго нѣтъ.»

Но товаръ гожій нашелся: радужный красивый колпачекъ съ хорошенькой кистью, что вообще носятъ замужнія Донскія козачки.

— Ужъ какъ ты хочешь, молодка, а нашъ бабій нарядецъ купи! говорила козацкая мужняя жена. — Коли ты къ вольнымъ Донскимъ козачкамъ заѣхала, такъ нашей бабьей честью не брезгай, а на честной головушкѣ здорово носи.

Настенька купила колпачекъ и менѣе отвѣчая, нежели выслушивая звучнаго веселаго говора, она попросила сказать: не бываетъ ли ежедневной службы въ соборѣ?

— А какъ же? У Михаила Архангела, въ придѣлѣ Всѣхъ Скорбящихъ, каждодневно обѣдня идетъ... Ты вотъ, молодка — здорова будь, не полѣнись поди! говорила козачка. Увидишь Радость-то нашу Скорбящую всю въ жемчугахъ и въ самоцвѣтахъ — полно, гляди, что и не видала такой!

Настенька, съ самой той монастырской всенощной, мѣ-

сяцъ цѣлый не была въ церкви и, проводя козачку, она понесла всю свою тяготу скорби въ придѣлъ Всѣхъ Скорбящихъ.

Горько ей было въ ея горькомъ сиротливомъ горѣ, и съ тѣмъ вмѣстѣ какая-то услада горькая была въ томъ Настенькѣ: войдти ей въ Божій велелѣпный храмъ, стать недостойной у порога, смущенно, полными слезъ глазами посмотрѣть вокругъ и, словно въ лѣсу какомъ, одною да покинутой сиротою увидѣть себя! Входитъ и выходитъ народъ; безъ перерыву, какъ вода, течетъ, и нѣтъ ни души, чтобы знала ее, горькую! и чтобы она сама знала кого! Все оно чужое да незнакомое... Горько и скорбно молилась и плакала Настенька. Осмѣленная въ своей робости приступающимъ безъ числа народомъ, который торопливо входилъ, становился передъ иконою Радости Всѣхъ Скорбящихъ, поклонялся земнымъ поклономъ, теплилъ свѣчу, и облобызавъ простертыя руки Божіей Матери ко всѣмъ больнымъ, нагимъ и безпомощнымъ, народъ поклонялся еще на всѣ стороны людямъ и выходилъ изъ придѣла Скорбящихъ на народную площадь; — осмѣленная общей надеждою и общей мольбою, Настенька выждала окончанія обѣдни и сама приступила послѣ всѣхъ, понесла свою скорбь къ этой *Скорбящей Радости*, какъ звалъ по своему народъ, и поклонилась — упала ницъ, не сдержавши ни себя, ни тяготы своего горя.

Огни и брилліанты горѣли надъ простертой женщиною. Себя не помня, вся изліянью своей болящей души отдалася она... И словно Сама эта Скорбящая Радость подвиглась и снизошла до нея. Настенька живо почувствовала, что ея касалась, и тихо поднимала ее чья-то рука.

— Встань, Божья раба! Богъ утѣху дастъ, говорилъ тихій замирающій голосъ. — Что въ скорби болѣть-то такъ? Вишь Она, Радость наша — аль Она безъ радости, что ли, оставитъ тебя? говорила старая, совсѣмъ истощалая старуха, поднимая Настеньку. Церковь запирать хотятъ. Поди себѣ съ Богомъ.

Настенька вышла и что-то—какъ сила какая-то ощутимая посѣтила ее. Глянула она, а и глядѣть глазамъ хочется, какъ оно полно народомъ все и хорошимъ хорошо! Полный Донъ, какъ чаша, всполнился съ краями-берегами, и синь, синетою залитъ, блещется искрами!

Когда пошла Настенька, поспѣшая къ квартирѣ, солнце ей грѣло по весеннему и противъ солнца на лавочкѣ сидѣлъ одинокъ у воротъ Кирила.

Кажется, душу бы свою вынула и отдала ему Настенька!

— Добрый день, Кирила Петровичъ! сказала она, подходя и тихо становясь передъ нимъ.

— Благодарствуйте-съ, вмѣсто: *здравствуйте*, сказалъ онъ, вставая.

— Можетъ быть, вы думали: гдѣ я это была? Тамъ, Кирила Петровичъ, гдѣ мнѣ слѣдъ быть. Въ придѣлѣ у Всѣхъ Скорбящихъ.

— Святое-съ дѣло, что и говорить.... Квартира съ готовая.

И сказавши въ этомъ короткомъ переговорѣ все, они молча пошли къ своему обѣду.

Поспѣшный обѣдъ скоро кончился, и, истомленная самой дорогою, кромѣ еще самого горя,—бѣдная Настенька радовалась, какъ могла, ожидаемому углу. Они въѣхали на большой застроенный дворъ видимо богатаго, окупечившагося козака. Амбары рядомъ стояли на улицу; люди ссыпали пшеницу; привычной стаею куры, утки и голуби тутъ же толпились у ногъ и живились зерномъ. Вороты стояли настежь. Въѣзжай и выѣзжай кому надо... И Кирила съ Настенькой въѣхали. На концѣ широкаго двора стоялъ маленькій флигелекъ — мазанка. Обведенныя красной глиною, его небольшія окошечки свѣтились и самъ онъ, бѣло выбѣленный и чисто обметенный вокругъ, показался Настенькѣ Богъ знаетъ чѣмъ. За флигелькомъ, глинистый и размытый, круто обрывался оврагъ, торчалъ совсѣмъ облетѣлый кустъ калины съ изрѣдка уцѣлѣвшими по немъ красными краплинками

ощипанныхъ ягодъ, а надъ самымъ крылечкомъ старая *горькая* осина (какъ зоветъ народъ), съ неустающими трепетать листьями, роняла ихъ, и безъ вѣтра, тихо, посыпала желтый песочекъ прибраннаго крылечка.

Работница-кухарка встрѣтила хозяевъ въ сѣняхъ и, не желая здравствоваться на порогѣ, поступилась въ горницу.

— Здравствуй, молодая хозяюшка! Просимъ любить да жаловать.

Настенька, крестясь, вошла въ горничку.

Началась хозяйственная суета вносить и размѣщать вещи. Кирила, опроставъ повозку, съѣхалъ со двора.

— Какъ же тебя зовутъ, голубушка? спросила Настенька, оставаясь одна съ своей работницею.

— А какъ меня зовутъ? Оксана—солдатка я—меня зовутъ.

— А по батюшкѣ?

Проворная и суетливая въ захирѣломъ на взглядъ, истомленномъ тѣлѣ, Оксана будто не разслышала тихаго вопроса хозяйки.

— По батюшкѣ какъ же тебя звать, Оксанушка? повторила Настенька.—Вмѣстѣ жить, такъ и знать и величать надо.

— Дай-ка я образъ-то сама на стѣнку потянусь, прибью... Величай кукушку, какъ знаешь, Дмитревна! говорила проворная Оксана, ловко устанавливая образа въ переднемъ углу, — а кукушка все тебѣ, какъ есть, сѣрая горемычная кукушка... Вотъ тебѣ мое величанье. Отца я своего знать не знала и отцомъ не звала; мать, сказать бы, сквозь сонъ помню, да и мужа солдата забывать стала... Вишь памяти не хватаетъ на двѣнадцать годовъ! Такъ я себѣ просто Оксана, а у меня Люба... Коли хочь, поглянь на нее.

Настенька оборотилась къ дверямъ; а у дверей стояла въ монистахъ и смотрѣла на все и на нее странная пріятная дѣвочка лѣтъ тринадцати, — смотрѣла зоркими, вольной пташки глазами.

— Самоварчикъ, Люба, возьми, сказала мать. — Что попусту глазами водишь? Рада, что велики Богъ далъ... Ужъ

въ чемъ другомъ послушаетъ, или не послушаетъ Люба; а что самовары вычистить, подсвѣчники—что такое, что блестить, да чтобъ оно какъ жаръ горѣло, только подавай, Дмитревна, моей Любѣ! съ одушевленіемъ выразила Оксана, окончивши уставлять образа.

— Теперь бы вотъ только лампадку затеплить, сказала она;—равно и воскресный день завтра, — да ладону распустить, чтобы божественнымъ духомъ по дому пошло—вотъ оно и все хорошо.

Настенька дала деньги на ладонъ и на лампадку,—и скоро точно стало хорошо въ ютномъ уголку жилья, гдѣ двѣ женщины: одна переболѣвшая сердцемъ, а другая вся болящая имъ, искали пріютить себя.

Святою искрою огонекъ загорѣлся въ хрустальной лампадкѣ, и на отвѣтъ ему другіе свѣтящіеся огоньки засіяли мелкими бисерами въ переднемъ углу. Непокинутыя, совершившія тяжелый совмѣстный путь, благословенныя иконы, блистая и точно благословляя, показались на новомъ мѣстѣ. Божественный духъ шелъ отъ нихъ и, какъ желала Оксана, расходясь по горничкамъ, онъ чуть замѣтною, легкою синетою набирался въ углахъ. Хозяйка накрыла столъ большой хорошею скатертью, и со сторонъ подвязала красивыми узлами длинные концы ея. Оксана даже вспомнила тотъ гвоздь, на которомъ вѣшать шапку хозяину, и вбила его въ стѣну, не подалеку дверей. Съ какой-то гордой отвагою, звеня своими монистами, Оксанина Люба внесла, жарче жара, вычищенный самоваръ и, никого не спросясь, поставила его высоко въ углубленіи печки,—и Кирила пріѣхалъ.

Остановя лошадь у крылечка, онъ началъ сносить въ чуланчикъ въ сѣняхъ и въ маленькую кухоньку черезъ сѣни разные хозяйственные припасы: кульки съ мукою, съ крупою, — чугунчикъ, рогачъ; позвалъ Оксану взять горшки, и затѣмъ, отведя лошадь подъ сарай, онъ отпрегъ ее и задалъ большую задачу овса По-хозяйски управившись со

всѣмъ этимъ, Кирила отворилъ дверь и ступилъ на порогъ къ себѣ.

Кажется, новый прибранный видъ чистой горницы, образа, запахъ ладона, теплящаяся лампадка — вся эта святая тихая благодать домашняго своего угла лютою тоскою защемила сердце Кирилы. Онъ держалъ шапку въ рукахъ и не видѣлъ, гдѣ дѣть ее—не видѣлъ на обычномъ мѣстѣ гвоздя.

— Оксанушка, кабы милость твоя, самоварчикъ... Можетъ быть, затѣмъ только, чтобы не стоять молча, проговорилъ онъ.

На мѣсто Оксаны громко вызвалась Люба.

— Я сама безъ матери поставлю, объявила дѣвочка.

— А коли поставишь, такъ и поставь, Люба! замѣтилъ Кирила, очевидно хорошо знавшій Оксану съ дочерью.

Самоваръ поставили; всѣ вмѣстѣ напились чаю. Люба взмостилась на высокое крашеное стульце и, какъ съ насѣсти оттуда, смотрѣла въ окно.

— Куда это хозяинъ лошадь запрягаетъ? увидѣла она.

У Настеньки какъ-то вдругъ упало сердце и не поднималось. Она выглянула. Кирила точно запрягалъ лошадь, и кибитки уже не было: она была снята. Запрягши, онъ сталъ подтягивать поясъ, какъ бы собираясь въ дорогу.

— Вотъ и прощаться идетъ! вскочила Люба отъ окна.

Кирила вошелъ. Онъ тихо посмотрѣлъ на дѣвочку.

— Иди, Люба. Мать зоветъ, тихо сказалъ онъ.

— Хоть и не зоветъ, да пойду! остро оглядѣвши его, выговорила острая дѣвочка.

Кирила постоялъ по ея уходѣ и медленно сѣлъ по концъ стола.

Бѣдная Настенька чувствовала, что приступила минута нашего обычнаго разставанья: сѣсть всѣмъ, посидѣть, помолчать—какъ это сѣлъ и молчалъ Кирила, и бѣдная женщина, себя не помня, поставленная на ноги ужасомъ, невольно опустилась и также сѣла.

Погодя минуту, Кирила всталъ, помолился Богу,—слышно было какое-то сердечное: *аминь!*

— Настасья Дмитревна, прощайте-съ! сказалъ онъ.

— Да куда же вы, куда, Кирила Петровичъ! даже руки будто поднялись у Настеньки удержать его.

— Иду-съ опять маяться въ люди.... Вотъ-съ вамъ въ чемъ недостача случится... положилъ онъ на столъ старенькій, потертый портфель.

Кирила ступилъ шагъ къ дверямъ и остановился въ нерѣшительности.

— Только ужъ сдѣлайте Божескую милость, не обидьте меня, Настасья Дмитревна! поклонился онъ какъ-то такимъ поклономъ, что ему всѣ волосы упали и скрыли лицо.

Горче этой просьбы, горче этого слова еще ничего не слыхала и не испытала Настенька. Она сидѣла окаменѣлая и даже не заплакала: слезы застыли стыдомъ...

Уѣхалъ.... И бѣдная женщина! то ей казалось въ дорогѣ, подъ полстью кибитки, что нѣтъ той муки и пытки тяжче, какъ сидѣть и видѣть его лицо передъ собою; а теперь не видѣть этого скорбнаго лица будто еще становилось тяжче.

— Чтожъ, хозяюшка, молода моя Дмитревна! Какое же мы будемъ дѣло дѣлать? спрашивала Оксана.—Хозяинъ насъ на-скоряхъ покинулъ. Никакой намъ управы не далъ.

И онѣ начали дѣлать то мелкое женское дѣло, ту кропотливую работу рукъ, которая не будитъ души, не живитъ сердца, а одно—какъ червь подтачиваетъ время.

Солдатка Оксана, въ ея безпріютномъ сиротствѣ, покинувши свою родину, пришла на Донъ, какъ приходятъ сотни подобныхъ ей, знаменуя пословицу: рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ — гдѣ лучше.

Обжившись на богатомъ Дону и прижившись себѣ печаль и заботу, и вмѣстѣ жизнь своей горькой не людской доли, Оксана съ Любою жили по чужимъ домамъ, какъ вполнѣ горемычныя кукушки, привитыя по чужимъ гнѣздамъ. Захожая бурлачка, какъ зовутъ такихъ женщинъ на всемъ

широкомъ Дону, Оксана совсѣмъ обрусѣла съ виду, и только звенящіе монисты Любы и какая-то поэтичность дѣвочки, заманчивая и прихотливая, указывали на мать. Но и въ самомъ говорѣ Оксаны еще проглядывала иногда нѣвучая нѣжность и приливающая къ сердцу задушевность южно-русской рѣчи, и особенно это слышалось теперь, когда, вертя свою куделю, Оксана, изо дня въ день, видѣла передъ собою въ тоскѣ безрадостное молодое лицо. Шумъ на дворѣ, засмѣется Люба въ сѣняхъ, да такъ звонко, игриво колокольчикомъ зальется, что будто всѣ углы въ отвѣтъ зазвенятъ и каждая волосинка кудели — словно оживетъ она и шевельнется! а на этомъ лицѣ ничто не двигнется, не потрогается; опущенные глаза, какъ есть они опущены — не взглянутъ, не поднимутся...

Настенька словно прижила свою скорбь къ придѣлу Всѣхъ Скорбящихъ. Только будто и отдыха душѣ, когда она пойдетъ да помолится тамъ. И каждую среду, и пятницу и на акаѳистъ въ субботу, Настенькѣ было хоть умереть, а пойдти туда! Скоро она вынесла себѣ живую дѣятельную отраду: задумала вышить пелену на Скорбящую Радость.

А между тѣмъ о Кирилѣ ни слуху не было, никакой вѣсти. Гдѣ онъ присталъ? Между какихъ людей маялся? Не знать было ничего. Сказывала Оксана, что верстъ шестьдесятъ отъ станицы, на какой-то Медвѣдкѣ, что ли? есть тамъ знатныя водяныя мельницы, и крупчатка при нихъ — не тамъ ли онъ? Отъ кого узнаешь? Пожалуй, въ торговой станицѣ, куда народъ прибывалъ отовсюду, не диво было попытать людей. И пытала Оксана, — и все она утѣшала молодую Дмитревну: что, знать, хозяинъ подался къ Ростову, не слыхать его въ окружности. Что вотъ какъ обрядится въ городѣ, онъ за ними не пословъ пришлетъ, а самъ по первому путёчку, по бѣлому снѣжечку, стукъ въ ворота: а ты, Дмитревна, встрѣчай своего сокола.

И разсказывая такія рѣчи, диву давалась Оксана...

— Что мнѣ съ хозяйкою молодою дѣлать? Ума своего не

приложу, говорила она знакомкамъ — Видала я на свѣтѣ тоску и сама тосковала по мужѣ; а уже такой тяготы смертной да безотвѣтной, какою болитъ она, глядѣть на нее, сердце ноетъ. Храни Богъ, Люба моя взгрустилась бы такъ; да я бы руки на себя наложила, на дно моря пошла!

... Послушай, молодая Дмитревна, меня! пташечка ты моя сиротливая! говорила Оксана.—Тоска, что вѣтеръ сушитъ, и по вѣтру ее отводятъ люди... Есть тутъ старуха въ станицѣ, что отсылаетъ и насылаетъ хоть за сто верстъ тоску. На кустъ въ степи нашлетъ, кустъ тотъ повянетъ... Хочешь, я старуху призову тебѣ?

— Богъ съ тобою, Оксанушка! тихо взмолилася Настенька... Что, можетъ, кустъ и повялъ бы, когда бъ наслать на него мою тоску, да мнѣ-то не избыть ее никакимъ заговоромъ. Не бери грѣха на душу, не ищи мнѣ ворожеи, Оксанушка!

Но чуткая сердцемъ, можетъ быть, потому, что сама болѣла не мало имъ, Оксана стояла на томъ: что надобно, коли не отвести по вѣтру тоску, то хотя «вычитать» ее,— есть такіе старцы честные, и книжки у нихъ святыя есть, по которымъ они вычитываютъ людскую тоску...

— Слушай, зоренька моя молодая! полно тебѣ туманиться, говорила Оксана, входя къ своей хозяйкѣ съ полной рукою мелкихъ нарѣзанныхъ вѣточекъ.—Не хочешь ты бабушки-ворожеи пытать, и старцы честные, тожъ далеко они — въ Кіевѣ ихъ по святымъ монастырямъ искать—а попытай ты такъ: загадай на свою тоску. Вотъ тебѣ вѣточки вишневыя, на самую мученицу Екатерину, до восхода солнца, надобно, чтобы нарѣзать ихъ. И поставь ты ихъ, Дмитревна, въ кушинчикъ съ водой подъ Святыми, и задумай, въ чемъ твоя дума есть, выбери себѣ вѣточку любую... (Я что годъ на свою Любу завѣтъ кладу)... И будутъ тѣ вѣточки стоять отъ самаго сегодня, отъ Екатерины значитъ, до навечерія Рождества Христова. И слушай меня, Дмитревна: коли быть къ радости, супротивъ всякой печали людской, въ Святую

Христову ночь зацвѣтетъ твоя вѣточка. Запоютъ въ церквахъ: *Христосъ рождается*, и вѣточка твоя цвѣтомъ процвѣтетъ.

— Оксанушка, дай мнѣ вѣточку! протянула руки Настенька.

И къ убранству тихой чистенькой горенки, гдѣ витали три женскія существа, прибавился кувшинчикъ глиняный, съ вѣточками подъ Святыми.

Настенька ревностно принялась за пелену. Шелки, блестки и серебряныя нити переплетались въ узоры, обходя изящною богатой каймой,—и чудо чудное! Люба, которую мать никакою силою не могла присадить вертѣть свою куделю, теперь по цѣлымъ битымъ часамъ не отходила отъ пялецъ Настеньки. Съ прирожденнымъ изяществомъ сказывающейся природы, дѣвочка, какъ орленокъ завидя свою добычу, не отрывалась темными большими зрачками отъ тѣхъ же самыхъ листочковъ и узелочковъ, которыми, попрежде ея, восхищалась другая, очень утонченная особа.

— Хочешь учиться, Люба? спрашивала Настенька...

А о Кирилѣ все-таки не было никакого слуху. Собственно говоря, дѣло вовсе не выходило изъ порядка вещей. Когда же наши купцы пишутъ къ своимъ женамъ? Переслать черезъ хорошаго знакомаго человѣка поклонъ: «кланяется молъ сожитель въ добромъ здоровьѣ,» это случается; а чтобы по почтѣ письма писать, это-съ линія не подходящая. Выѣхалъ изъ дому о Святой, да коли о Рождествѣ думаешь въ женѣ быть, и нечего тутъ чернилами водить.

Но если наше мелкое купечество не охоче «водить чернилами» къ своимъ женамъ, то въ его коренно-Русскомъ обычаѣ есть *охота*, которая именно становится *пуще неволи*. Это: гдѣ бы ни быть, а праздникъ Рождества и Пасхи *принять* дома, какъ они говорятъ. Встрѣтить великій праздникъ въ своей семьѣ, помолиться Богу въ церкви, въ своемъ приходѣ, разговѣться первымъ кускомъ съ женою и съ дѣтьми, безъ этого значитъ остаться безъ праздника, говорятъ купцы.

И вотъ, чтобы не остаться безъ него, наше промышляющее по сторонамъ купечество, не въ свою голову, вязнетъ

въ грязи, топится въ зажорахъ, купается въ разливѣ рѣкъ,— и все-таки пробирается къ празднику домой.

Имѣя въ смыслѣ и въ опытѣ народной жизни такіе примѣры передъ глазами, Оксана увѣщевала молодую Дмитревну: что тутъ ни бѣды, ни полбѣды нѣту, что хозяинъ вѣстей не шлетъ. Не шлетъ онъ, извѣстное дѣло, самъ къ празднику будетъ. Уже и праздникъ не за горами.

— Да сердце-то у тебя, что летучая ласточка, далеко летаетъ! Уйми ты его, Дмитревна: чтобъ дома сидѣло да на пряху глядѣло.

И сидѣла, и глядѣла на свою вышивную пелену Настенька; вѣточка подъ Святыми, стоя въ водѣ, набукала и отрыгала почки; но глядѣть на нее часто, подглядывать Божію тайну— грѣхъ... говорила Оксана.

А тѣмъ временемъ и праздникъ шелъ, незримыми, какъ бы ощутимыми душѣ шагами соступая съ небесъ на всю поднебесную землю. По станицѣ мелькали особенно свѣтлыя, радостныя лица. «Пріѣхалъ... нашъ-то пріѣхалъ; слышали, пріѣхалъ!» слышалось со сторонъ. «Ивановна, Васильевна, и не ждали, бабы, не думали, святой праздникъ принесъ!»

Всѣ эти вѣсти сносили въ тихую горенку Оксана и Люба, и на отвѣтъ имъ сердечномолитвенный трепетъ проходилъ по душѣ: «Матерь Божія! можетъ и онъ пріѣдетъ?»

Наступило великое навечеріе Рождества Христова. День промелькнулъ въ послѣднихъ конечныхъ заботахъ и приборахъ по дому. Загули колокола. Обѣдня Василія Великаго съ навечерней пѣснію: *Свѣте тихій*, покрыла станицу напѣвомъ святаго зачинающагося торжества. Шла Настенька къ обѣднѣ, обгонялъ ее старый старикъ, бѣжали сани въ одно-рядку, несся рысакъ, шелъ бурлакъ съ зимующей барки, и сама земля шла, пришедши на западъ солнца и одѣваясь въ свою вечернюю славу.

Въ тихой горенкѣ все было прибрано по праздничному. Съ утра горящая лампада на розовой лентѣ, иконы въ колосьяхъ пшеницы, сѣно подъ Святыми, въ народное пре-

данье Христовыхъ яслей, и на сѣнѣ кутья и узваръ. Все по своему уставляла Оксана. Зеленая большая восковая свѣча стояла посередь накрытаго стола въ блестящемъ высокомъ подсвѣчникѣ. Ей слѣдовало горѣть передъ образами, когда начнется «святая вечеря.»

— Я, *мамо*, буду звѣзду встрѣчать, сказала Люба, и, готовясь ко встрѣчѣ, дѣвочка не понуждалась въ зеркалѣ; а подошла къ самовару, который былъ такъ блестящъ и вычищенъ ею, что она стала и расчесала передъ нимъ свои черныя косы.

Нарядная Люба, въ сорочкѣ съ пышными рукавами, не могла дождаться утра, и тутъ же придала къ своимъ монистамъ новыя золотыя бусы, которыя тетенька-хозяйка ей пообѣщала за прилежное вышиванье, и купила Любѣ къ празднику.

— *Мамо*! а, *мамо*!.. съ какой-то нѣгою любила дѣвочка называть такъ мать, оставаясь съ нею одна.—А что, *мамо*, какъ хозяинъ не будетъ?

— Вотъ еще что выдумала! Нечего тебѣ говорить, Люба!... тревожно отозвалась Оксана. Чего ему не быть? Всѣ добрые люди пріѣхали. Онъ попозднѣе, съ звѣздою на дворъ.

А на дворъ всходила Настенька.

— Вонъ она, голубка безъ голубя! увидѣла Оксана... Ты смотри, Люба, свои догадки про себя держи.

Но напрасно обѣ женщины щадили третью. Самая ихъ безмолвность сказывалась сердечнымъ ударомъ.

Люба повертѣлась въ комнатѣ и вышла встрѣчать и дожидать звѣзду, хотя было еще довольно рано. Усталая, безъ словечка на блѣдныхъ, не раскрывающихся губахъ, сидѣла Настенька... Сѣ и то будто прибирая по горничкѣ, Оксана невзначай къ дѣлу припомнила: какъ она такъ-то давно была у одной дородной купчихи въ наймахъ и, примѣрно сказать бы, этимъ часомъ, ждали онѣ, ждали хозяина, да и ждать перестали, принялись за святой кусокъ, а хозяинъ, какъ вотъ, на порогъ! А то еще случай знала Оксана: какъ жена

мужа ждала къ празднику къ Свѣтлому и сонъ такой видѣла: что летѣлъ голубь и спустился, на плечо ей сѣлъ. «Будетъ мой хозяинъ!» сказываетъ она знакомкамъ (а объ немъ года два и слуху не было). Съ радости себя женщина не помнитъ. Но пятница—нѣтъ его, суббота великая—нѣту; зазвонили къ заутрени Свѣтлой—идетъ она, земли подъ собою не слышитъ. Будто ее страхъ и оторопь беретъ, и сама она не знаетъ: не то съ радости, не то съ печали сердце у нея трепещется, вотъ выскочить хочетъ! Не вспомнила она, какъ и заутреня кончилась. Двинулся къ священству христосоваться народъ, а она съ мѣста сойти не можетъ, стоитъ какъ прикованная. «Христосъ воскресе, жена!»—откуда ни возьмись передъ нею мужъ! Она какъ вскрикнула, да такъ и обмерла.

А между тѣмъ Люба на крылечкѣ опустила на руки свои пышные, по локотокъ взбитые рукава и, вперяясь въ небо зоркими, выжидающими глазами, оставляла, какъ есть, открытою свою молодую разубранную шейку.

— Звѣзда, *мамо*, звѣзда! Будемъ здоровы. Христова звѣзда! распахнула она дверь, и явилась дѣвочка въ горенкѣ, сама какъ звѣзда.

Оксана и Настенька встали съ мѣста и перекрестились.

— Слава жъ тебѣ, Господи, что мы дождались звѣзды, сказала Оксана. Свѣти она всякому, кто въ горѣ, кто въ полѣ, и нашему хозяину на поздней дорогѣ!... Будь здорова, Дмитревна! съ праздникомъ поздравляю.

Обѣ женщины думали по обычаю просто поцѣловаться; но Настенька порывомъ припала къ груди Оксаны, и онѣ обвились руками.

— Полно, моя кралечка! полно, моя сударочка! шептала и цѣловала Оксана. На радости Божьей уйми ты себя. Не печаль праздника своею слезою... Хозяюшка, свѣчу тебѣ зажигать пора. Возрадуйся Богу; а я стану вечерю святую давать.

Съ невыплаканными слезами, которыя стояли въ глазахъ

и сіяли отъ близкаго огня, Настенька зажгла зеленую восковую свѣчу на столѣ, и Оксана подала святую вечерю.

Постъ до *звѣзды*—разрѣшился. въ тихой радости и благоговѣйно сдержанномъ немногословіи, пріятнымъ, насыщающимъ ужиномъ. Бѣлые прекрасные пироги съ макомъ, кутья съ медомъ, извѣстный узваръ — вареныя сухія груши и яблоки, съ утра стоявшія и настоявшіяся подъ Святыми.

— Ну, моя хозяюшка! сказала Оксана, помолясь Богу и кланяясь хозяйкѣ поклономъ за святую вечерю,—будемъ же мы дѣлать такъ, какъ добрые люди дѣлаютъ. Приберемъ, поставимъ всю святую вечерю на столъ. Пусть она ждетъ хозяина. Можетъ, намъ святой праздникъ принесетъ его... И намъ будетъ весело и ему радостно: войдетъ онъ, а хлѣбъ-соль ждетъ хозяина въ его дому, во святомъ углу... Станови, хозяюшка!

И вотъ столъ уставился и украсился хлѣбомъ и солью. чистотою, приборомъ и остатками святой вечери, которыхъ бы стало на пять гостей, а не то, чтобы на одного хозяина.

Люба до сориночки, до послѣдней крупиночки, подмела горпичку; лампадку у образовъ поправили, зеленую восковую свѣчу на столѣ давно погасили: потому что она горитъ только Богу да святой вечери. Завтра ее опять на утреню и на обѣдню. затеплятъ. Настенька тихою святою ночью осталась одна. Можетъ, сердце еще хотѣло бы неутомимо ждать и подождать; но у нея силы не ставало, и она, какъ была, одѣтою прилегла на постель.

Должно быть, она крѣпко и долго спала, когда могла вдругъ пробудиться и вскочить на ноги, не помня никакой усталости, не чувствуя ничего, кромѣ сердечнаго трепета. Она явственно услышала, что стучали въ ворота... Безъ шубы, безъ платка, въ чемъ была засыпая, Настенька бросилась отворять. Можетъ быть, ея собственный неловкій, неумѣлый стукъ щеколдою и засовами чудился ей повторенными ударами. Но добѣжавъ до половины двора, Настеньку скорбно

отрезвила чуткая всеспящая тишина сѣющейся снѣгомъ, святой торжественной полуночи. Ничто не давало ни звука, ни отклика. Не слышно посыпая, падалъ снѣжокъ изъ прозрачной тучки; неслышно пухомъ принимала его земля... Стояла Настенька и неслышныя слезы капали у нея... Но незримѣе тихихъ полуночныхъ слезъ и не слышнѣе порошинки ниспадающей снѣга,—тамъ, въ уголку подъ Святыми, Божьей тайною жизни разцвѣталъ вишневый цвѣтокъ.

VIII.

И праздники прошли. Грузному горемъ сердцу праздники сдаются тяжеле будень. Такъ было и съ Настенькою. Только и отрады, что въ храмѣ Божьемъ: встать къ утрени, да пойти къ обѣднѣ, да когда бъ къ вечерни зазвонили скорѣе, пока не совсѣмъ смеркло. «Святые вечера,» какъ зовутъ въ народѣ весь этотъ рядъ святочныхъ вечеровъ отъ Рождества и до Крещенія,—истомили Святые вечера бѣдную Настеньку. Днемъ она хоть работала свою пелену; а что дѣлать съ вечернею тяжкою долготою двѣ недѣли къ ряду? Чуть смеркалось, уже работать нельзя. *Ченцы по угламъ сѣли,* говоритъ какое-то глухое преданіе, замѣчая святочную наступающую темень въ углахъ, и чуть они, незримые, сѣли—народъ вѣруетъ, что работать грѣхъ. Въ святые вечера грѣхъ работать всякому мірянину—*ченцы по угламъ сѣли* И не работая руками, какъ горько и трудно начинала работать Настенька своимъ болящимъ сердцемъ и скорбной душою!

— И къ празднику не пріѣхалъ! шептала она, двигаясь по горничкѣ.

И вереница сомнѣній и, одно другаго болѣе, тяжкихъ предположеній, вставала въ душѣ.

— Можетъ, *его* уже на свѣтѣ нѣтъ? Сохрани и помилуй, Матерь Божія!.. Можетъ, онъ бросилъ ее одинъ разъ навсегда, чтобъ глаза его больше не встрѣчали!

И бѣдная женщина, замирая въ своей сердечной тоскѣ, опускала руки и, чуть дыша, оставалась недвижимою.

Зимнія засеребренныя звѣзды сверкали ей въ окошечко; у самаго стекла таращилъ, темныя, не заиндивѣвшія вѣтки калиновый кустъ; ихъ не видала бѣдная женщина и только одна праздничная неугасимая лампадка чуть мерцала ей.

Оксана тайно и явно, въ разговорахъ съ Любою, чаяла дождаться Кирилу къ Святой водѣ.

— На Святую воду будетъ, вотъ, святъ Богъ, будетъ. Нельзя человѣку не быть, говорила она.

Но сердцемъ, занѣмѣвшимъ отъ тяжкой гнетущей боли, Настенька даже перестала ждать и не ждала она,—да и не пріѣхалъ Кирила.

Іорданъ посвятили на Дону. Старожилы замѣчали по своему, что хорошъ будетъ сплавъ. Барки пойдутъ внизъ, а рыба вверхъ, а козаку и въ томъ, и въ другомъ пригода. Знатное будетъ полноводье. Батюшка Донъ *натугу взялъ*—всколыхнулся, когда соступилъ на него съ береговъ народъ, и вода изъ Іордани сильно пошла и далеко поняла.

Настенька, пришедши съ Іордани и не находя, за что приняться ей, чувствовала, что у нея не только душа, а сами руки тоскуютъ безъ дѣла.

— Прости меня, Матерь Божія! Когда эти праздники Святые пройдутъ? шептала и крестилась она.

И праздники прошли. Отпраздновавши послѣдній день Іоанна Крестителя, на утро съ бодрой охотою сѣла Настенька за свою работу, чтобы не отрываться съ утра до вечера, и съ вечера до тяжкой неусыпальной полуночи. Оксана, управившись поранѣе съ печью, тутъ же присѣла въ горенкѣ шить и вышивать Любѣ, нарядные рукава. Одну Любу, избалованную праздниками, мать не могла усадить за работу. Дала ей клубокъ пряжи сучить; а у дѣвочки и въ головѣ пряжи не было. Она катала клубокъ, какъ рѣзвый котенокъ, играя съ нимъ. Изъ веретена думала сдѣлать волчокъ и пускала его по столу; роняла веретено подъ стульцо, подъ

столъ, лазила доставать его; наконецъ усѣлась посреди горнички на полу, и вотъ, можно было думать, что, уставъ попусту возиться, своенравная дѣвочка примется за работу. Но не тутъ то было. Дверь порывомъ стукнула и Любы не стало.

— Вотъ горе моей головѣ! развела руками Оксана. Не будетъ изъ дѣвки пути. И въ кого она такая невдалая удалася?

Задумавшись и закручинясь глубоко о томъ, Оксана вдвое прилежнѣе шила рукава. Не дожидаясь, по опыту, скоро своей бѣглянки и зная, что теперь развѣ одна ночь загонитъ ее, Оксана не слыхала или не обратила вниманія на то, что дверь отворилась и кто-то вошелъ въ нее. Ни шороха, ни движенія затѣмъ не было слышно. Молчали, работая, обѣ женщины, и молчало все. Но скоро у Настеньки какъ-то начала цѣпляться иголка и, нанизывая блестку, тутъ же ронять ее... Что-то по ней по всей трепетомъ и замираньемъ прошло...

— Оксанушка, голубушка!... хотѣла она что-то сказать и не сказала... Поднялась было встать, и не встала на ноги Настенька—онѣ подкосились у ней...

Въ дверяхъ, съ шапкою въ рукахъ, стоялъ и смотрѣлъ на нее Кирила.

— Ахъ, матушки мои сердечныя! вскрикнула Оксана, бросаясь на помощь, и тутъ увидѣла гостя.

Пылкая женщина не стерпѣла.

— Ну, ужъ, хозяинъ! спасибо тебѣ. То съ горя морилъ а теперь, гляди, съ радости въ гробъ уложишь... Дмитревна голубочка! Цвѣтъ ты мой повялый! начала называть Оксана всѣми ласковыми именами и кропить Настеньку Богоявленской водою.

Прослыша, что хозяинъ пріѣхалъ, Люба опрометью вбѣжала въ комнатку—и заголосила, увидя Настеньку безъ чувства.

Сколько нѣмой, безутѣшной скорби надобно принять на

душу, чтобы оставаться такъ недвижиму, какъ стоялъ у дверей и держалъ свою шапку Кирила!

Но какъ ни помертвѣвши была Настенька, а во взглядѣ на любимаго человѣка есть жизнь, и этотъ одинъ мимолетный взглядъ, болѣе всѣхъ хлопотъ и причитаній Оксаны, что взялъ, то и отдалъ съ лихвою назадъ.

— Люба, дѣточка дорогая! шептала Настенька, чуть открывая глаза. — Бѣги ты скорѣе по воду. Ставь самоваръ.

Суматоха наступила другаго рода. День приходился постный: хозяйка съ своей кухаркою ничего себѣ не готовили, обрадовавшись первому дню поста послѣ долгихъ розговинъ; а тутъ гость такой дорогой пріѣхалъ — хозяинъ въ домъ, а на столъ—ни пустыхъ щей—подать нечего: въ печи только что топлено, а ничего не варено.

Оксана со всѣхъ ногъ бросилась покупать рыбу.

— Такъ намъ Богъ далъ! говорила она. Людямъ праздники были, а мы горевали; теперь людямъ будни, а намъ праздникъ насталъ. Хозяинъ нашъ пріѣхалъ—а мы съ хозяюшкою, съ молодой моей Дмитревною, и горшка щей не варили.

—И, ишь ты! какая вамъ, бабамъ, притча случилась! съ участьемъ слушала продавщица.—Ты вотъ рыбку-то покрасовитѣй бери на хозяйскій глазъ.

Тѣмъ временемъ у Любы самоваръ уже былъ готовъ.

— Кушайте, Кирила Петровичъ, чай съ дороги, говорила Настенька, и у нея рука дрожала, подавая ему стаканъ.

Спросить его: гдѣ онъ былъ? что было съ нимъ? она спрашивала только трепетнымъ сердцемъ и своими робко взглядывающими и еще робче опускающимися глазами.

Кирила самъ заговорилъ.

— Мѣсто нашелъ-съ. Можетъ быть, вы тутъ слышали съ, Медвѣдка есть? Такъ верстъ сорокъ за Медвѣдкою знакомый человѣкъ крупчатку снялъ-съ... Ничего-съ, живетъ,—помолчавши, добавилъ онъ,—супротивъ Игнатъ Емельяновича не стапетъ, да намъ-съ—гдѣ бы ни жить, да жить! невольно

вырвалось у Кирилы, и онъ наклонился къ своему стакану.— А вы-съ тутъ какъ поживали-съ?

— Извѣстно, наше бабье житье, послышала входившая Оксана.—Въ одномъ углу охнешь, въ другомъ вздохнешь, въ третьемъ хозяина помянешь. а въ четвертомъ, можетъ, сядешь и поплачешь.. Ну, ужъ къ слову сказать, Петровичъ: что ты тоски да печали своей молодой хозяюшкѣ задалъ, такъ и Богъ тебя прости! Чего жь ты это къ празднику не бывалъ къ намъ?

— Неволя-съ, тихо отвѣчалъ Кирила.—Хозяинъ въ Москву по почтѣ гонялъ, третьевòдня домой сталъ.

— Ну, моя Дмитревна! и на томъ спасибо нашему хозяину. Третьевòдня съ Москвы, сегодня къ намъ,—соколъ твой по сокольему летаетъ,—замѣтила, уходя, Оксана.

— Позвольте-съ бумажничекъ, что я вамъ-съ оставлялъ, сказалъ Кирила, напившись чаю.

Настенька подала бумажничекъ и вышла на минутку къ Оксанѣ въ кухню. Скоро она воротилась и застала Кирилу, что онъ стоялъ середь горнички и держалъ раскрытый бумажникъ.

— Что-жъ вы это, какже-съ, Настасья Дмитревна! И не пивши, не ѣвши праздники были-съ? сказалъ онъ.—Деньги не починены лежатъ-съ.

— Нѣтъ-съ, Кирила Петровичъ. Мы пили и ѣли, отвѣтила Настенька.—У меня свои деньги заработанныя есть.

— Такъ-съ. А это, значитъ, не ваши-съ? помолчалъ Кирила.—Все же я вамъ, значитъ, какой ни на есть, а мужъ, въ церкви Божіей пѣтый, и всякое вамъ довольствіе по закону-съ поставлять должонъ. Не брезгуйте-съ, Настасья Дмитревна! сказалъ Кирила и вышелъ.

Онъ нѣсколько разъ возвращался во дворъ, принося на плечахъ кульки и разные хозяйственные припасы. Пообѣдали, когда уже совсѣмъ смеркалось, но еще до сумерокъ Кирила живо принялся рубить дрова. Разогрѣвшись, онъ снялъ свою нарядную дубленку и въ одной цвѣтной рубахѣ взмахивалъ

топоромъ такъ, что отъ него блестки сверкали и съ трескомъ сыпались щепки. Домохозяинъ-козакъ вышелъ вечеркомъ на свой дворъ и присѣлъ на колодѣ противъ Кирилы. Они поздоровались.

— Помочь своимъ бабамъ даешь? замѣтилъ старый козакъ.—Нешто молодецъ. Да ужъ и молодая хозяйка у тебя, Петровичъ! Поискалъ тебя Богъ судьбою. Эдакой смиренницы да Богу угодницы не знайти другой! Только ея слѣду и прослѣду знали и видѣли, что въ церковь Божію, какъ утушка, плыветъ.

Кирила рубилъ дрова, рубилъ такъ, что щепы на сажень вверхъ летѣли отъ топора.

— Добро, не жена,—немножко пождавъ отвѣта, продолжалъ козакъ.—Знать нельзя, малый, что женку-то не берешь къ себѣ? спросилъ онъ.

— И вѣстимо, что нельзя, самъ себѣ отвѣтилъ старый козакъ, поднимаясь идти.—Кто бъ ее, бабенку ладную, покидать сталъ?

Отъ трудовъ, что ли, у Кирилы потъ выступилъ на лбу... Долго еще онъ рубилъ топоромъ, удары звонко, точно вздрагивая, раздавались въ совершенной темнотѣ.

— Будетъ! слышно сказалъ онъ и, послѣднимъ взмахомъ руки, сильно и глубоко засадилъ топоръ въ дровосѣку.

На срединѣ двора встрѣтилась ему Оксана.

— Отведи душу, добрая душа. Дай, Оксанушка, напиться, Примахалась рука. Пить хочу.

— Да чего жъ тебѣ лучше, Петровичъ! Дмитревна твоя всѣ глаза просмотрѣла, ждетъ тебя чаю пить. Ступай скорѣе.

Кирила медленно взошелъ на крылечко; въ кухонькѣ лежала его синяя чуйка, онъ вздѣлъ ее и помылъ руки. Кажется и жажда его прошла передъ тяготою идти туда, но онъ пошелъ.

А Настенька? Собравши этотъ томительный чай, она именно глаза просмотрѣла, вглядываясь въ сумракъ и въ очеркъ

фигуры Кирилы, которая, съ каждымъ ударомъ топора, все будто уходила изъ ея глазъ... Бѣдная женщина! она и лампадку у образовъ засвѣтила, какъ-то думая сердцемъ: отъ Божьяго лица дать свѣта на милое лицо.

Къ чаю собрались всѣ, Оксана и Люба. Люба присѣла на концѣ стола, какъ чайка у кочки на бережку. Даже сложенныя руки дѣвочки съ ея широкими рукавами очень походили на опущенныя крылья молодой подбѣлой чайки, которыхъ такъ много видала и такъ хорошо знала Люба на Дону. Но сидя смирно, дѣвочка смотрѣла пытливо и зорко, какъ сама береговая чайка.

— Ты что это, Люба? Нанялась, что ли ты? смотрѣть-то на меня? сказалъ Кирила.

— Не слинялъ вѣдь съ лица?

— А, можетъ и слинялъ?.. сказала зоркая дѣвочка.

Но отпивши чай, Оксана сама ушла и Любу увела съ собою.

— Что вамъ, хозяева, ужинать собирать, ай нѣтъ?

Но отъ ужина отказались хозяева.

Наступалъ вечеръ для нихъ вдвоемъ.... Кирила, какъ сидѣлъ, такъ и остался, сидя за столомъ: Настенька перешла къ своимъ пяльцамъ. Надъ склоненной головою Кирилы теплилась лампадка, и мягкій ли свѣтъ отъ нея, или полусвѣтъ удаленной свѣчи къ пяльцамъ Настеньки, или это замиренье самого себя, что больше или меньше, а съ наитіемъ тишины заснувшаго дня сходитъ на душу человѣка, — только томительное напряженіе свѣялось съ прекраснаго добраго лица, и Кирила сидѣлъ тихъ и унылъ, въ какомъ-то скорбномъ покоѣ.

— Да-съ, сказалъ онъ, видимо приходя къ воспоминаніямъ этого поконченнаго дня. Что я вамъ такимъ-съ страшнымъ показался, Настасья Дмитревна, что вы не живыя стали-съ?

— Не страшнымъ, Кирила Петровичъ; а вы мнѣ словно изъ мертвыхъ воскресли... Я думала повѣкъ не видать васъ.

— Думали-съ? поднялъ голову Кирила и оборотился лицомъ къ Настенькѣ.—Значитъ, дума-съ вамъ такая не даромъ на сердце нашла. Виноватъ Богу и вамъ-съ, Настасья Дмитревна! сказалъ Кирила.—Вы послушайте меня.

— Въ чемъ вамъ виноватымъ быть передо мною, Кирила Петровичъ? Пусть васъ Богъ проститъ и помилуетъ, Матерь Божія!.. тихимъ порывомъ сказала Настенька.

— Виноватъ-съ, повторилъ Кирила и, немного оживленный и выведенный изъ своего скорбнаго покоя, онъ болѣе скорбнымъ воротился къ нему. — Вотъ-съ какой грѣхъ на душѣ несу! сказалъ онъ, показывая будто камень на своей душѣ.— И какъ меня земля святая на себѣ держитъ, что я ногами по ней хожу...

...Вотъ то, значитъ, какъ я поѣхалъ отсюда, тоска меня мукой смертной взяла! Гляжу—не прогляжу ее, и ѣду—не проѣду. Свѣтъ бѣлый заступаетъ въ глазахъ: вотъ просто ложись да умирай, а смерти нѣтъ. Заѣхалъ я покормить лошадь. Одинъ только я на заѣзжемъ дворѣ, да еще забрелъ какой-то бурлакъ. Пусто, хоть шаромъ покати. «Ваша милость, купецъ! говоритъ. Хоть бы вы чайкомъ поподчивали; а, можетъ, у хозяина и покрѣпче что есть.» Ну-съ, извѣстное дѣло, проситъ человѣкъ. Поднесъ я ему и покрѣпче. Только, какъ сталъ я хозяину плату давать, глянулъ — а у моего бурлака глаза разбѣгаются, горятъ. Смотритъ онъ на руки мнѣ и на кошелекъ... Такъ меня будто что разомъ подъ сердце поддало! Даже повеселѣлъ я... «Что — говорю—удалецъ! аль давно видалъ, что глазами берешь? Коли хочь, мы тебѣ и больше покажемъ.» Съ тѣмъ словомъ вынулъ я всѣ свои деньги: бумажки, золото и серебро—сыплю и пересыпаю передъ нимъ... Поднесъ ему еще. «Пей, не жалѣй!» говорю.

И такъ я разомъ все себѣ такое сообразилъ и припомнилъ: что тутъ и буеракъ съ лѣскомъ недалечко, всего верстъ на пять... Темнѣетъ, лажусь запрягать я; хозяинъ унимать почалъ. «На ночь глядя, куда тебѣ, молодецъ, ѣхать? Ночуй

у меня.» — «Что — говорю — ночевать у тебя? Видишь, пусто—не густо. Чѣмъ въ норѣ твоей ночевать, такъ я лучше недалечко тутъ въ лѣску заночую. Мѣстечко тамъ знакомое есть, гдѣ я съ дѣвушками грибы рвалъ.» И будто я не гляжу и не вижу, что мой бурлакъ уши растерялъ, слушаетъ и глазами свѣтитъ. Съѣхалъ я со двора. — «Въ путь-дорогу, золотая казна!» пріударилъ я себя по карману такъ, что рубли зазвенѣли и бурлакъ хотѣлъ, или не хотѣлъ, а послышалъ меня....

Кирила говорилъ совершенно спокойно, съ тѣмъ почти не человѣческимъ упокоеньемъ горя, которое выноситъ изъ всесильной скорби великая душа. Сидѣлъ онъ, какъ сидѣлъ, облокотясь на столъ и опустя голову.

...Вотъ-съ я и доѣхалъ въ буеракъ, и точно-съ зналъ я тамъ мѣсто отъ дороги въ кустахъ, что было лѣтомъ становлюсь въ холодку лошадь кормить. И вода тутъ изъ подъ крутаго бережечка слезою чистою течетъ. Сталъ я на томъ самомъ мѣстѣ, и даже вотъ какъ любо мнѣ, что я стою? сѣлъ подъ бережекъ и жду. Краснокутку выпрягъ, засыпалъ ему цѣлую мѣру овса, думаю себѣ: «Пусть ѣстъ въ волю на остальный часъ да поминаетъ своего хозяина, меня!» Жду я, и долго мнѣ показывается ждать. «Что—думаю—какъ не придетъ съ струсу? Да нѣтъ: не такъ я его, сердечнаго, распалилъ, чтобъ не прійдти ему. Можетъ, путаетъ въ темнотѣ? Дай-ка я посвѣчу дорогу ему.» Сгребъ я беремя суховѣту, высѣкъ огня, поджегъ, — искры посыпались въ стороны и дымъ это густой по верхамъ пошелъ. Горитъ мой огонь. Думаю себѣ: «не минешь, другъ-пріятель! Хоть ослѣпнешь, такъ по дымному духу найдешь.» И т. е. никакого у меня страха, или чтобы сумнѣніе какое было—ничего того нѣтъ. Сижу и жду. Погляну вверхъ, а звѣзды это словно въ припускъ на меня глядятъ! со сторонъ тишина подступаетъ ночная; только слышно, какъ Краснокутка жуетъ. «Дай — говорю—напою Краснокутку! А то молодецъ доконаетъ меня

и не вспомнитъ напоить лошадь. Будетъ ее не пивши гнать.» Всталъ я, напоилъ коня, и даже меня досада взяла: «Съ дуракомъ только шутки шутить, а на дѣло не жди его! Чего трется да мнется? самъ себѣ говорю. Какая пора, не слыхать его...» А вѣтка хрусь! вдалекѣ... Что, ай идетъ? думаю или, можетъ, оно и такъ ночнымъ случаемъ хрустнуло? Нѣтъ, не ночнымъ случаемъ... Слышу, идетъ человѣкъ, и такая ко мнѣ чуткость пришла: что вѣдь онъ крадется, чуть ступою идетъ, а мнѣ слышно, будто онъ медвѣдемъ по лѣсу ломится. Гляжу и Краснокутка послышалъ: ѣсть пересталъ, зайцемъ насторожилъ уши и поднялъ ногу, копытомъ сухіе листья гребетъ... Близко, чувствую, молодецъ,—остановился, видно, духъ перевести; слышу, опять пошелъ... эхъ, какъ его хрустнулъ вѣткою!.. духомъ его на меня несетъ... Сталъ онъ, вижу и слышу я (хотя глазъ за спиною нѣту), что онъ наклонился надо мною. Думаю: «чѣмъ же это онъ порѣшитъ? Какъ вола какого, не хочетъ ли меня обухомъ свалить?» Да и оглянулся я.... А онъ съ крутаго бережка прыгъ мнѣ на спину и свалилъ, насѣлъ колѣномъ на меня. Лежу я подъ нимъ, хоть бы пальцемъ моимъ ворохнулъ! смотрю на него. Онъ сбросилъ шапку, не глядитъ мнѣ въ лицо, перекрестился, говоритъ: «*Попусти, Господи...*» И такъ мнѣ его крестъ, какъ молнія, промежду глазъ прошелъ! Вспомнилъ я себя: «Вотъ я подъ ножомъ лежу, а васъ я, Настасья Дмитревна, на кого покидаю?..»

«И ужъ не помню, и не знаю я, какимъ оно случаемъ случилось? А слышу я, онъ говоритъ мнѣ: «*Вяжи, братъ. Не попустилъ Богъ.*» Оглядѣлся я: а уже не онъ на мнѣ, а я на немъ орломъ сижу, и ножъ его у меня въ рукахъ. Швырнулъ я его швыркомъ въ кусты. «Кого вязать? говорю. Тебя или меня? Ты пришелъ, а я тебя на чертовой веревкѣ привелъ. Вставай братъ! Развяжи намъ Богъ души, а вязать намъ некого.» Всталъ я и онъ всталъ. Смотримъ мы дружка на дружку.—«Что глядѣть-то? ему говорю. Въ одномъ грѣхѣ

были. Покаралъ насъ Богъ попущеньемъ да помиловалъ милостію. Возьми вотъ про твою нужду, говорю (подалъ я ему) да и прощай, братъ. Ступай ты въ одну сторону—иди, не оглядывайся; а я поѣду въ другую. Приведи Богь на добрѣ встрѣтиться.» Пошелъ онъ—съ лѣсомъ ровенъ, показывается мнѣ въ глазахъ; а я запрегъ Краснокутку — весь дрожу (вотъ когда меня оторопъ взялъ) — тронулъ лошадь возжами. Она словно почуяла меня: рветъ и несетъ — не сдержу ее—вымчала меня изъ лѣсу на чистое поле.

«...И вотъ когда, Господи, Боже мой! точно спала съ меня—съ моихъ глазъ какая чешуя! Затмѣніе я свое позналъ. Грѣхъ-то, какой грѣхъ обуялъ меня. Мало того, что я свою душу загубить искалъ (помиловалъ Богъ, не убилъ онъ меня), да я-то убилъ душу брата, за мѣсто дьявола искусителя сталъ, ножъ ему въ руки на себя далъ! Страшно стало, Настасья Дмитревна. Будто за мною и подо мною дрожала земля. Тяготы я своей не снесу... Хоть бы Богъ скорѣе свѣта далъ! Одолѣла меня эта ночь грѣхомъ смертнымъ... Ѣду я, разсвѣтать стало.—«Стой!» говорю. Вижу въ канавкѣ что-то черное, какъ человѣкъ, лежитъ. Подхожу—богомолецъ спитъ.—«Вставай! бужу его: человѣкъ Божій, вставай! Помогай душѣ. Ты спишь, а тебѣ молиться надо. Грѣхъ тяжкій сотворился между людьми.» Очнулся онъ, какъ птица легкая,—говорю: вотъ такъ и такъ, не сноситъ душа грѣха. Покаянье мое пріими. Разсказалъ ему все, какъ было, не потаилъ за душой... Прослезился онъ о моемъ грѣхѣ, и я, глядя на него, заплакалъ. Будто полегчало мнѣ. «Что-жъ мы будемъ дѣлать, братъ о Христѣ! говоритъ богомолецъ. Ступай ты—говоритъ, своимъ путемъ—Богъ съ тобою! А я въ Кіевъ иду. Снесу я твой грѣхъ великій къ великимъ заступникамъ и молителямъ Русской Земли. Мы не умолимъ съ тобой, они умолятъ по насъ. Прощай, братъ. Слава Господу, что не сгибла христіанская душа!» Самъ онъ перекрестился и перекрестилъ меня; обнялись мы съ нимъ, разстались,

словно годъ мы прожили вмѣстѣ, а не встрѣтились, съ часъ мѣста, при такой напасти... Вотъ-съ, Настасья Дмитревна, въ какомъ грѣхѣ я стою. Виноватъ-съ Богу и вамъ... Даже съ недѣлю чай провалялся я, боленъ лежалъ, — заключилъ Кирила.

— Матерь Божія! Матерь Божія!.. не то словомъ, не то изъ души стенаньемъ выговорилось у Настеньки, и она наклонилась къ пяльцамъ и припала, тихо, жалостно рыдая. Кажется, сами тихіе углы горенки залились слезами.

Кирила сидѣлъ и не выдержалъ. У него всемощной жалостію и, быть можетъ, всемощной любовью подвиглась душа. Надъ припавшей къ пяльцамъ Настенькою онъ наклонился, припалъ къ ея головѣ своей головою и что-то хотѣлъ выговорить; но только сжалъ ея голову и не выговорилъ, вышелъ.

Занималась заря; еще никто не трогался по двору, а Кирила, не томя сердца проводами, съѣхалъ со двора.

— Дмитревна! вошла Оксана съ разгорѣвшимися глазами къ Настенькѣ, которая въ слезахъ и истомѣ, не имѣя силъ раздѣться, прилегла на подушки отдохнуть.—Ты спишь и не чаешь, что хозяинъ былъ да сплылъ—поминай его.

— Уѣхалъ! сказала Настенька.

— А тебѣ, пташка безкрылая, нечѣмъ и въ погоню гнать? Молода ты, Дмитревна, и впрямъ, что молода! вся лицомъ разгорѣлась Оксана.—И ты терпишь, что мужъ надъ тобою этакое наруганье творитъ? Пріѣхалъ — не здоровался, съѣхалъ—не прощался! Подъ сарай къ лошади ночевать ушелъ... Какъ изъ пустодому снялся, ни свѣтъ ни заря, хоть бы онъ кусокъ святаго хлѣба отъ жены на дорогу взялъ!

— Оксанушка! голубушка! взмолилась Настенька: —не суди ты хозяина.

— Какъ не суди? говорила Оксана. — Да я бы на весь свѣтъ — всѣмъ людямъ жалобу свою, судъ свой дала! «Судите меня, добрые люди! какова моя судьба. Мужъ взойдетъ,

не взглянетъ—куда ѣдетъ, не скажетъ! Ему скотъ милѣе молодой жены...»

— И легче бы тебѣ стало, Оксанушка? спросила Настенька.

— Ужъ легче не легче, а что было бъ на сердцѣ, выговорила я!

У Настасьи Дмитревны тихимъ свѣтомъ засвѣтились глаза.

— Не выговоренное, а молча выплаканное горе, Оксанушка—оно, будто святое, къ Богу идетъ...

IX

Донъ стоялъ въ разливѣ; ранней ласточкой приспѣла степовая весна; крикнула чайка; снялись барки, пошелъ бурлакъ внизъ, а красная рыба, на оглушительный шумъ и гулъ полой воды, взыграла по рѣкѣ къ верху. Божьей силою жизни вся къ обновленью подвиглась великая земля. Черна и нага, какъ невѣста Соломоновой Пѣсни Пѣсней, она взывала къ возлюбленному неисповѣдимымъ словомъ: «да лобзаетъ меня лобзаніемъ устъ своихъ», и уста живоноснаго солнца блистали лучами и лобызали весенней силою землю.

По степи, еще сырой и, безъ зелени, сѣрой отъ прошлогодней прилегшей ковылы, ѣхалъ подъ вечеръ одинокій путникъ. И добрый конь его знакомъ намъ, и его самого мы знаемъ. Куда-то, вѣрно по хозяйскому дѣлу, шажкомъ и маленькой рысцою подвигался Кирила. Засинѣлъ Донъ моремъ въ глазахъ и дорога шла напрямикъ къ нему; но слегка прививалась степная дорожка, и, завидя ее издали, Кирила будто глядѣлъ и не глядѣлъ на нее. Краснокутка не стоялъ на мѣстѣ, и дорожка будто сама бѣжала на встрѣчу имъ. Чѣмъ-то такимъ земедлилась у Кирилы рука и затянулась возжа, что Краснокутка сталъ на перерѣзѣ дороги,—и что то самъ себѣ вымолвивъ, Кирила пустилъ коня на до-

рожку. Западая подъ пологій скатъ, она пошла и пошла, и что-то—какъ пѣсня какая-то беззывная да заунывная залегла кругомъ степная тишина. На отвѣтъ ей, Кирила самъ запѣлъ пѣсню:

Ахъ, и ноетъ мое сердце,
Ноетъ — занываетъ!
Ничего ль оно ретивое
Добру ли молодцу не скажетъ...

Но видно пѣсня слишкомъ говорила сердцу, что Кирила замолкъ.

Но окружная тишина всемощно просила звуковъ, ждала себѣ голоса отъ человѣка на ту раннюю пору воскресающей жизни, когда еще лѣсъ не громокъ, не поетъ воздухъ, и воды не дрогнули подъ ударомъ весла и ударомъ крыла налетѣвшей птицы. «Дай голоса!» томленьемъ весенней жизни просила беззвучная окружная тишина. И томленье собственнаго сердца Кирилы просило того же. Онъ подалъ голосъ. Тихими переливами, звуча и не звуча, будто задыхаясь въ этомъ нестерпимомъ воздухѣ беззвучной обступающей силы, голосъ Кирилы то падалъ, то поднимался, и звукъ дрожалъ, какъ порванная у сердца струна. Кирила пѣлъ однимъ голосомъ; но мало-по-малу стали выясняться слова:

Кабы зналъ я, молодецъ, вѣдалъ
Свою горькую долю,
Несчастливую женитьбу:
Я бы вѣкъ не женился,
Холостой волочился...
Ой, пойду я на торжечекъ,
Куплю себѣ гребешечекъ,
Расчешу я свои кудри
Частымъ рыбьимъ гребешечкомъ;
Положу свои очески
На косящетомъ окошкѣ.
Буйны вѣтры уставали,
Окошечко отворяли;
Унесли мои очески
Внизъ по матушкѣ по Волгѣ,
По широкому раздолью...

Кирила поднялъ голову и «широкое раздолье», что пѣлъ онъ, глянуло ему въ душу и всемощной силою стало и все показалось въ глазахъ. Нѣмѣла душа передъ этою ширью! Въ край неба заплескивалась прибойная волна: подъ самыя далекія небеса шла и уходила просторомъ на вѣки Русская Земля... Вѣковѣчный ликъ свой заслонивъ алою тучкой, солнце, надъ водой и землею, на пол-неба раздалось лучами, и несвязанный снопъ ихъ падалъ и разстилался по степи золотой ковылою.

— Красота Божья! вымолвилъ слово Кирила и, снявши шапку, онъ перекрестился — на кресты ли и церкви въ голубомъ туманѣ просіявшей станицы, или на эту самую красоту Божьей творческой силы.

Подъ болѣе крутой спускъ, лошадь побѣжала крупною рысью. Кирила не погонялъ ее и не сдерживалъ, и скоро станица, изъ густой кучи деревьевъ, домовъ и колоколенъ, разрѣзалась на улицы, показала пристань, и слитой здоровый гулъ народа прохватилъ уши.

— Богъ помочь! сказалъ Кирилѣ встрѣтившійся прохожій и, можетъ быть, сказалъ по тому, что лицо проѣзжаго молодца показалось ему больно̀ сердечной истомой.

Въ самомъ дѣлѣ, дня три и болѣе того, Кирилу одолѣвала какая-то тоска не тоска, а что-то чуяло сердце. Замирало и больно какъ-то сжималось въ груди—къ добру, или къ худу, Богъ вѣсть.

Кирилѣ казалось что онъ ѣдетъ, не доѣдетъ; а подъѣхавши къ воротамъ, такъ ему что-то заныла душа, что вотъ бы онъ поворотилъ Краснокутку и ударился бы тѣмъ же слѣдомъ въ степь! Но онъ въѣхалъ на дворъ.

Загроможденный бочками, досками и барочными ломанными снастями, дворъ былъ пустъ людьми. Проѣхавши подъ сарай, Кирила всталъ отпрягать лошадь и у него будто руки не умѣли взяться за обычное и привычное дѣло... Что-то, Господи, тишь такая, словно не живая кругомъ! Во флиге-

лекъ двери затворены стоятъ — хоть бы Люба юркнула по надворью, и Любы не видать. На что пропасть воробьевъ было, и тѣ попрятались, не слыхать ихъ... Кирила развязывалъ супонь и у него рука нѣмѣла, не могъ развязать онъ. Только живаго и жилаго показывалось ему, что изъ хозяйской печи дымъ высоко поднимался и горько пахнулъ Кирилѣ. На него чуткость нашла такая же, какъ ночью въ буеракѣ. Онъ заслышалъ, что брякнуло желѣзцо, за тѣмъ отворилась дверь и Оксана показалась на концѣ двора. Она несла горшокъ воды и направлялась въ избу къ хозяевамъ. Обозваться къ ней—сказать ей что бъ такое? думалъ Кирила и не успѣлъ придумать. Его увидѣла сама Оксана. Она такъ быстро остановилась на ходу, что въ горшкѣ вода всплеснулась и задала ей лицо.

— Стой, стой, хозяинъ! сказала она, обтираясь рукавомъ. И чего жъ тебѣ не стоять? Жена пятый день сына родила, а ты со скотомъ возись.

Супонь не развязался, а какъ-то лопнулъ въ рукахъ Кирилы и дребезжащимъ звукомъ, падая и разбиваясь, зазвенѣла дуга. Оксана не стала стоять болѣе и ушла.

Какими шагами, какою силою Кирила ступилъ и сталъ на дверяхъ той маленькой комнатки, куда онъ до того не входилъ и не заглядывалъ!

Настасья Дмитревна сидѣла одна на постели—или нѣтъ: уже болѣе не одна... У Кирилы страшное рыданіе вырвалось изъ груди. По одну сторону на кровати лежалъ ребенокъ; по другую, которая оставалась свободною, Кирила припалъ къ женѣ и плакалъ такъ, какъ человѣкъ дважды не плачетъ въ своей жизни.

— Кирила Петровичъ! ты лучше убей меня, но не плачь ты на сердцѣ у меня! сказала Настасья Дмитревна, отнимая и вмѣстѣ прижимая его голову къ своей груди.—Насъ теперь двое передъ тобою. Вели намъ живымъ въ гробъ лечь, мы передъ тобою ляжемъ.

Кирила оторвался, страшно наплакался и всталъ. Бѣлый какъ полотно, онъ стоялъ на земли и, казалось, доставалъ звѣзды.

— Дай мнѣ дитя! сказалъ онъ...

Что-то какъ испугъ и недоумѣніе прошло по лицу и стало въ сердцѣ несчастной молодой матери.

— Дай мнѣ свое дитя! повторилъ мужъ.

— Что тебѣ въ немъ, Кирила Петровичъ?... Казни насъ, коли казнишь, и милуй, коли милуешь, но обоихъ вмѣстѣ.

У Кирилы какой-то сердечный порывъ, какъ свѣтъ, засвѣтился по лицу.

— Мало ли ты наказалася, что ты и еще казни просишь? Настасья Дмитревна, дай мнѣ свое дитя! сказалъ онъ.—Что ты мнѣ боишься ангельскую душу младенца на руки дать?

Настасья Дмитревна подала младенца.

Стоять она не могла и сидѣла, всей жизнью любви и все еще не разсѣянной тревоги сосредоточась въ глазахъ.

Кирила взялъ ребенка, взялъ его на свои руки...

— Вишь онъ великанъ какой лежитъ! А что тоски смертной, что сердце изныло и душа согрѣшила, знать онъ не понимаетъ того!

Кирила наклонился надъ нимъ и поцѣловалъ — поцѣловалъ его.

— Возьми, мать! Корми, рости сына...Слышишь, Настасья Дмитревна? — *моего* сына.

Вся поднявшись, съ ребенкомъ на рукахъ, и поднимая руки и своего ребенка, Настасья Дмитревна хотѣла было упасть на колѣна и поцѣловать ноги ему.

— Дай же мы до земли тебѣ поклонимся! выговорила она.

Но Кирила не далъ ей поклониться до земли.

— Коли ты мнѣ станешь до земли кланяться, а Богу мы съ тобою какъ поклонимся, Настасья Дмитревна?—Усадилъ онъ ее и самъ возлѣ сѣлъ на кровати.

Вся обновленная, какъ въ день Воскресенія, съ *его* ребенкомъ на колѣнахъ и сама склоняясь на колѣни къ нему,—Кирила Петровичъ—проговорила Настасья Дмитревна. Одинъ Богъ милосердый можетъ больше дать, чѣмъ ты далъ мнѣ... Но дай же ты мнѣ послѣднее, чтобы я жила-помнила и умирала-не забыла, и на томъ свѣтѣ, чтобы въ раю Божьемъ я вспоминала этотъ день—Кирила Петровичъ, поцѣлуй ты меня, Христа ради!

ДАВНЯЯ ВСТРѢЧА.

ДАВНЯЯ ВСТРѢЧА.

МАЛЕНЬКОЕ ВОСПОМИНАНІЕ.

Оно возвращаетъ меня къ самымъ первымъ годамъ моего выхода изъ института. Идіотизмъ монастырски-заключеннаго, отрѣшеннаго отъ всякой жизненности, воспитанія еще не разсѣеваемымъ туманомъ стоялъ во мнѣ. Я боялась людей, какъ филинъ боится свѣту. Не только «противные» мужчины наводили на меня страхъ, но я «милыхъ дамъ» боялась еще болѣе. Шорохъ женскаго шелковаго платья просто наводилъ на меня трепетъ; я уничтожалась. Я не могла еще свергнуть съ себя ига тѣхъ сильно принятыхъ впечатлѣній, когда этотъ великолѣпный шорохъ торжественно слышался намъ на королевскихъ, большихъ и малыхъ выходахъ нашей институтской начальницы, и, вмѣстѣ съ ея голосомъ и жестомъ властительной руки, онъ замораживалъ намъ дѣтскую горячую кровь, и мы блѣднѣли и тупѣли до идіотства. Но если страхъ былъ моимъ главнымъ, властвующимъ чувствомъ этого времени, то страстью у меня было чтеніе. Я зачитывалась до неприличія, до забвенія всѣхъ условій свѣтскости благовоспитанной дѣвицы и еще институтки. Въ ту пору я готова была вѣрить, что существуетъ какая-то таинственная связь между мною и всякой книгою, что и книгу точно также тянетъ ко мнѣ, какъ меня къ книгѣ. Гдѣ бы мнѣ ни случалось быть, но когда я входила въ комнату, первое, что я

видѣла — это книгу, если, по счастью, она была тамъ. Ни сна, ни пищи, ни воздуха, ничего въ мірѣ мнѣ не нужно было, — пусть бы только у меня была книга! Но любя съ такою силою, я съ тѣмъ вмѣстѣ любила съ дѣтскимъ благоговѣніемъ книгу. Лечь въ постель и читать, я никогда не позволяла себѣ такого неуваженія передъ книгою. Я почти сидя не читала. Разложить книги и стать передъ ними на колѣни, это было мое наслажденіе въ чтеніи. Но удовлетворять такому высокому наслажденію въ степи, въ уединенномъ хуторкѣ, не легко было. Если бы мнѣ кликнули кличь: что за горами—за долами, вмѣсто золотыхъ яблоковъ геспередскихъ садовъ да есть тамъ книги, я бы пошла, въ баснословное время, добывать ихъ, во власти какого бы Горыныча-Змѣя ни хранились онѣ! Но, увы! и безъ того достать книгу было для меня почти тоже, что сорвать золотое яблоко.

Но по близу у насъ была сосѣдка — если только степная сѣрая куропатка можетъ причитаться въ сосѣди къ гордому павлиньему гнѣзду. Впрочемъ гнѣздо было пусто. Одна старая пава сидѣла на немъ, разронявъ свои павлиныя перья далеко, не подъ Русскими небесами. Но у одинокой павы, нашей старой сосѣдки-дамы, были старыя книги. Меня манило къ нимъ, какъ ночную бабочку къ свѣту. Сколько разъ, бродя по огромному, отъ пустоты — эхомъ наполненному дому, я заходила далеко въ розовый кабинетъ покойнаго сына-павлина и на цѣлые часы оставалась передъ наглухо затворенными и запечатанными шкафами, въ которыхъ я знала, что были книги. Я даже видѣла ихъ: уголъ поблёклой зеленой тафты былъ немного отвернутъ и золотые заголовки книгъ смотрѣли на меня черезъ недоступное стекло! Я все ждала чуда. Мнѣ казалось несомнѣннымъ: что наступитъ время, когда эти печати сломятся, войдетъ ключъ въ замочную скважину и щелкнетъ въ ней, и эти книги, къ которымъ лѣтъ двадцать не прикасалась ни чья рука—я возьму ихъ моими руками! И я именно могла ожидать этого—только

отъ чуда. Просить у своей сосѣдки-дамы что бы то ни было, для этого я была слишкомъ робка моей институтской робостію и немножко горда, да и не такъ шелестѣло по дому ея черное шелковое платье, чтобы у меня достало духу вымолвить слово. Я все ждала чуда—и наконецъ дождалась его.

Съ обычнымъ топотомъ шестерика истинно чудныхъ, бурыхъ коней, подкатившихъ подъ наше крылечко въ степь, легкую какъ перо для нихъ, маленькую коляску, явился человѣкъ, т. е. лакей, и почти тоже съ обычнымъ докладомъ: что *Марья Ивановна приказала кланяться и приказала просить*,—но на этотъ разъ она приказала доложить, что, собираясь ѣхать къ Ольгѣ Александровнѣ и къ Катеринѣ Степановнѣ, и къ Михаилу Михалычу — «они-съ прислали экипажъ: не угодно ли будетъ поѣхать съ ними?»

Мнѣ истинно не хотѣлось ѣхать. Почти съ мѣсяцъ у меня не было никакой новой книги, никакого освѣженія на душу! Я изныла и истомилась отъ тяжкой потребности читать что-нибудь и не читать ничего...

— Но поѣзжай! хоть ты проѣздишься,—сказали мнѣ.

И нечего дѣлать, бурая шестерня повезла меня. Пріѣзжаю подъ вечеръ; вхожу въ обычно-безмолвный домъ, ступаю по затверженнымъ квадратамъ паркета на пути изъ зала въ гостиную,—все оно то же самое, застыло-величавое, только цвѣты пахнутъ и новоразмѣщенные лавры глядятъ въ потолокъ... Я взглянула передъ собою—и Господи мой! на столикѣ передъ Марьей Ивановной, гдѣ, кромѣ изуродованныхъ перчатокъ съ отрѣзанными пальцами и бронзоваго колокольчика, никогда ничего не лежало,—на этомъ столикѣ лежатъ теперь четыре книги, симметрически положенныя по двѣ въ рядъ! Я сѣла поближе къ столику. О чемъ не шли наши разговоры, какія предположенія не были на счетъ нашей поѣздки,—а мои неотвязные глаза такъ и этакъ поглядываютъ на книги. Съ молодой зоркостью взгляда я успѣла разобрать золотую потертую надпись на корешкѣ: «Les eaux»... Но, что это были за *Воды*? И что тамъ еще

далѣе было оттиснуто и стерто, до невозможности прочесть?

— Неужели Французскій курсъ какого-нибудь воднаго леченія? урывками думала я...

Но нѣтъ! въ этомъ разувѣряла меня старая Русская натура, сидѣвшей насупротивъ меня, дамы. Марья Ивановна терпѣть не могла докторовъ, и своихъ и заграничныхъ, со всѣми ихъ курсами и аптеками. Она подозрѣвала въ нихъ коршуновъ, готовыхъ наброситься на нее, какъ на богатую добычу, и когда ей случалось прихворнуть, то призывалась полечить ее собственная сельская бабка.

— Нѣтъ, это не курсъ воднаго леченія, но что же это за книга? спрашивала я себя.

Собственно Марьи Ивановны книги—всѣ сколько ихъ ни хранилось въ темномъ шкафѣ (родъ нѣкоего прибанника),— я знала ихъ по виду, могла съ закрытыми глазами распознать по осязанію и право—даже по обоянію; но это что-то вовсе незнакомое моимъ острымъ чувствамъ. Меня мучила извѣстная доля простаго женскаго любопытства и та томительная сила молодой души, которая стремила меня неудержимо къ книгамъ. Не могла же я, дѣвочка-институтка, вышколенная держаться прилично и сидѣть прямо на стулѣ, не раскладывая рукъ,—протянуть эти руки на столъ къ манившимъ меня книгамъ, и еще на почетный столъ передъ величавой шестидесятилѣтней дамою, или, того менѣе, прервать ея сухо-благоволительныя рѣчи и сказать: «Марья Ивановна! что это у васъ за книги?»

Я терпѣла до самаго вечера и весь вечеръ, и ночь до полуночи—терпѣла такъ, какъ терпѣли св. мученицы! Но у Марьи Ивановны былъ еще особенный способъ помучить. Просидѣвши въ гостиной ровно до тѣхъ поръ, пока въ залѣ столовые часы отчетливо и вѣрно, съ отзвономъ всего домоваго эха, пробьютъ двѣнадцать, и дворецкій потушитъ серебряную лампу въ столовой, — Марья Ивановна зажжетъ собственноручно низенькую стеариновую свѣчу и, какъ до-

машнее привидѣніе, въ черномъ, съ приподнятой вверхъ свѣтящей рукою, ведетъ за собою въ спальню посидѣть еще тамъ немного. На этотъ разъ силы моего терпѣнія отказались служить мнѣ. Я просто начала зѣвать.

— Ай, ай, ай, ma bien chère! Дѣвушкѣ молоденькой стыдно спать хотѣть, — благоволительно качая головою и жмурясь, вмѣсто улыбки, замѣтила Марья Ивановна и переступила два шага черезъ порогъ своей спальни, чтобы проводить меня...

— Саша! что это у васъ за книги? спросила я, очутясь у себя въ комнатѣ.

— Какія, барышня, книги? спрашивала на отвѣтъ умная и хорошенькая, расторопная и на все замѣчательная Саша, старшая горничная Марьи Ивановны.

И она мнѣ объяснила, что это вотъ какія книги: родственникъ Марьи Ивановны проѣзжалъ на дняхъ, ночевалъ здѣсь и забылъ свои Французскія книги. Если бы онѣ были Русскія, статься можетъ, Марья Ивановна и не обратила бы на нихъ вниманія; но какъ онѣ были не Русскія, а Французскія, то она дала имъ почетное мѣсто на своемъ столѣ.

Но отъ этого мнѣ было не легче: узнать исторію этихъ книгъ и не знать ихъ содержанія... Пробраться въ гостиную и похитить ихъ, не стыдясь лѣтней таинственной ночи, не было никакой возможности. У самыхъ дверей въ гостиную находился бодрствующій, неотступный стражъ, хуже всякого цербера: скрыпучая и рыпучая пластинка паркета, которую нельзя было миновать, и она, при малѣйшемъ прикосновеніи къ ней, поднимала, въ огромномъ и пустомъ домѣ, такой трескъ, какъ бы деревья съ корнями валились вокругъ и врывалась раскатомъ нежданая буря,—а еще дверь изъ спальни Марьи Ивановны обыкновенно оставалась отворенною на ночь въ гостиную.

Нечего было дѣлать. Слѣдовало ложиться спать и покориться тяжкому терпѣнію до утра. Но мнѣ и во снѣ-то, кажется, какъ и на яву, видѣлись однѣ книги.

Едва дождавшись поздняго утра барскаго дома, я была

уже на ногахъ, причесана и одѣта, и минуя цербера, я черезъ садъ пробралась на балконъ, оттуда въ боскетную и явилась въ гостиной. Съ началомъ утра дверь въ спальню Марьи Ивановны затворялась и на нее падалъ тяжелый штофный занавѣсъ... И вотъ я одна передъ книгами, на полной свободѣ отъ восьми часовъ до половины перваго! Мои горячія руки почти съ трепетомъ протянулись къ лежавшимъ книгамъ. Я раскрыла одну изъ нихъ и тотчасъ закрыла ее отъ полноты дѣтскаго, переполнившаго меня восторга. Романъ Вальтеръ-Скотта! «Сен-Ронанскія воды—Les eaux de Saint-Ronan!» Я даже ничего не слыхала объ этихъ *Водахъ*, — и я потонула въ нихъ всѣми чувствами и ощущеніями моей жаждущей души. Дежурный лакей поставилъ передо мною чай; но видя, что чашка остается простылою и не тронутою, онъ не сталъ меня безпокоить другою... Съ моей всепоглощавшей способностію пожирать книги, я успѣла прочесть первую часть романа и принялась за другую. Я почти не слыхала, били или не били часы. У меня свои колокольчики звенѣли въ ушахъ.

Неподвижная, какъ бы прикованная, не то золотыми, не то желѣзными цѣпями, я сидѣла въ своемъ читательскомъ оцѣпенѣніи. У меня рука до полу спустилась съ низенькаго кресла и отекла, совсѣмъ онѣмѣла—я того не чувствовала. Не слыхала раздающейся за стѣною, утренней воркотни Марьи Ивановны и ея высказаннаго опредѣленія не ѣхать сегодня. Не замѣчала маленькой закулисной тревоги, обыкновенно предшествовавшей появленію старой дамы на сцену въ гостиную, — какъ вдругъ струя прилившаго новаго воздуха затронула листы моей книги, тяжелый занавѣсъ зашелестѣлъ, и Марья Ивановна, съ молитвенникомъ въ рукахъ, завѣшанная оборками, по видимому никуда не смотря, но все до малѣйшаго видя—прошла и скрылась въ совершенно пустой, не жилой половинѣ дома, гдѣ она, по обычаю нашихъ старыхъ людей, совершала молитву громко, церковнымъ речитативомъ.

Я теперь слышала эти отрывчатые, долетающіе звуки.... Что мнѣ было дѣлать? Нѣтъ сомнѣнія, Марья Ивановна видѣла, что я читала книгу, — я взяла книгу со стола Марьи Ивановны безъ позволенія, безъ ея деликатнаго предложенія. Я понимала все неприличіе моего поступка; но что же мнѣ было теперь дѣлать? Неужели положить книгу такъ точно, какъ она лежала, и стараться провести зоркіе глаза Марьи Ивановны смиреннымъ видомъ ни въ чемъ небывалой невинности, погруженной въ пустую работку? Но нѣтъ! Еще въ институтѣ я ничего не умѣла дѣлать изподтишка, и если я говорила и вставала съ мѣста, когда приказывалось молчать и сидѣть на мѣстѣ, то уже не говорить, или бросаться опрометью къ своему мѣсту, заслышавши, что идетъ классная дама—это мнѣ казалось маленькой низостью... Я рѣшилась принять сполна, открытымъ лицомъ послѣдствія моего неделикатнаго поступка и читать книгу Марьи Ивановны въ ея глазахъ. И какъ я помню минуту этой дѣтски мужественной рѣшимости! Овальная голубая гостиная вся залитая золотымъ солнцемъ; слегка наведенныя тѣни полуопущенныхъ сторъ чуть легли на высокихъ лаврахъ, — по дому отгулъ совершающейся молитвы Марьи Ивановны, и въ сердцѣ что-то такое, что даетъ благословеніе и силу молодой не искушенной борьбѣ.

Марья Ивановна вошла, окончивши свою молитву. Мы помѣнялись обычными утренними фразами. Она пожаловалась на голову, сказала: que nous ne partons pas aujourd'hui — но она не взглянула на мою книгу. Напрасно я сидѣла въ двухъ шагахъ передъ нею и книга лежала на моихъ колѣнахъ, рѣзко отдѣляясь отъ бѣлаго платья,—Марья Ивановна не хотѣла видѣть оскорбленія, которое я наносила ей моимъ грубымъ поступкомъ — и она не видѣла... Я наконецъ дочитала книгу. Я нарочно встала, обѣими руками взяла книгу и положила ее на мѣсто—на тотъ самый столъ, у котораго Марья Ивановна, приглядываясь, низала какую-то церковную подизь, и она, своими шестидесятилѣтними глазами,

видѣла мелкое зерно стекляруса—и не видала меня и того, что я дѣлала у ея стола! Мнѣ стало больно...

Пусть бы она выговорила мнѣ, забыла во мнѣ молодую дѣвушку, окончившую курсъ всевозможныхъ наукъ, и обратилась бы ко мнѣ, какъ къ ребенку, съ мудрымъ наставленіемъ: «что не должно брать ни книгъ и ничего безъ позволенія,»—я бы выслушала ее со стыдомъ, но безъ гнѣва... Но это выспренняя кара, не удостоивающая ни слова, ни взгляда,—она пробуждала во мнѣ раздраженіе У меня слезы готовы были брызнуть. Могла ли эта старогордая дама заглянуть въ мою душу и увидѣть, что̀ такое она величаво карала во мнѣ? Божій пылъ души, алчущую и жаждущую тоску, которая всѣми упованіями чего-то необъяснимаго приливала къ книгѣ...

....Барышня! извините-съ, что я смѣю спросить,—спросила меня, прислуживая на сонъ грядущій, умненькая Саша. —Что это вы будто такія не веселыя?

Мнѣ не хотѣлось говорить серьёзно о своей невеселости.

— Умру, Саша!—сказала я. Собирайся хоронить меня.

— Что такъ? Помилуй Богъ, барышня!—улыбалась Саша. Отчего жъ бы это смерть приключилась?

—Оттого, что умру, Саша. Начала читать книги—чудныя книги! и дочитать нельзя, только что ложиться да умирать.

— Вотъ это, Господи! что за смертныя книги!... Я и грѣха, барышня, не побоюсь, а любехонько стащу со стола и принесу вамъ.

— Нѣтъ, Саша, пустое. Я не стану читать.

...На другой день мы выѣхали. Недочитанное произведеніе великаго романиста-художника какимъ-то чуднымъ недоконченнымъ храмомъ осталось во мнѣ. Томясь и безплодно работая повершить его собственными силами, моя дѣтская неоперенная мысль лѣпила ласточкины гнѣзда; но гнѣзда осыпались и чудное, несвершенное зданіе стояло въ глазахъ

съ какимъ-то раздражительнымъ блескомъ своихъ бѣломраморныхъ недосягаемыхъ высотъ.

Отрываясь отъ нихъ, я видѣла передъ собою дорожный мѣшокъ Марьи Ивановны и начинала думать: чего это въ него такъ много насовала Саша? Бѣда, если кропотливое вниманіе старой дамы остановится на мѣшкѣ. Она непремѣнно освидѣтельствуетъ его, и если это дорожные запасы Саши, то Саша рискуетъ своими собственными руками выбросить ихъ за окно кареты. Но Марья Ивановна, очень рѣдко выѣзжавшая, по счастью становилась въ дорогѣ разсѣянною и простодушною, какъ дитя. Смотрѣла по сторонамъ, смѣялась, узнавала, какой хлѣбъ посѣянъ въ полѣ; занималась встрѣчею мужиковъ и бабъ и пр.

На дорогѣ же мы узнали, что ѣхать къ Ольгѣ Александровнѣ и къ Катеринѣ Степановнѣ намъ не приходилось: потому что никого не было дома. А всѣ Степановны и Александровны находились собраны у одной Анны Петровны по тому случаю, что Анна Петровна показывала себя лицомъ передъ дальнею, но очень уважаемою родственницею ея покойнаго мужа.

— Ахъ, это прекрасная Софья Николавна! проговорила Марья Ивановна и рѣшила ѣхать къ Аннѣ Петровнѣ.

Мы своротили на зеленый проселокъ...

Хотя я знала исторію о *прекрасной Софьѣ Николавнѣ*, но словоохотливая въ дорогѣ Марья Ивановна повторила мнѣ ее. Какая это рѣдкая, можно сказать, удивительная женщина! Трехъ дочерей сама прекраснѣйше воспитала. У нея гувернантки не было въ домѣ. Русская старушка-няня и она сама. Когда дѣвочки стали подростать, она переѣхала съ ними въ Х..., пригласила учителей на домъ давать уроки и сама неотступно, каждое утро, посвящала себя занятію дѣтьми. Вице-губернаторша пріѣхала съ визитомъ, и она не приняла ее, сказала, что утрами она не можетъ принимать посѣтителей: потому что она занята дѣтьми, сама даетъ уроки дочерямъ... И это въ такое время, когда о подобномъ исполненіи ма-

теринскихъ обязанностей ни слуху, ни духу у насъ не было!...

Мы пріѣхали.

Неожиданный пріѣздъ Марьи Ивановны произвелъ взрывъ громкаго удовольствія въ очень громкой на языкъ Аннѣ Петровнѣ. Я была довольно разумна, чтобы малѣйшую часть этой шумной встрѣчи принимать на свой счетъ. Прежде, чѣмъ увидѣть «прекрасную Софью Николавну», я уже увидѣла какую-то оборванную книгу, жалостно торчавшую однимъ бокомъ съ этажерки и заваленную шейной косынкою, нотами и еще чѣмъ-то, въ родѣ мужской папахи... Наконецъ и Софья Николавна явилась моимъ робкимъ взорамъ. Я ее страхъ боялась по слуху. Всѣ эти совершенства въ шелку и шаляхъ казались мнѣ такими неприступными высотами, попирающими меня съ моими несовершенствами, что мнѣ лишь бы затаиться отъ нихъ, — я ничего болѣе не желала. И я уже совершенно не помню: какимъ способомъ та жалостная книга высвободилась изъ своей засады и очутилась въ моихъ рукахъ?

Я сидѣла въ гостиной и на первыхъ порахъ у меня ставало маленькой сообразительности о соблюденіи должныхъ приличій. Я небрежно, какъ бы съ позволительной разсѣянностію отъ нечего дѣлать, начинала перелистывать книгу; но небрежничать съ книгою мнѣ долго не приходилось. На пяти, шести страницахъ она полновластно овладѣвала мною. Все окружающее меня я начинала видѣть, какъ сквозь сонъ, а подъ часъ и ничего не видѣть, но съ тѣмъ вмѣстѣ у меня пробуждалась какая-то нервная внутренняя чуткость. Я могла не слыхать обстоятельно словъ разговора и понимать его смыслъ. Чей нибудь пристальный взглядъ производилъ на меня не то электрическое, не то магнетическое дѣйствіе; но онъ бывалъ для меня совершенно тѣмъ же, чѣмъ бываетъ легкій стукъ для глухонѣмаго. Можно кричать надъ самымъ его ухомъ, онъ ничего не услышитъ; но только слегка стукните

пальцемъ о столъ—глухонѣмой чутко пробуждается и оборачивается къ вамъ ..

То же самое на этотъ разъ случилось и со мною.

Я зачиталась до полнаго неприличія — до совершеннаго забвенія: гдѣ я и что̀ есть вокругъ меня? — какъ вдругъ я почувствовала, что на меня смотрятъ, и почувствовала также сознательно и просто, какъ бы взглядъ былъ что-то внѣшне-ощутимое, какъ прикосновеніе. Въ невольной какой-то отвѣтственности, я сама подняла глаза и встрѣтилась съ пристальнымъ взглядомъ на меня Софьи Николавны. Въ первое неуловимое мгновеніе у меня промелькнула мысль: что̀ она подумаетъ обо мнѣ? Такъ прекрасно воспитавшая своихъ дочерей, подумаетъ: какъ дурно воспитана эта молодая дѣвушка! Но разъ отдавшись омуту зачитыванья, я въ немъ теряла на половину страховъ моей институтской робости. Я приняла взглядъ Софьи Николавны и продолжала читать. Софья Николавна, чрезъ нѣсколько времени, прошла мимо меня, и хотя я не могла видѣть позади себя, но я почувствовала, что она слегка заглянула въ мою книгу...

На томъ окончились мои впечатлѣнія дня.

На ночь мы были размѣщены довольно тѣсно. Даже Марья Ивановна не имѣла особой комнаты и мы съ нею занимали мужской кабинетъ. Впрочемъ мужскаго тамъ былъ только рогъ какого-то единорога, торчавшій на стѣнѣ.

— На что *это* бережетъ наша милая Анна Петровна! — немножко улыбаясь единорогу, замѣтила Марья Ивановна и обратилась къ своей Сашѣ.—Повѣсь сюда мой капотъ... Ты сама ничего не видишь! На все тебѣ надобно указать, Веприцкая Саша!

Саша Веприцкая, очень смиренно слѣдуя указаніямъ и развѣшивая на единорогѣ капотъ, вдругъ наклонилась ко мнѣ и шепнула: «*подъ подушкою, барышня!*»

Что такое *подъ подушкою?* не понимала я.

Но нельзя же было въ присутствіи Марьи Ивановны входить въ секретные разговоры съ ея горничною. Мы съ са-

мой Марьей Ивановною еще съ часъ мѣста переливали изъ пустаго въ порожнее; наконецъ, слава Богу! успокоилась на подушкѣ голова...

— Ба! а что у меня подъ подушкою? — вспомнила я. О чемъ это шептала Саша?

Я любопытно подложила руку подъ подушку и, кажется, не вынула ее оттуда. Тамъ лежали книги. Саша исполнила свое слово....

— Милая, негодная Саша! шептала я....

Вся неутоленная жажда—вся красота неповершеннаго зданія, начинавшая застилаться, ново просіяла въ глазахъ!

Нечего говорить о томъ, какъ нетерпѣливо долго тянулась для меня короткая лѣтняя полуночь. Я засыпала и безпрестанно просыпалась въ тревожномъ ожиданіи и боязни проспать раннюю пору занимающагося дня. *Четыре часа* наконецъ разбудили меня своимъ рѣзкимъ въ утренней тишинѣ боемъ. Легкая и осторожная, захвативши все, что мнѣ было нужно, я ускользнула изъ комнаты, не потревожа чуткой старческой дремы Маріи Ивановны. Оставаться въ домѣ мнѣ не хотѣлось, тѣмъ болѣе, что я извѣдала запущенность и уединенность сада Анны Петровны. Съ полными руками книгъ, никѣмъ не встрѣчаемая, я скоро очутилась у подгнившей скамейки, на которую опасно было сѣсть, чтобы не обрушиться въ рѣку; но на нее славно было положить книгу и по дѣтски стать на колѣни въ зеленыхъ кустахъ.— Я зачиталась. Напрасно рѣка съ своимъ ропчущимъ гуломъ, можно сказать, почти протекала въ моихъ ушахъ—я ее не слышала. Солнце уже перевысило деревья и его подогрѣвающіеся лучи не думали щадить мою горячую голову; но я и объ нихъ не думала. Я только видѣла досадныя трепетныя тѣни древесной листвы, которыя набрасывались на листы моей книги и мигали по ней, мѣшая мнѣ читать.... Наконецъ и Саша явилась помѣшать мнѣ.

Выслѣдивши меня, какъ любаго краснаго звѣря по росѣ и по мятой травѣ, она пришла со всѣми принадлежностями

туалета чесать и одѣвать меня. Я отдала себя въ полное распоряженіе Саши и продолжала читать. Я уже окончила одну книгу и принялась за другую, послѣднюю.... Страницы у меня горѣли подъ глазами. Я какъ-то однимъ, обнимающимъ взглядомъ читала первыя строки и уже видѣла, что написано въ послѣднихъ. У меня духъ захватывало.... Саша ушла. Дятелъ долбилъ у меня надъ головою старый сукъ, и трухлая древесина, отскакивая, падала на книгу и на меня — я читала. Оторваться отъ книги на столько времени, чтобы поднять глаза вверхъ и однимъ движеніемъ руки спугнуть досадную птицу — у меня не ставало силъ. Но и дятелъ слетѣлъ. Надолбился онъ и пересталъ долбить; а я все читала. Жадно дочитываясь конца — вдругъ неожиданная помѣха: прекрасная роза, вся въ росѣ, какъ въ серебрѣ, откуда-то упала мнѣ на книгу. Я въ разсѣянности оглянулась и, никого не видя, продолжала читать.... Я вся была не своя. Я переживала послѣднія мгновенія охватившей меня поэтически созданной жизни, ея послѣднія рвущіяся струны были мнѣ въ сердце—и мнѣ даже роза не пахла!

На эту розу, на книгу, которую я еще держала и дочитала, падали тѣ дѣтскія, или великія слезы (кто какъ назоветъ ихъ), которыми плачетъ на порогѣ творческаго рая великій младенецъ, человѣческая душа.... Я встала, но я еще не могла идти и прислонилась къ дереву. Въ ногахъ и въ головѣ у меня не было того устоя, съ которымъ бы можно было явиться въ гостиную. Наконецъ я тихо пошла; но едва я ступила два шага — ко мнѣ изъ кустовъ тихо выступила Софья Николавна.

— Извините меня, Бога ради! сказала она Я ждала, покуда вы окончите.

И не дожидаясь отъ меня отвѣта, она взяла меня за обѣ руки и начала говорить съ привѣтливостію чего-то матерински-нѣжнаго и дружески-милаго, какой то такой любви, ласкающей и тепло заглядывающей въ душу,—что моя немножко гордая дикость не устояла передъ Софьей Николавною.

Тонко разгадывая, что болѣе всего должно было непріятно затронуть во мнѣ ея неожиданное появленіе, это именно то: что я имѣла у себя досмотрщицу, когда я думала быть однимъ одна и забывала самоё себя, — Софья Николавна именно на этомъ искала успокоить меня и завѣряла всѣми увѣреніями своей привѣтливой ласки, что она не позволила себѣ грубаго любопытства,—что, отдавъ мнѣ свою розу, она скрылась и ожидала терпѣливо меня.

— Но вы, можетъ быть, не повѣрите моему терпѣнію? Такъ вѣрьте же! сказала Софья Николавна. Мнѣ нечего было смотрѣть на васъ. Я видѣла *себя* точно также зачитывающуюся и потерявшую голову отъ романовъ, и мнѣ именно захотѣлось вамъ сказать что-то, немного — если вы позволите.

Но умная и прекрасная Софья Николавна хорошо понимала, что для меня еще не наступила минута слушанія чего бы то ни было, хотя бы немногаго,—и она заставила меня самоё разговориться. Я отвѣчала на ея прямые, немножко пытливые вопросы: что̀ я читаю и какъ я читаю (впрочемъ это она видѣла), и какія книги я особенно люблю почитать, и какой у меня есть выборъ книгъ?

Однажды, спугнувши съ себя, какъ ночную птицу, свою задичалую робость, я уже говорила совершенно свободно: что книги я читаю *всякія*, отъ Георга Милорда Англійскаго до романа Вальтеръ-Скотта, что выбора книгъ у меня никакого нѣтъ и быть не можетъ; что эти самыя книги, надъ которыми она застала меня,—я совершаю цѣлый рядъ преступленій, читая ихъ; что онѣ у меня просто краденыя и что я, наконецъ, вовсе не считаю ихъ такими... А считаю ихъ Божьимъ зерномъ въ родѣ того, какимъ Провидѣніе питаетъ птицъ небесныхъ, а *какъ душа тоже небесная птица*— не кончила я и спросила Софью Николавну: что̀ она мнѣ хотѣла сказать?

Софья Николавна взяла меня за руку, ничего не говоря, но, по видимому, о чемъ то раздумывая.

— Да, я хотѣла — я очень хотѣла... И вы меня послушайте. Сядемъ гдѣ нибудь, сказала она.

Но сѣсть было больше негдѣ, какъ прямо на травѣ.

...Я вамъ разскажу—начала Софья Николавна —немножко о себѣ.—Я росла богатою сиротою, слѣдовательно своевольною, безъ призору, на рукахъ Француженки, содержательницы пансіона, и моей няни *Плакиды*, которую такъ называли потому, что она была *Евстафьевна* (*). И отца своего я совсѣмъ не помню, но матушку какъ сей часъ вижу... Высокая и прекрасная, въ собольей шубѣ, она дала мнѣ подержать свою бѣлую лебяжью муфту; а сама одной рукою утираетъ свои заплаканные глаза, а другою вмѣщаетъ мою голову въ преужасной формы чепецъ—капоръ ли, настоящій сморщокъ... Ухъ! теперь душно. У лежанки няня Плакида голоситъ и причитываетъ, какъ по мертвому: «Свѣтъ ты мое дитё, Софья Миколаевна!» Тетушка-покойница съ отцовой стороны крестится, молится: «Мать Пресвятая Богородица! помилуй ее!» и по немножку толчетъ меня въ спину, приговаривая: «да стой, козлище! уймись ты, коза Брянская!» Потому что я, истинно какъ коза, не постою на мѣстѣ—верчусь, протягиваю руки то къ своему старому любимому Жучку, то къ полудюжинѣ тетушкиныхъ кошекъ, цѣлымъ рядомъ унизавшихъ лежанку. Вокругъ, въ сѣняхъ и въ дверяхъ, у замочной скважины—у дырочки, которую я провертѣла шпильками и булавками, чтобы посмотрѣть: что дѣлаетъ, такъ долго не ложась, тетушка?—всюду и отовсюду выглядываютъ головы, свѣтлѣются глаза, слышится глухой ропотъ сожалѣнія.... Мнѣ десять лѣтъ и меня матушка везетъ верстъ за двѣсти учиться въ пансіонъ. Только я и видѣла матушку!—Что я тамъ учила, какъ меня учили? Не спрашивайте меня. Я только знаю, что у меня были большія музыкальныя способности и что я танцовала pas de deux à merveille.

Вотъ все, что мнѣ осталось отъ золотаго дѣтства! Болѣе

(*) Извѣстенъ въ Церкви св. мученикъ *Евстафій Плакида*.

у меня нѣтъ никакихъ воспоминаній. Я не бѣгала, не играла, не росла по дѣтски—я жадно читала романы. Въ тринадцать лѣтъ у меня перебывало ихъ съ сотню. Я выучилась по-французски, какъ Француженка, чтобы читать безъ перевода; я бросилась бы головою въ колодезь, если бы мнѣ сказали, что на днѣ романъ. Покойница матушка обезпечила мнѣ совершенно исключительное положеніе въ пансіонѣ. У меня съ нянею была своя особая комната и я должна была обѣдать вмѣстѣ съ мадамъ д'Ескарьё (*Искаріотка*, какъ звала ее няня). Изъ года въ годъ, опекуны, за дорогую плату, продолжали покупать мнѣ великое удобство затхлой каморки и отвратительный обѣдъ хищнически-жадной Француженки, которая, при своихъ водянистыхъ супахъ и entre-mets, возбуждавшихъ тошноту, находила еще способъ—почти круглый годъ не давать мнѣ куска жаркаго.

Моя дѣтски неразумная страсть къ чтенію обратилась въ доходную статью, которую моя достойная воспитательница разработывала со всѣмъ безстыдствомъ, жадностью и наглостью чужеземной пройдохи. Мадамъ д'Ескарьё en personne доставляла мнѣ романы. Вся сумма, которая высылалась опекунами на мое содержаніе, шла черезъ ея руки и вся оставалась въ ея рукахъ. Я ходила въ истасканныхъ до-нельзя платьяхъ и въ починенныхъ нянею башмакахъ. Цѣною своихъ платьевъ, башмаковъ, перчатокъ—всего, что дорого и мило, какъ сама молодая жизнь, молоденькой развивающейся дѣвочкѣ,—я платила всѣмъ своей Француженкѣ за романы. Обобравъ меня до послѣдняго мѣднаго гроша, она съ геніальной изобрѣтательностію предлагала мнѣ читать романы за *жаркое*. Я соглашалась безпрекословно, и тощая, почти нищенски одѣтая дѣвочка, я сидѣла за ея столомъ, когда нѣжный другъ мадамъ д'Ескарьё и сама она en famille, съ французскимъ жаднымъ апетитомъ, лакомились кусками rôti, — моя няня Плакида ставила передо мной тарелку съ книгою и говорила: «кушай, сударыня, свое жаркое.» Мнѣ нравился печальный сарказмъ няни и я, ничуть

не отказываясь, читала романы за столомъ. У меня свѣчки не было, чтобы вдоволь почитать ночью. Разсчетливость моей французской дамы едва снабжала меня маленькимъ огаркомъ... Я выпрашивала у няни восковые огарки ея старчески-трудовой богомольной свѣчки передъ образами. «Что ты, сударыня? Христосъ съ тобой!» — ужасалась моя Плакида Евстафьевна мысли отдать мнѣ—читать богопротивныя книги — святую свѣчку, которая теплилась передъ Спасомъ и Заступницею Милосердою, и передъ Угодниками святыми! Но она отдавала. «Возьми, сударыня, да не забывай Бога,» говорила няня. «Крестъ-то на себя наложи.» Я накладывала на себя крестъ въ угоду няни и протягивала руку къ огарку. Мнѣ и въ голову не приходило видѣть что-либо глубоко трогательное въ этой старухѣ, лишенной всего ради меня— лишенной теплаго угла ея старческой лежанки и облюбившей себѣ мѣстечко на сундучкѣ въ ногахъ моей кровати. Поникая тяжелой старой головою передъ необузданнымъ пыломъ молодой моей головы, няня никогда не хотѣла лечь спать, покуда я не ложилась, — и сидѣла она, глядя и не глядя на меня, чуть перебирая спицы чулка и мѣшая вмѣстѣ дрему и воркотню на меня, и неустающій шопотъ: «Господи Іисусе Христе...»

Такъ мнѣ исполнилось шестнадцать лѣтъ. Не смотря на всю грязь французскихъ романовъ, я была мечтательна, какъ Нѣмка. Баллады Жуковскаго заставляли меня бредить на яву. Ихъ сладкое томленіе, неопредѣленность чего-то увлекающаго душу, туманно-свѣтлаго,—грусть, поэзія, обступали меня возносящимъ облакомъ поверхъ всей моей болотной тины. Но благотворное воспитаніе было кончено. Я—сирота безъ отца, безъ матери, поступаю во владѣніе старой тетки, старой дѣвушки, которая и въ Рождество не ѣстъ мяса, которая кладетъ до полночи земные поклоны, до безумія боится мышей и каждую весну собираетъ вокругъ себя полкъ и отправляется куда нибудь по близу пѣшкомъ на богомолье.. Я рѣшила, что жизнь моя самый плачевный романъ, что я

принадлежу къ числу тѣхъ людей, надъ которыми со дня рожденья и до гробовой доски видимо тяготѣетъ рука судьбы.

Въ этой увѣренности засталъ меня день отъѣзда изъ пансіона. Тетушка не показывалась въ многолюдныя собранія, и взять меня пріѣхала наша сосѣдка, насмѣшница и говорунья, которая безпрестанно твердила мнѣ: «Ваша рѣчь впереди...» Мы выѣхали подъ вечеръ и въ догонку намъ нашла гроза — дождь: кучеръ сбился съ дороги, попалъ въ лѣсъ. Мы завязли межъ деревьями—все, какъ нельзя лучше, отвѣчало моимъ грезамъ. Только я ждала разбойниковъ, ждала избавителя—слышала даже свистъ въ лѣсу; но, увы! ни *онъ* и никто не явился. Мы сами, безъ посторонней помощи, высвободились изъ своей засады и продолжали путь. Такъ вытравили романы во мнѣ всякое живое дѣйствительное знаменіе родной настоящей жизни, что я не узнала даже своей деревни—не узнала отцовскаго дома, хотя онъ былъ все тотъ же и также смотрѣлъ на меня въ рядъ своими большими окнами, и еще гуще прежняго былъ усѣянъ голубями. Тетушка выбѣжала на встрѣчу... Въ торопяхъ, въ радости, она забыла, что сама мѣсила для меня какіе-то крендельки, — руки въ тѣстѣ, посѣдѣлые волосы выбились изъ чепца, развиваются; тетушка съ радостнымъ крикомъ бросается ко мнѣ... Моя дряблая романтическая природа не вынесла силы простаго чувства—мнѣ сдѣлалось дурно.

Когда я открыла глаза, на груди у мена была икона, въ головахъ святая икона; тетушка стояла на колѣнахъ передъ иконами и твердила, ломая руки: пусть она живая ляжетъ въ гробъ, только бы я воскресла! Здѣсь было что-то такое забытое... какое то благоуханіе святости и любви, которое поразило меня. Я не устояла противъ дѣтскихъ восторговъ тетушки и сама обняла ее, не смотря на тѣсто, на табакъ и романы. Но на этомъ дѣло и кончилось. Я выбрала себѣ самую отдаленную комнату въ садъ, обила ее чернымъ, развѣсила бѣлые занавѣсы по окнамъ, разбросала по угламъ книги, и зажила, какъ избранная героиня мечтательнаго ро-

мана. Ложилась спать, когда другіе вставали, и вставала, когда люди ложились. Къ величайшему огорченію тетушки, я почти ничего не ѣла, молчала, вздыхала. Я хотѣла быть жертвою и была властелинкою.

— Сонюшка! а, Сонюшка!... начинала увѣщательно тетушка.

— Что вамъ угодно? спрашивала я.

— Я за тебя Богу молюсь, Сонюшка! отвѣчала тетушка торопливо и уходила прочь.

Домъ нашъ изъ дѣдовъ и прадѣдовъ былъ уважаемъ въ сосѣдствѣ; тетушку всѣ чтили за святость ея жизни; я была невѣста изъ первыхъ — къ намъ начался пріѣздъ; тихая жизнь богомолки нарушилась, но моя — очень мало. Я почти ни къ кому не выходила, почти не выѣзжала. Меня нашли очень скучною, очень блѣдною; но тогда былъ вкусъ таковъ — и мужчинамъ я нравилась моими мечтательно-задумчивыми глазами. Наступила зима; но и съ морозами романтическая моя дурь не вымерзла. Въ одномъ платьѣ, съ открытою головою являлась я на сугробѣ — вѣтеръ разбивалъ мнѣ волосы, выжигалъ глаза. Я все чего-то смотрѣла въ даль, чего-то ждала— я заболѣла. Тетушка молилась и плакала, плакала и молилась, и не знала, на что ей рѣшиться? Оставалось одно средство: выдать меня поскорѣе замужъ...

Когда мнѣ совсѣмъ полегчало, тетушка сѣла на моей кровати и послѣ безчисленныхъ предложеній: не хочу ли я того-то и того то — ушицы съ окунями и пирожковъ съ вареньемъ?—тетушка перекрестилась и вымолвила.

— Сонюшка! а тебѣ, матушка, женихи хорошіе находятся·

— Что вы говорите?.. сказала я, приподнимаясь.

— Ничего, дитя мое! не вставай, моя крошечка... Хорошіе тебѣ, Сонюшка, женихи находятся.

— Я не пойду замужъ,— рѣшила я и опустилась въ подушки.

— Такъ убей же меня однимъ разомъ! заговорила тетушка.

Не высасывай мою кровь по капелькѣ! Не мучь ты меня прежде суда Господня, напредъ огня и жупела!

Тетушка пришла на конецъ своего крайняго терпѣнія и высказала мнѣ всю свою любовь и всѣ мои дурачества.

— Кто женихъ вашъ? Говорите! спросила я.

— Семенъ Андреичъ... Сонюшка! Семенъ Андреичъ.

— Подите. Дайте мнѣ вздохнуть... Я пришлю отвѣтъ... Я задыхалась.

— Семенъ Андреичъ! Семенъ Андреичъ! который съѣлъ при мнѣ цѣлую котлету—который едва намекнулъ мнѣ про свою любовь! И онъ сватается, не зная моихъ чувствъ! безъ объясненія *на колѣнахъ*... Это не благородно — это низко! Это по-мужицки.

Я плакала.

— Семенъ Андреичъ!... И его будутъ называть *Семенушка*, какъ меня *Сонюшка?* Семенушка!.. Не хочу, не пойду!...

Я думала идти въ монахини. Но мое романтическое помѣшательство имѣло пунктъ: быть всегда лицомъ страдательнымъ—*жертвою*... Чего же лучше? Я выхожу замужъ по принужденію за человѣка котораго я не люблю — котораго я ненавижу... Да! ненавижу. Семенушка!

Романъ мой принялъ свой трагическій характеръ.

Я взяла бумагу, выкрала изъ какой-то книги виньетку увядшихъ розъ и написала въ срединѣ большими готическими буквами: «*согласна*». Нарисовала внизу тухнущую лампаду, какой-то разбитый сосудъ: запечатала черною печатью и торжественно черезъ няню отправила къ тетушкѣ. Не замѣчая вовсе смысла моихъ трагическихъ аллегорій, тетушка въ радости поспѣшила ко мнѣ; обнимала, цѣловала меня, сказала: «что я ее по гробъ утѣшила», — хотя я рѣшительно объявила что не только свадьбы, а даже помолвки не бывать до Свѣтлаго праздника. Пришелъ праздникъ; насъ помолвили. Я нашила себѣ бѣлыхъ платьевъ, завила всѣ волосы, распустила ихъ большими кольцами по

плечамъ и отправилась бродить по рощамъ, по кладбищамъ, по пустырямъ... Деревня поднялась: Кто говорилъ, что видѣлъ русалку — «такъ волосище-те и колышутся!» Другой видѣлъ вѣдьму. «На зори да на мѣсяцъ глядитъ, да вымовляе--вымовляе: причитанье свое бѣсовское творитъ..» Такъ позволили величать мои поэтическія воззванія къ лунѣ, къ звѣздамъ — мои бесѣды съ облачками, съ перелетными вѣтерками!..

На другой день свадьбы я распустила локоны еще длиннѣе, надѣла платье—если можно сказать—еще бѣлѣе, перетянулась черным поясомъ и явилась къ тетушкѣ, какъ смерть за душою. Покойница всплеснула руками.

— Сонюшка, Сонюшка! погубишь ты себя! А все эти проклятыя книги-романы. Попроси, я дамъ тебѣ книгу... Возьми ее, Сонюшка! возьми, дитя мое—возьми мою книгу!

Тетушка, кажется, готова была цѣловать мои руки.. Я взяла книгу и вышла. Въ дверяхъ мнѣ встрѣтился мой нареченный мужъ. Я отдала ему книгу, прося подержать, что она моя, и отправилась на кладбище.

Между тѣмъ Семенъ Андреичъ (и вы не подумайте, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ былъ *Семенушка*, говорила мнѣ Софья Николавна. Онъ былъ кандидатъ Московскаго Университета)—Семенъ Андреичъ настоялъ на томъ, чтобы мы въ тотъ же день ѣхали въ его имѣніе. Я завернулась въ шаль и прижалась въ самый уголокъ кареты.

— Софья Николавна!. *Софья Николавна!* принужденъ былъ повторить Семенъ Андреичъ, чтобы возбудить во мнѣ малѣйшій признакъ вниманія:—взгляните, пожалуйста. Нравится вамъ эта карета? Если не нравится,—я перемѣню ее.

— Что это у васъ за книга?—спросила я.

— Это ваша книга — Евангеліе — что вы дали подержать мнѣ.

— А! это подарокъ тетушки...

Слегка насмѣшливый тонъ моего голоса вызвалъ немного серьезный отвѣтъ Семена Андреича:

— Любя васъ такъ, тетушка ничего лучше не могла подарить вамъ, сказалъ онъ.

— И въ самомъ дѣлѣ! Кромѣ старой изорванной книги.

— Софья Николавна!.. съ укоромъ и почти испуганно проговорилъ Семенъ Андреичъ и, взявъ меня за обѣ руки, онъ смотрѣлъ на меня, тоскующій и изумленный.

— Семенушка! шептала я...

Судите по этому обо всемъ.

Между тѣмъ тетушка, оставшись на свободѣ, горько поплакала, помолилась и вдругъ почувствовала въ себѣ такую силу, такую рѣшимость, что забрала всѣ мои книги — всѣ до одной... сожгла и пепелъ развѣяла. Собственной рукою потрясла за вихоръ мальчика, который осмѣлился печь картофель на такомъ ядовитомъ огнѣ!—И я также распоряжалась по своему. Въ саду стояла вышка. Я приняла ее за башню. Сказала Семену Андреичу, чтобы ее оправили, убрали. Семенъ Андреичъ принялся ревностно хлопотать; а я съ вечера еще приказала нянѣ, чтобы она чуть свѣтъ отправила человѣка за моими книгами. Жду — жду съ нетерпѣніемъ, жду цѣлый день и вдругъ получаю записку: «*Не жди, матушка: сожгла и прахъ развѣяла*».

«Я вскрикнула настоящимъ, вырывающимся изъ души воплемъ; потомъ помертвѣла, потомъ у меня начались рыданія, схватила меня истерика—думали, что я умираю. Перепуганный Семенъ Андреичъ послалъ за докторомъ. Пока привезли доктора, я успѣла немного прійти въ себя и заперлась въ своей комнатѣ. Доктора я не приняла, высылая сказать, что я здорова; а когда уѣхалъ докторъ, я отказалась видѣть Семена Андреича, объявляя, что я больна.

«Два дня я пролежала въ постели. Чтеніе стало не только умственной, а какой-то механической потребностію моей жизни. Я истинно не могла заснуть, не могла проглотить кусочка хлѣба, не почитавши книги; а теперь у меня всѣхъ книгъ—одно тетушкино Евангеліе! И оно безпрестанно попадалось мнѣ на глаза. Подойду ли я, слабая и изнеможенная,

къ зеркалу, чтобы немножко посмотрѣть: такъ ли разметались мои локоны, какъ прилично гонимой невинности? Евангеліе здѣсь передо мною въ зеркалѣ. Я прохожу широкими растворенными дверями изъ гостиной въ залу и не могу уйти отъ него — Евангеліе прямо въ глазахъ моихъ лежитъ на столѣ....

Со мной сталося какой-то странный горячечный бредъ. Всюду бродя и нигдѣ себѣ не находя покоя, я отправилась въ свою башню, т. е. на вышку. Вокругъ все пусто, хотя убрано въ цвѣты и въ ковры; но нѣтъ ни одной книги — а тетушкино Евангеліе будто развертывается передо мною. Я вижу его полныя страницы; буквы, какъ золотыя, горятъ мнѣ въ глазахъ и я начинаю слышать, что онѣ зовутъ меня: «къ намъ! сюда! читать, читать!...» Себя не помня, я бросилась въ домъ, схватила Евангеліе и очутилась съ нимъ въ саду.

Три дня я ничего не читала, не держала книги въ рукахъ, и никогда голодный, не ѣвшій, не пившій три дня, такъ не дрожалъ надъ кускомъ хлѣба, какъ я дрожала надъ тетушкинымъ Евангеліемъ! Оно лежало у меня на колѣнахъ, и съ минуту я не могла дотронуться къ нему, раскрыть его... Когда я откинула тяжелый переплетъ и передо мною явились строки — я не знаю, что со мною сталось? Вся охваченная какимъ-то порывистымъ движеніемъ восторга, я читала и читала. Я едва ли понимала что̀ — я только чувствовала блаженство читать!

.... Вдругъ я очнулась и слышу: *«Каждый, кто слышитъ эти Мои слова и поступаетъ по нимъ, Я уподобляю его человѣку разумному, который построилъ свой домъ на камнѣ. И пошелъ дождь, и выступили изъ береговъ рѣки, и подули съ силою вѣтры и устремились къ дому тому — и онъ не разрушился: потому что былъ основанъ на камнѣ. И каждый, слушающій эти Мои слова и не поступающій по нимъ, сравнится съ человѣкомъ безумнымъ, который построилъ свой домъ на пескѣ. И пошелъ дождь и выступили*

изъ береговъ рѣки, и подули съ силою вѣтры, и приразились къ тому дому—и онъ палъ, и было разрушеніе его велико...»
Гдѣ я? что это за слова? что за сила въ нихъ? Такъ и уноситъ душу! Я бросилась вверхъ страницы—не полно; я перекинула листъ—еще и еще—и очутилась у подножія на горней проповѣди Спасителя.

Мнѣ было жарко и потомъ стало холодно до дрожи. Слово о *блаженствахъ* поразило меня. Но мало по малу холодъ началъ проходить... Я чувствовала, что у меня сердце будто таяло; я таяла вся. Меня проникала такая какая-то сладостная недовѣдомая теплота, которая вмѣстѣ дѣйствовала на душу и тѣло, что у меня легкой потъ выступилъ на лбу и слезы тихо и незамѣтно прилили къ глазамъ. Я все читала—я какъ-то начинала изумительно понимать (не то, чтобы эту святую книгу; ее пойметъ всякое благое дитя),—но я, какъ взрослый человѣкъ — какъ женщина, начинала изумительно понимать ничтожность и ложь тѣхъ безчисленныхъ книгъ, которыя прочитала я! Ихъ яркая, нечистая пестрота, какъ что то испаряющееся, выдыхалась мною — сходила, какъ туманъ, съ моей молодой души, и молодое чувство чего-то совсѣмъ новаго забилось и запросило новой жизни во мнѣ.

— Гдѣ взять ее—гдѣ ее взять?—почти съ выговореннымъ вопросомъ обратилась я, ища глазами вокругъ...

Передо мною солнце, въ вечернемъ пути, будто желая отдохнуть, уперлось сіяніемъ въ землю и стало, все въ блескѣ и въ лучахъ, какъ въ одеждѣ! Мнѣ странно младенчески почудилось, что это Самъ Онъ, Самъ Господь стоитъ; уста Его отверзты — лучи. сіяніе — Онъ Самъ учитъ Свою милую землю, и припавъ къ лучезарнымъ стопамъ Его, она вся притихла и слушаетъ вечернею наступающей, черною тишиною.... Что-то, какъ чудо, совершилось во мнѣ. Меня будто что-то воздвигло съ земли и поставило лицомъ подъ великое сіяніе. Духъ у меня занялся приливомъ какой-то неизвѣданной силы: какихъ-то сладкихъ до радости слезъ

и молитвы безъ словъ—единственно молитвеннаго пыла возгорѣвшейся къ Богу, умиленной души. Солнце сѣло, но мнѣ казалось, что оно не скрылось за горою—нѣтъ! Оно все, съ теплотой, съ блескомъ, со всѣми лучами, вошло въ мое сердце и на душѣ стало такъ свѣтло, такъ все чудно ново! Я будто только что родилась и вдругъ выросла и это впервые глянула и увидѣла міръ.... И какъ онъ хорошъ! Какой бархатъ зелени! Что за медъ пьютъ уста! Что за пологъ раскинулся надъ головою! Голубой, какъ мой свадебный пологъ, но безъ швовъ, безъ краевъ — одна сплошная лазурь сквозитъ и сѣется золотыми звѣздами!

Я обратилась невольно къ себѣ... Платье, длинное какъ саванъ, измято; набралось въ него листьевъ, сухой травы. Локоны развились и безпорядочно упали на грудь, нависаютъ на глаза.... Я стала отстранять ихъ рукою и вдругъ вся вспыхнула.... Глазамъ представилась вся моя жизнь, всѣ ея нелѣпости! Мнѣ стало невыносимо стыдно: стыдно себя самой, звѣздъ, ночи и—стыдно этой доброй великой книги! Я изо-всей силы прижала ее къ себѣ и бросилась бѣжать; но сзади будто высокія деревья нагоняли меня и въ догонку сказывали мнѣ мой стыдъ. До того безмолвное, все будто оживилось, зашелестѣло, зашептало мнѣ на всѣ лады: «стыдно!» Я не знала, куда мнѣ дѣться — увидѣла мужа и кинулась къ нему прямо на грудь. .

Софья Николавна немножко умолкла. Я думала, что она будетъ продолжать; но она кончила.

— Софья Николавна! спросила я робко и нерѣшительно. Неужели изъ этого слѣдуетъ: что должно читать Евангеліе и оставить всѣ прочія книги?

— Не оставляйте ни одной! положила мнѣ руку на руку Софья Николавна. Читайте все, что вамъ Господь пошлетъ, и дай вамъ Богъ дочитаться скорѣе до *вѣнца чтенія* — до того, чтобы вы увидѣли: что есть на свѣтѣ двѣ великія книги, изъ которыхъ вся прочая миріада книгъ черпаетъ и не вычерпаетъ горстью моря. И эти книги: *Природа* и *Еван-*

геліе. Въ ихъ цѣломъ заключено все то, что биллiонно-милліонной гранью дробятъ и отсвѣчиваютъ искрами всѣ другія книги—заключена вся красота вѣчно новой и вѣчно обновляющейся жизни міра и никогда не старѣющаяся красота нравственной жизни человѣка!

books2ebooks.eu

www.books2ebooks.eu

eBooks from your library by

eBooks on Demand

digitised by

University of Tartu Library

UNIVERSITY OF TARTU
LIBRARY